

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

# БРЕННЕВА

1 (21) 2022

# **ВРЕМЕНА**

Литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал

**Выпуск 1 (21) 2022**

Бостон  
2022

# **ВРЕМЕНА**

*Международный литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:** Давид Гай

# **VREMENA**

*International Journal of Fiction, Literary Debate,  
and Social and Political Commentary*

**EDITOR-IN-CHIEF:** David Guy

Published by **M•GRAPHICS | Boston, MA**

ISSN 2575-9558

Copyright © 2022 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission  
to reproduce selections from the journal, email or call to  
the publisher ([mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com) / 781-990-8778)  
or editor-in-chief ([guydavid094@gmail.com](mailto:guydavid094@gmail.com) / 646-270-9615).

Printed in the U.S.A.

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(Германия)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

## КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ

### Дорогие читатели!

Продолжается подписка на журнал на 2022 год (4 номера).  
Для получения всех номеров выпишите чек / money-order  
на сумму **70 долларов** (почтовые расходы по США включены)  
на имя компании-издателя: **M•Graphics**

Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

**Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt. 11H Rego Park, NY 11374**

Телефон для справок: **646-270-9615**. Спасибо!

Вы также можете оформить подписку на нашем вебсайте:

**[vremena.mgraphics-books.com/subscription](http://vremena.mgraphics-books.com/subscription)**

Наши зарубежные читатели теперь имеют возможность оформить  
подписку на журнал на нашем сайте с онлайн-оплатой:

**[vremena.mgraphics-books.com/subscription](http://vremena.mgraphics-books.com/subscription)**

Стоимость подписки для зарубежных читателей (включая доставку  
журнала в любую страну мира) — **US \$80**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

---

### НА ЗЛОБУ ДНЯ

Владимир ФРУМКИН

**ВЧЕРАШНИЕ СИМПТОМЫ СЕГОДНЯШНИХ БЕД** . . . . . 7

### ПРОЗА

Александр ЯБЛОНСКИЙ

**КИРИЛОВЪ** (ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА) . . . . . 26

Лариса СЕГИДА

**МНЕ 96** . . . . . 76

Джейкоб ЛЕВИН

**НОГТИ ВОЖДЯ** . . . . . 125

Ольга КУЧКИНА

**ВИШНЕВЫЙ САД** . . . . . 132

Татьяна ШЕРЕМЕТЕВА

**КРОЛИК, БЕГИ** . . . . . 143

### ПОЭЗИЯ

Григорий МАРГОВСКИЙ . . . . . 54

Борис ЗВЕРЕВ . . . . . 108

Светлана КАБАНОВА . . . . . 119

Юрий СОЛОДКИН . . . . . 197

Валерий БАЗАРОВ . . . . . 233

Дмитрий ГАРАНИН . . . . . 239

## **НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА**

Илья ГАБАЙ

*«...Я В СОМКНУТОМ, Я В СДАВЛЕННОМ КОЛЬЦЕ...»* . . . . . 159

## **РЕМИНИСЦЕНЦИИ**

Павел МАТВЕЕВ

*«ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ»* . . . . . 166

## **ЗНАМЕНОСТИ**

Владимир КОВНЕР

*ЭДВАРД ЛИР: ЛИМЕРИКИ.* . . . . . 203

## **ТВОРЦЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ**

Яков ФРЕЙДИН

*РЫЦАРЬ НА СЛУЖБЕ ДЬЯВОЛА.* . . . . . 216

## **НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ**

Алексей ОРЛОВ

*ОДИССЕЯ ВИКТОРА БЕЛЕНКО* . . . . . 242

## **ИСКУССТВО**

Любовь СТЕРЛИКОВА

*ВЛАДИМИР ДЖУЛУХАДЗЕ: 50 ЛЕТ В БАЛЕТЕ* . . . . . 254

## **ПЕРЕВОДЫ**

Алишер КИЯМОВ

*ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ* . . . . . 263

Эльза МОРАНТЕ

*ЗАБЫТЫЕ РАССКАЗЫ.* . . . . . 287

---

---

Издательство и Редакционный совет журнала сердечно благодарят читателей за финансовую поддержку

*Вот имена благодетелей:*

**Марина Оберландер, Ян Лупьян, Юрий Солодкин,  
Диана Виньковецкая, Ирина Кац, Жанна Котлер,  
Анна Ибатуллина, Виталий и Людмила Михеенко,  
Юрий Окунев, Роман Солодов, Вениамин Шор,  
Владимир Фрумкин, Ольга Чилина**

*Всем им огромное спасибо!*

---

---

Со следующего номера мы начинаем публикацию глав из романа-детектива «**Эликсир для избранных**», основанного на реальных событиях и имеющего современную политическую окраску.

Автор романа Майк Логинов — правнук видного физиолога, профессора Михаила Павловича Тушнова. Сделанное ученым в 1930-е годы открытие (так называемые лизаты) в области человеческого долголетия и лечения различных заболеваний, включая импотенцию, стало настоящей сенсацией.

Им заинтересовались «органы». Цепочка странных смертей, включая смерть самого профессора (в романе он носит фамилию Заблудовский), показала, что открытие можно использовать при изготовлении ядов.

Автор прослеживает взаимосвязь загадочных и драматических событий той поры и наших дней.

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!**

Владимир ФРУМКИН  
**ВЧЕРАШНИЕ СИМПТОМЫ  
СЕГОДНЯШНИХ БЕД**

---

---

*Отселе я вижу потоков рожденье  
И первое грозных обвалов движенье.*

А. С. Пушкин. «Кавказ»

*В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме—  
сквозняки, сквозняки.  
Да под ветром корежится крыша...*

Булат Окуджава. «Мастер Гриша»

То, что читатель увидит ниже, представляет собой попытку восстановить в памяти и более внимательно взглянуть на ранние признаки шторма, сотрясающего наш американский дом, который еще вчера казался неуязвимым, незыблемым, вечным. Признаки, свидетелем которых я стал с середины 70-х годов прошлого века, но смысл и значение которых начинают доходить до меня только сейчас.

### **О МИНУВШЕМ – ЗАЧЕМ?**

Я полюбил эту страну, но не с первого взгляда. Не все мне в ней нравилось поначалу, не все радовало. Кое-что казалось странным и даже нелепым. Разочаровал облик городов: перевес прагматики над эстетикой. Удивил тот же перевес в том, как одеваются мои новые сограждане — лишь бы было удобно и практично. С грустью заметил, что женщины как-то не очень стараются выглядеть женственными, и что это сказывается на их походке: в ней меньше плавности и изящества, присущих их европейским сестрам.

---

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции



Но прошло два-три года, и я почувствовал себя здесь как рыба в воде. Которой повезло очутиться в самом лучшем океане на планете. «Счастливчик!— пела душа.— Ты проживешь вторую половину жизни в разумном мире, управляемом не идеологией, а здравым смыслом. В мире, где нет навязанного единомыслия, нет политических репрессий, унижительного страха, цензуры, оглушительной государственной демагогии и отвратительного вранья».

Я категорически не верил, что эти и подобные им прелести могут произрасти на американской почве. Дурные предчувствия не проникали в мою голову, опьяненную воздухом наконец-то обретенной свободы и общением с юными американцами, в гущу которых я попал почти сразу же после приезда. Что может грозить Америке, флагману свободного мира, прекрасно оснащенному и мощному кораблю? Наш корабль непотопляем. Он справится с любыми напастями, преодолет любую непогоду. Не зря отцы-основатели Америки заложили в него чудодейственный защитный механизм — сдержки и противовесы.

И что мы видим сегодня? Корабль качает, трясет, он сильно накренился на левый борт. Реакция пассажиров? Судя по недавним опросам, многим из них этот крен нравится. Социализм, говорят они, лучше капитализма. Справедливее, надежнее, щедрее. Среди молодых респондентов (от 18 до 34 лет) процент любителей социализма перевалил за половину. А тряска и качка из-за чего? Очень просто: из-за определенного контингента пассажиров, за которым тянется длинный шлейф пороков и преступлений. И рабство пошло от них, и колониализм, и войны, и угнетение, и расизм, пропитавший все, что создано их разумом и руками. От биологии и математики до музыки и литературы. Даже сеть американских автомагистралей не свободна от этого зла: скоростные дороги проложили поближе к районам, где проживают расовые меньшинства! Чтобы уберечь от выхлопных газов белое население...

Моя реакция на этот бред и то невероятное, что происходит сегодня с моей второй родиной? Вначале был шок. Растерянность. Слишком уж неожиданно и быстро распадался мир, казавшийся разумным и незыблемым. Потом явилась мысль, что внезапность эта — кажущаяся. Что кризис, разразившийся летом 2020 года, эти летящие с пьедесталов памятники, горящие городские кварталы, убийства, грабежи, эти демонстративные вставания на колени, гневные обвинения и истошные покаяния — что эта бомба, разорвавшаяся сегодня, наполня-

лась взрывчаткой постепенно, исподволь. Неужто я проморгал что-то важное, не распознал симптомов зарождающейся болезни, не услышал тревожных сигналов? Да нет же! И симптомы видел, и сигналы слышал — они возникли за шесть лет до моего появления в Америке, во время «молодежной революции» 1968 года. Но — не достало у меня ума и прозорливости, чтобы узреть потенциальную опасность странных диссонансов, чуждых фундаментальным американским ценностям. Они царапали мой слух, но серьезного беспокойства не вызывали. В конце концов, — нашептывал мне мой внутренний голос, — даже самая прекрасная музыка не обходится без диссонансов. Есть они и в прекрасной Америке. Как же без них? Нерешенные проблемы, противоречия, контрасты света и тени — это нормально. Все это есть в любом здоровом, свободном и разумно организованном обществе. Оно справится со своими проблемами, иначе быть не может.

Я был неправ. Замеченные мной проблемы не только не решены: они усугубились. Заострились до опасного предела. И я решил снова взглянуть на то, что удивляло меня и тревожило в прежней Америке, но на сей раз — более пристально. И непременно через призму сегодняшнего дня. Для чего? Чтобы лучше понять, как назревала, как складывалась буря, разгулявшаяся нынче на наших просторах. Это, в свою очередь, поможет осознать степень ее опасности для нашего терпящего бедствие корабля.

### **БЕЗ ВЗАИМНОСТИ**

Черно-белая проблема Америки заинтриговала меня всерьез с того момента, когда она коснулась непосредственно меня. Случилось это через полтора месяца после прибытия в эту страну. Приезжаю в Оберлинский колледж, где неожиданно открылась вакансия на скромную должность директора Русского дома — общежития для студентов, изучающих русский язык. Под конец интенсивных двухдневных «смотрин» декан сообщает мне, что я им подхожу по всем параметрам и на работу принят. «Tentatively», — добавил он после маленькой паузы. То есть, условно. Потому как если до истечения срока подачи заявлений у меня появится чернокожий соперник или соперница, должность достанется ему или ей — в соответствии с федеральным законом под названием Affirmative action. На русской кафедре мне объяснили, что в переводе это значит «Утвердительное действие» или, если ближе к сути, — «Положительная дискриминация».

Надо же! Век живи, век учишься. Выходит, что я, обоженный советским опытом, ошибался, считая, что дискриминация есть действие сугубо отрицательное! Всегда и везде. И подлое к тому же, ибо все эти омерзительные и постыдные процентные нормы и квоты от публики скрывались: государственная тайна! И вот, оказывается, здесь, в приютившей меня великой стране, ее используют во благо! Для помощи тем, кому не повезло, кто страдал от несправедливости в прошлом и сегодня заслуживает особой заботы и специальных льгот. (Через короткое время зерна положительной дискриминации, посеянные президентом Линдоном Джонсоном в середине 1960-х, дадут, мягко говоря, весьма сомнительные всходы. ..)

Лично на мне этот закон не отразился, новых претендентов не оказалось, так что в августе 1974 года мы с моей женой Лидой благополучно въехали в скромную директорскую квартиру на первом этаже старинного кирпичного особняка с вывеской над входом: РУССКИЙ ДОМ.

Прямо напротив нашего общежития располагался Немецкий дом, чуть подальше — Испанский и Еврейский (Hebrew House), еще дальше — Французский и Азиатский. В каждом из них жили студенты разных рас и этносов. Объединяло их лишь одно: избранный ими иностранный язык.

Был у нас и Африканский дом, самое крупное из так называемых «программных» общежитий. В нем могли разместиться 66 студентов, которые, как сказано в информационном листке, «хотят углубить свое понимание культур, традиций и проблем африканских, афроамериканских и афрокарибских обществ». Население этого общежития было гомогенным: оно состояло из афроамериканцев и чернокожих студентов из других стран. Как видно, там бывали свободные места. Знаю об этом потому, что активисты из Африканского дома едва не переманили к себе студентку из моего общежития. Валери Б., «Валя», миловидная и стройная, с большими лучистыми глазами, изучала русский язык и обладала чистым, приятного тембра сопрано. Быстро освоила песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой, и я включил ее в состав женского трио, которое, под мой скромный гитарный аккомпанемент, выступало с бардовским репертуаром как в Оберлине, так и за его пределами.

Соплеменникам Валери из Африканского дома все это крайне не понравилось. Русский дом? Русский язык? Русские песни? Чужая, белая культура! Нечего тебе там делать. А ну, давай, переселяйся из русского в африканский дом! И поскорее! Рассказывая мне об этом,

Валери плакала навзрыд. Из ее лучистых глаз катились слезы. Спросила моего совета: как поступить? Поддаться или не поддаться? «Подумай как следует и решай сама», был мой ответ. «Подумала, — сказала она через несколько дней. — Никуда я отсюда не уйду».

Что ж, девушка с характером. Устояла перед давлением активистов и требованием новой моды, смысл которой был таким: прощай, интеграция; здравствуй, сегрегация! Студенческие кафетерии нашего кампуса ярко демонстрировали эту моду: чернокожие студенты садились за отдельные столы, не желая смешиваться с белыми или азиатами. Между тем, белые студенты, как ни в чем ни бывало, пользовались любым случаем, чтобы выразить сочувствие и поддержку своим чернокожим братьям. Приходили в Африканский дом, когда там устраивались обсуждения расовых проблем. И уходили сконфуженные: непрощенных гостей заворачивали обратно со словами «Спасибо, обойдемся без вас». Выглядело это, мягко говоря, не очень хорошо. Можно даже сказать — некрасиво. Но открыто не осуждалось никем. Ни администрацией, ни студенческим сообществом. Хотят отмежеваться, отгородиться от своих соучеников с другим цветом кожи — их дело, их право.

С годами это желание обособиться породило удивительный по своей причудливости плод: отдельные выпускные церемонии. Черным студентам начали вручать дипломы на особом, отдельном торжестве. 21 мая 2019 года газета *Washington Examiner* отметила, что к этой неслыханной практике перешли уже более 75-ти вузов страны. Добавив, что Национальная ассоциация ученых назвала отдельные выпускные церемонии примером «новой сегрегации» в университетских городках. «В докладе — читаем далее — четко указывается, что «неосегрегация является питательной средой расовых конфликтов в американском обществе. Она прививает молодым людям готовность цепляться за идентичность жертвы — вместо стремления стать позитивным членом более широкого сообщества. Нет сомнения, что происходящее в нашем обществе разжигание расового недовольства в значительной мере является тщательно продуманным продуктом неосегрегации в студенческой среде». (<https://www.washingtonexaminer.com/red-alert-politics/more-than-75-colleges-host-blacks-only-graduation-ceremonies>)

Ну, а как на все это реагирует американское общество? Оно растеряно и подавлено. Сколько сил и жизней было положено, чтобы отменить, а затем преодолеть последствия рабства! Какие замечательные

законы были приняты, чтобы потомки рабов имели все положенные американцам гражданские права! К законам о правах добавились специальные привилегии и льготы в рамках программы президента Линкольна Джонсона «Великое общество», начатой в 1964 году. И продолженной тем самым законом о «положительной дискриминации», с которым я столкнулся, едва очутившись в Америке.

Что и говорить: за последние полвека в жизни афроамериканцев произошли заметные улучшения. У них появился свой средний класс, появились успешные бизнесмены и богатые, преуспевающие люди. Миллионеры и миллиардеры. Безработица (к 2020 году) сократилась до рекордного уровня. И на тебе: с одной стороны неоспоримый прогресс, с другой — добровольная сегрегация, представление о себе как о жертве «системного расизма», эскалация недовольства, завершившаяся колоссальным взрывом насилия, прокатившегося летом 2020 года по двум сотням американских городов.

Чем было вызвано это резкое повышение расовой температуры, эта неудержимая радикализация большей части черного населения, особенно молодежи? По-видимому, главной причиной этого послужило чувство разочарования. Им, как и многим другим американцам, стало очевидно, что законы о гражданских правах, пособия и льготы не дали ожидаемых результатов, не решили всех проблем цветного населения. К тому же некоторые из этих благ обернулись злом — оказались тем лекарством, которое чревато тяжелыми побочными эффектами. Более всего отличилась в этом смысле программа денежной помощи матерям-одиночкам. Таящиеся в ней опасности открылись чиновнику Министерства труда, будущему сенатору-демократу Патрику Мойнихэну, уже в 1965 году, на следующий год после ее внедрения.

В его исследовании утверждалось, что щедрые выплаты за каждого ребенка, родившегося вне брака, разрушают негритянскую семью. В конце 50-х годов количество чернокожих внебрачных детей составляло 15%. В 1965 году оно подскочило до 24-х! «Прогрессивная общественность» дружно и громко осудила своего однопартийца и отмела с порога его выводы и рекомендации. «Великое общество» преспокойно продолжало подпитывать безотцовщину, пополняя свежими подкреплениями городские уличные банды. Сегодня число чернокожих детей, живущих без отцов, достигло 70-ти процентов!

Судьба их незавидна. Большинство этих детей не получает полноценного образования, многие из них не умеют читать и считать

и, не имея никаких перспектив получить работу, идут на улицы — заниматься мелким воровством или продавать наркотики. Многие обзаводятся оружием и запросто пускают его в ход. Так называемые «внутренние районы» наших больших городов напоминают зону военных действий. Перестрелки происходят там почти ежедневно, и число убитых достигает нескольких тысяч в год. Афроамериканцы составляют 38,2 процентов обитателей американских тюрем, хотя их доля в населении страны — всего лишь 13,4%. Удручающая статистика, хорошо известная чернокожим гражданам США, как и то, что среди черных непропорционально много бедных и бездомных.

Чем же все это вызвано? Где корень зла? В чем причина того, что полувековые попытки улучшить положение цветного меньшинства не дали ожидаемых результатов?

Интересные и убедительные ответы на эти вопросы можно найти в работах Томаса Соуэлла [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Sowell](https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sowell) и других авторов из немногочисленной когорты афроамериканских мыслителей консервативного направления. К великому сожалению, более привлекательными и понятными оказались для их соплеменников другие ответы. Согласно которым корень зла заключен в глубинном, системном расизме, который никуда не ушел со времен рабства. И который вряд ли когда-либо исчезнет, пока большинство в этой стране составляют люди белой расы. Почему? Потому что эти люди изначально, генетически ущербны. Не верите? Загляните в солидный медицинский журнал, где черным по белому сказано следующее: **Белизна — это состояние, которое человек сначала приобретает, а затем имеет — злокачественное, паразитоподобное состояние, к которому белые люди имеют особую восприимчивость и которое заставляет белых людей ненавидеть и терроризировать.**

Статья в журнале Американской психоаналитической ассоциации называется «О наличии белизны» (<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00030651211008507>.)

Ее автор, профессор-психоаналитик Дональд Мосс, убежден, что надежного лекарства от этого психического недуга пока не существует.

Надо думать, что профессор с нетерпением ожидает появления такого снадобья: он имел несчастье родиться белым. А, может, и не ожидает: не исключено, что он ни капельки не верит в свой наукообразный расистский бред и продвигает его из чисто карьерных соображений. Как, наверное, и генерал Марк Милли, Председатель объеди-

ненного комитета начальников штабов, который заявил недавно, что белый человек страдает тяжелым недугом под названием white rage. Rage — емкое слово, вмещающее в себя такие понятия, как ярость, гнев, злоба, бешенство.

Разоблачением пороков белизны занимаются политики из демпартии, профессора вузов, школьные учителя и администраторы, журналисты, издатели, руководители государственных ведомств и частных корпораций. В рекордный срок была разработана «Критическая расовая теория», нехитрые премудрости которой изучаются в учебных заведениях и всевозможных учреждениях и организациях, вплоть до армии и военно-морского флота. Изгнанием демонов белого расизма из сознания и подсознания детей и взрослых занимаются преподаватели школ и специальные высокооплачиваемые инструкторы.

Как реагируют родители детей, которых заставляют писать сочинения на тему «Как я стал расистом» и осуждать своих мам и пап за их принадлежность к токсичной расе? По-разному. Некоторые оказывают сопротивление, выступают с протестами, переводят своих чад в частные школы и на homeschooling, то есть обучают их дома. Много ли таких родителей? Нет. Единицы. Еще меньше диссидентов среди школьных учителей: слишком большой риск быть уволенным с ярлыком: «Расист!». Нынешнее поколение американцев проявляет чудеса терпимости и не протестует активно против навязываемой им левым лагерем деструктивной политики. Их как-то не очень колышет ни хлещущий с юга гигантский поток нелегальных мигрантов; ни то, что Америка утратила обретенную предыдущей администрацией энергетическую независимость; ни резкий рост цен; ни радикальная культурная революция под зловещим лозунгом cancel culture; ни отмена свободы слова в социальных сетях; ни попытки левых реформировать систему выборов в пользу демпартии, которая, в результате, может получить в свои руки неограниченную и несменяемую власть; ни унижительные провалы в международной политике. Еще тревожнее то, что многие наши сограждане в упор не видят (или не хотят видеть) никаких деформаций и провалов.

Что случилось с нами? С *землей свободных, родиной отважных*, как поется в последней строке каждого куплета нашего национального гимна?

Тут самый раз вновь оглянуться назад, во времена, когда сегодняшние американские политики, чиновники, юристы, профессора,



учителя школ, журналисты, деятели искусств, руководители крупных корпораций, в большинстве своем активные союзники сильно полевевшей демпартии, были юными студентами, в головах которых складывалось их мировоззрение, формировались вкусы и предпочтения. Молодые мозги, как известно, охотно и быстро усваивают новые веяния и идеи, особенно самые свежие и смелые, бросающие вызов устоявшимся, замшелым представлениям и взглядам.

### ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ, ЗАГАДОЧНОЕ

#### 1.

Нередко бывало, что оценки и суждения представителей этого племени ставили меня в тупик. Я не слышал ничего подобного в моей прежней жизни. И не предполагал, что услышу в Америке, которую я знал по ее поэзии, прозе, музыке, по ее лучшим фильмам. Едва поселившись в Русском доме, я начал знакомить его обитателей с песнями наших поэтов-певцов. К моему удивлению, они их полюбили мгновенно. И сами запели — Окуджаву, Галича, Высоцкого, Матвееву, Кима. Нравилось им не все. Смущали и настораживали песни о любви, о женщине. Исполняя их на моих лекциях-концертах, предупреждали аудиторию, что, мол, эту песню я хотя и спою, но считаю не совсем правильной. Коробили эти подозрительные песни в большей степени представительниц прекрасного пола, который они не желали признавать прекрасным и достойным преклонения и воспевания. «Ваше величество, женщина»? «Богиня», перед которой «вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою»? Призывы типа «Вы пропойте, вы пропойте, славу женщине моей»? Это все из патриархальной культуры, из рыцарско-трубадурских времен! Не надо нас воспевать. Мы, современные женщины, во всем равны мужчинам. Не слабее их. И абсолютно от них независимы. Нам непонятна и чужда «Девушка из харчевни» Новеллы Матвеевой, в ее иррациональной, безответной любви к тому, кто «уходил к другой иль просто был неизвестно где» есть что-то жалкое и даже рабское...

Феминизм. Я слышал это слово раньше, и вот, наконец, понял, что оно значит. И в какие крайности эта идеология может завести. Я понял также, что мне надо срочно менять свое поведение. И вытравить из себя старомодную питерскую галантность. Ох, нелегкая это работа — избавляться от вьезшихся с юности условных рефлексов. Попро-



буй удержаться, когда видишь на улице миниатюрную, как статуэтка, девочку азиатского вида с огромным чемоданом в руках. Прилетела (из Южной Кореи?) к началу учебного года, идет в общежитие. Точнее — ковыляет, сражаясь со своим чемоданом. Еле тащится. Студенты мужского пола проходят мимо с деланно рассеянным видом. Законопослушные. Хоть и неписаны эти законы, но выполнять надо. Чтоб не слыть «мужским шовинистом». Не вынесла моя питерская душа. Подошел к бедняжке, спросил: «Вы не обидитесь, если я...» — «Никак нет!», ответила с улыбкой девушка из Азии, куда феминизм в его радикальной ипостаси, как видно, еще не добрался.

Молодые оберлинки американского разлива в подобных ситуациях вели себя иначе. Возвращаюсь в Русский дом после ужина в просторном кафетерии Немецкого дома, где у нас был свой «русский стол». Чуть позади — одна из проживающих в Русском доме студенток. Открываю наружную дверь, тугую, на мощной пружине, и держу ее перед подошедшей девушкой. А она стоит как вкопанная. Я жду. Ладно, говорит она наконец. О'кей. Я войду, но при условии: завтра в это же время я открою дверь для вас. И мы будем квиты. Ровно через сутки, выйдя из Немецкого дома, я увидел через дорогу, что моя искательница реванша уже дежурит у входа в Русский дом. Ритуал был выполнен. Сатисфакция получена.

Врезался в мою память разговор с Деби, американской итальянкой с ангельским личиком, у которой было и другое достоинство: она быстро научилась говорить по-русски свободно и правильно. Сидим в гостиной Русского дома. Беседуем. «Кем ты хочешь стать? — спрашиваю. — Какую профессию выберешь?». И вот что слышу в ответ: она будет врачом. И притом — хорошим. Не хуже, чем врачи-мужчины. Они, мужики, должны увидеть, на что способна женщина. «Это моя мечта, моя цель, — говорит Деби и ее ангельское лицо обретает выражение суровой решимости. — И ради нее я откажусь от всего, что может мне помешать. Никаких романов, никакой семьи». — «Ты что, никогда не выйдешь замуж?» — «Никогда!» Мне стало не по себе...

Я рад, что могу написать здесь о незаурядной внешности моей бывшей студентки. Там, в моем колледже, внешность женщины была запретной темой. Мои ребята объяснили мне, что говорить одобрительно о чьем-либо лице или фигуре — это «лукизм», от английского look, то есть вид, наружность. Это «микроагрессия», травмирующая людей, которым не повезло по части внешности. Женщины хотят, чтобы их

ценили за их содержание, а не за форму. Они не желают, чтобы на них смотрели как на сексуальный объект. Признаюсь: мне это политкорректное правило не понравилось, и я так и не привык ему следовать со всей требуемой строгостью. То и дело срываюсь. До сих пор...

Американские мужчины поступили иначе. Они подчинились новым правилам — и проявили чудеса самоконтроля. Из американской культуры исчезла культура флирта. Студенты и студентки вели себя, будто все они — одного пола. Сидят или стоят рядышком — и нисколько не волнуются, будто малые дети, которым до полового созревания еще годы и годы. Мужчины не позволяют себе никакого заигрывания, никаких намеков или красноречивых взглядов. Полное безразличие. Асексуальность. Но довольно скоро я убедился, что отказ от флирта отнюдь не мешает нашим студентам заниматься любовью. Секса в нашем городке было сколько угодно, и все, включая администрацию, относились к этому совершенно спокойно.

Как-то раз я решился на эксперимент: снял с вешалки и подал зимнюю куртку Джейн, девушке веселой, с острым, ироничным умом. Результат был неоднозначным, но, в общем и целом, обнадеживающим. Джейн преспокойно приняла мою услугу, озорно хохотнула и произнесла: «Male chauvinist pig!» Дословно: «Мужская шовинистическая свинья!» Эта сценка и наше дальнейшее общение подтвердили мою гипотезу: Джейн относилась к феминизму с некоторой долей скепсиса. Могла поговорить о правах и претензиях женщин, но делала это спокойно и сдержанно, без фанатизма. Не совершала нелепых демаршей.

Увы, Джейн была исключением.

## 2.

Во что же свято верили мои молодые сограждане? За какой *cause* (их любимое слово) они бросались в бой? «Таких дел» у них было несколько, но все они имели одну и ту же подоплеку, один и тот же общий принцип: **в любом конфликте прав и достоин защиты тот, кто мал и слаб.** Потому и знамя феминизма подхватили, что женщины, хотя их и больше количественно, долго считались «слабым полом» и не получали всех прав, которыми пользовались мужчины. Даже великий и прогрессивный Карл Маркс, заполняя опросную анкету, написал, что в женщинах больше всего ценит слабость! А в мужчинах — силу. Но его отчасти можно простить: давно это было, во времена неизжитых патриархальных предрассудков. Он, надо думать,

и сексуальные меньшинства не жаловал и высказался бы против предоставления им равных прав...

Студенты Оберлина наверняка простили бы Марксу и этот грех: пие-тет к вождю мирового пролетариата они восприняли от своих профессоров-марксистов, коих было у нас немало, особенно на гуманитарных кафедрах. Секс-меньшинства пользовались у оберлинцев полным пониманием и почетом. В здании под названием Wilder на дверях одной из студенческих организаций красовалась табличка: GAY, LESBIAN AND BISEXUAL CLUB. В студенческом городке регулярно устраивались «гей-прайд-парады», причудливые демонстрации «гомосексуальной гордости», привлекавшие массу гетеросексуальной публики. Начальство устраивало семинары для директоров общежитий, где нам объясняли, как это важно и необходимо: заботиться о приверженцах нетрадиционной любви. Однажды нас обязали явиться со своими ассистентами (их избирали студенты общежития) на специальный семинар, где нам показали два фильма. Один — о технике мужской мастурбации, другой — о технике гомосексуальной любви. Смотреть на эту порнографическую бредятину, сидя рядом со своей студенткой, — удовольствие, доложу я вам, намного ниже среднего. Как только погас экран, я ретировался. «Ада» (русская версия ее имени) удалилась вслед за мной. Обсуждение увиденного прошло без нас...

Тот же критерий — бери сторону того, кто меньше и слабее — срабатывал везде, о каких бы меньшинствах ни шла речь. И не размышляй, кто прав, кто виноват.

Мне кажется, я наконец понял, откуда это пошло, как сложился этот **инфантильный стереотип**, который, как мы увидим ниже, никуда не делся за все эти годы. Его сформировала вездесущая, всепроникающая американская массовая культура, неустанно поставляющая духовную пищу поколениям детей и подростков. Как замороженные, листали они забавные рисованные комиксы и смотрели увлекательные мультфильмы типа серии о коте Томе и мышши Джерри. В них, как правило, действуют два героя. Один большой и хищный, другой — маленький и слабый, но на редкость смысленный: он ловко спасается от вечно гонящегося за ним врага. С каким персонажем идентифицируются юные зрители? Конечно же, с этим обаятельным и находчивым малышом! Эта эмоциональная реакция впиталась в сознание и подсознание, стала устойчивым условным рефлексом.

Даже гениальный и этически безукоризненный диснеевский «Бэмби» ухитрился доставить некоторые неприятности Америке, которая немедленно влюбилась в его очаровательных героев. И начала нежно заботиться о своих северных оленях. В частности, стала еще энергичнее отстреливать их заклятых врагов — серых волков. И что же? Хищников пришлось завозить обратно: расплодившиеся и разленившиеся потомки прелестного Бэмби стали жиреть, болеть, поедать траву где попало и объедать деревья. Результат: резко уменьшилось количество полезных птиц и гигантски увеличилось количество вредных насекомых и рептилий. Плюс ряд других отрицательных эффектов. Слава богу, волки вернулись в родные места, и природный баланс, наконец, восстановлен...

Это нормально, это вполне по-человечески — проявлять сочувствие к «братьям нашим меньшим», как сказал почти сто лет назад Сергей Есенин. В том числе к олененку Бэмби и мышши Джерри, а также к людям — к тем, кто заслуживает сочувствия и поддержки. Вот тут-то, как говорится, и собака зарыта. Заслуживают — не все! Увы, многие из нас не в состоянии вовремя проконтролировать свои чувства и трезво, «по-взрослому», без романтики взглянуть на предмет своей любви, на его истинную сущность. И тогда уж решать, кто ее достоин, а кто нет...

У взрослых людей приобретенные в детстве рефлексy коррекxируются, фильтруются зрелым сознанием, поверяются накопленным опытом и впитанной ими «взрослой» культурой. В головах молодых американцев 70–80-х годов такого надежного фильтра не было. Их интеллект не получал той информации, которая была доступна среднему классу предшествующих поколений. Им не хватало необходимого багажа, недоставало знаний в таких областях, как история, экономика, география, международная политика. Я понял это, когда стал преподавать в Оберлине и, параллельно, в Русской летней школе Норвичского университета в штате Вермонт. Оказалось, что мои студенты и аспиранты слабо знают классическую литературу, живопись, музыку. «Помните, в «Фаусте» Гете есть похожая сцена?» — говорю я им на лекции. И по глазам вижу, что не помнят. Забыли? Нет. Не читали. В школах-колледжах не проходили, а сами не удосужились.

Как и почему это произошло, исследовал и объяснил профессор Алан Блум в своем бестселлере, вышедшем в 1987 году. Он назывался «Заккрытие американского разума: как высшее образование подвело демократию и обеднило души сегодняшних студентов» (*The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and*

*Impoverished then Souls of Today's Students*). Обеднение душ началось в университетах и продолжилось в школах, о чем свидетельствует Сюзан Джакоби в книге «Эпоха американской неразумности» (Susan Jacoby. *The Age of American Unreason*. 2008). Обе книги описывают первую из роковых отмен, произведенных американскими левыми, адептами мультикультурализма и релятивизма: отмену классического канона в гуманитарном образовании, отказ от культуры, созданной «Мертвыми Белыми Мужчинами». Книги наделали много шума, но деградация образования не только не прекратилась — она ускорилась.

В том же 1987 году описанное Аланом Блюмом закрытие американского разума предстало перед моими глазами. Читаю в Оберлине семестровый курс по советской неофициальной культуре. По-английски. Обратите внимание, говорю: советская культура формировалась совсем не так, как в западных странах, в частности — в Америке. Большевики вводили культуру в желаемые им рамки, отсекая все ненужное. Даже такую трудно управляемую стихию, как культура массовая, популярная. А в Америке она складывалась органично, спонтанно, снизу. Подкрепляю свои слова соответствующими источниками. Да, говорят мои слушатели, мы поняли: одна культура росла снизу, а другая насаждалась сверху. Но это не значит, что один путь хуже или лучше другого. Мы избегаем оценочных суждений, не признаем каких-либо качественных отличий между культурами. «Только между культурами?» — спрашиваю. А между различными формами государственного устройства, между уровнями развития общества качественные отличия есть? Они есть, отвечают, но мы избегаем сравнений и оценок. Не имеем права судить. У всего сущего есть какие-то основания. Любая форма общества, раз она сложилась, была необходима. Забудьте, профессор, про уровни развития. Каждое общество ценно по-своему. Важно, как оценивают себя сами члены общества. Людоеды, например, считали, что иначе они жить не могут и не должны. Для них их образ жизни был единственно возможным, и не наше дело ставить им оценки с точки зрения каких-то абстрактных принципов или критериев.

— Значит, никакие критерии не приложимы? — Ни в коем случае. Универсальных критериев нет. Как нет и объективной истины. — Ну, а ценность человеческой жизни? Она безусловна для вас? — со слабой надеждой спрашиваю я. — Нет! В разных культурах к феномену жизни относятся по-разному. Стали ли бы вы уговаривать каннибалов не убивать и не есть людей?! Абсурд!

Далее мне вежливо пояснили, что понятия добра и зла к человеческой деятельности не приложимы, понятия эти наивны, они устарели, ненаучны, ибо пришли из религии. Мальчики и девочки при одном только упоминании мною нравственных критериев, Добра и Зла снисходительно заулыбались...

Отмена классического канона, постмодернизм, деконструктивизм, релятивизм, неомарксизм философов Франкфуртской школы, с готовностью подхваченный американской профессурой — вот что подточило наш разум и подготовило сегодняшний политический и нравственный кризис, смещение понятий, неспособность различать Добро и Зло.

Заговорите с нынешними студентами о Ближнем Востоке, об Израиле — и вы немедленно вспомните хищного Тома, преследующего бедного Джерри. Ну, там все ясно, — услышите в ответ. У евреев есть государство, крепкая экономика, мощная армия. А у палестинского меньшинства нет ничего. Они — страдающая сторона и нуждаются в нашей поддержке. Несмотря на то, что им иногда приходится совершать террористические акты. И еще вам они расскажут про BDS, международное движение, требующее бойкотировать Израиль, не вкладывать денег в его экономику и подвергать его всевозможным санкциям. То есть, сделать все, чтобы это государство перестало существовать.

Активисты BDS присутствуют и энергично действуют в большинстве американских кампусов. Итоги их деятельности красноречиво иллюстрирует эксперимент в университете города Портленд (штат Орегон). Режиссер и независимый журналист Ами Горовиц останавливал студентов и предлагал им пожертвовать деньги на операции ХАМАСа против гражданских объектов в Израиле: кафе, школ, больниц и синагог. Ему удалось собрать сотни долларов. Всего за один час... (<https://therightscoop.com/watch-amazing-video-shows-college-students-happily-fork-over-cash-for-hamas-to-destroy-israel/>)

Вот такие пироги. Гуманные защитники расовых меньшинств, горячие союзники геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, не задумываясь, жертвуют свои кровные террористам, жаждущим крови мирных израильтян.

Как тут не вспомнить Николая Бердяева, который предупреждал о том, насколько опасна «смесь ложной чувствительности и аффектированной сострадательности с жестокостью и злобной мстительностью. Сентиментальность часто ведёт к жестокости. Это — закон душевной жизни». Или Фридриха Ницше, сказавшего о том же пара-

доксе другими словами: «Ах, где в мире творились большие глупости, как не у сострадательных? И что в мире причиняло большие страдания, как не глупости сострадательных?»

### 3.

К Америке левые гуманисты относятся примерно так же, как к Израилю. По той же причине: большая, мощная, богатая, агрессивная. Антиамериканизм стал частью идеологии «пробудившейся» половины страны. Ему обучают в школах при помощи двух программ: «Проект 1619» и «Критическая расовая теория». Ненависть американцев к Америке — новый феномен. Такого острого неприятия ее истории, традиций, ценностей у ее граждан не было никогда. Мои студенты относились к своей стране спокойно, сдержанно, зорко следили за политикой правительства и протестовали, когда она их не устраивала. Мне нравился их скепсис, импонировало отсутствие патриотического пыла, подобного тому, который культивировало во мне родное советское государство. Оно продолжало свою воспитательную работу и после моего отъезда, в чем я наглядно убедился, когда в Оберлин приехала совершавшая тур по Америке группа комсомольцев — четверо парней из Омска и столько же девушек из Владимира. Сибиряки после почти двухсуточного перелета из Омска до Кливленда наотрез отказались от отдыха и начали потчевать нас водкой и армянским коньяком. При этом вовсю угощались сами, нисколько не пьянея и не сбавляя энергии общения. Владимирские девочки тоже приложились, но быстро отсели в сторонку и устало, но с чувством затянули не знакомую мне песню:

*...Заботится сердце, сердце волнуется,  
Почтовый пакуется груз.  
Мой адрес — не дом и не улица,  
Мой адрес — Советский Союз...*

Ничего себе адресок, — подумал я. — Сколько сил и нервов ушло у меня на то, чтобы избавиться от прописки в стране, жить в которой становилось все более неуютно и муторно. А эти не успели уехать — их уже назад тянет! Поучились бы у молодых американцев.

Мое знакомство с ними началось осенью 1973 года, когда они проходили семестровый курс русского языка в Ленинградском университете. И выпить любили, и попеть под гитару или банджо. Пели



смешные студенческие песни, негритянские спиричуэлс. И ни одной патриотической!

Когда мы с Лидой получили американское гражданство, то меньше всего ожидали, что наши юные скептики проявят к этому факту какой-либо интерес. Однако, проявили. После принятия присяги в соседнем городке Элирия мы вернулись в Оберлин, но в Русский дом попали только через час с лишним: наши друзья, ожидавшие нас у входа, возили нас по городу с какой-то не очень понятной целью. Все разъяснилось, когда мы, наконец, вернулись в Русский дом. Нас встретили его обитатели, принаряженные и торжественные, и ввели в гостиную, где стоял составленный ими из маленьких столов длиннющий стол, уставленный бутылками и закусками. Праздничный ужин. Сюрприз, который удался как нельзя лучше...

#### 4.

В сочинениях моих студентов на свободную тему попадались трудные загадки. Над некоторыми я продолжаю размышлять и по сей день. Однажды я задал им прочитать «Человека в футляре» и написать (по-русски), что они думают о героях рассказа. Читаю их работы — и не верю своим глазам: авторам сочинений больше всех понравился... Беликов. Да, он странный, нелепый, ходит в калошах и с зонтиком, вечно молчит, всего боится. Ну и что? Ему бы посочувствовать, его бы пожалеть, а коллеги и знакомые вместо этого пытаются его изменить, переделать его личность, даже женить хотят! И вот — нечуткое, жестокое общество доводит несчастного учителя до гибели...

Позвольте, говорю я ребятам на ближайшем занятии: этот человек в калошах и с зонтиком не такой уж безобидный, как вам кажется! Вот послушайте: он «держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город... Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...» Как вы можете симпатизировать такому человеку! А не только мы симпатизируем, — слышу в ответ. — Вот и рассказчик, учитель гимназии Буркин, говорит: «Мне даже его жалко стало». Помните? Беликов увидел злую карикатуру на себя с надписью «Влюбленный антропос». И проговорил: «Какие есть нехорошие, злые люди!.. и губы у него задрожали». Вот тут-то его и пожалел Буркин. А вам разве его не жалко? Ну,



жалко, отвечаю, но не так как вам. Потому что я знаю, как жили люди в России в конце 19-го века, когда Чехов написал свой рассказ, а вы — не знаете. Вам даже трудно себе представить эту жизнь, такую непохожую на вашу. А я, к тому же, приехал к вам из страны, где свободы еще меньше, чем в тогдашней России. Скажите, нелепый и странный Беликов, вечно боящийся как бы чего не вышло, мог бы запугать, скажем, наш Оберлин? Или соседний Акрон? Да ни за что! А тот провинциальный русский город он запугал до смерти. Почему? Да потому что его страхи падали на благодатную почву. Для меня Беликов воплощает запретительную сущность авторитарной власти.

По лицам моих оппонентов вижу, что они хотят понять меня — и не могут...

Как говорят психологи, люди, подобные чеховскому Беликову (и гоголевскому Башмачкину из «Шинели»), страдают тяжелой формой **социофобии**. В Америке они составляют 13 процентов населения. Я здесь встречал таких людей, но это были так называемые пассивные социофобы: они не представляли угрозу окружающим, не пытались навязать свою мизантропию и свои страхи обществу. Другое дело — мизантропы активные, да еще одержимые идеологией, познавшие свет «единственно верного учения». Этих мы видели в СССР на самых высоких постах и немало от них натерпелись.

Жалость к фрику, страдающему от своей социофобии, оказалась сильнее жалости к целому городу, у которого этот бедный и несчастный отнял свободу. Почему? Потому что свобода для этих милых ребят — как воздух, которым они дышат с рождения. Им не перекрывали кислород, не надевали намордник. Несвобода для них — нечто абстрактное, умозрительное. И как результат, — ослабленный иммунитет к посягательствам на свободу, производимым под прикрытием демагогических лозунгов. Один из самых действенных требует введения equity, то есть полного равенства во всем, включая достигнутые результаты, в противовес equality — равенству перед законом и равенству исходных возможностей.

\* \* \*

Если бы профессор Алан Блум дожил до наших дней, он, возможно, писал бы сейчас сиквел к своему «Закрытию американского разума». И назвал бы его «Закрытие американского проекта». Порою кажется, что Америка прошла точку невозврата. Закроется ли окончательно ве-

ликий американский эксперимент — выяснится в скором будущем, которое мне вряд ли суждено увидеть. Однако уроки истории и смутные предчувствия подсказывают мне неутешительный ответ в духе мудрой и грустной песенки Булата Окуджавы: «Былое нельзя воротить». Маловероятно, что наша страна когда-либо достигнет нового расцвета и снова станет свободной и раскованной, отрешится от идеологических заморочек, выбросит на помойку омерзительную политкорректность, покончит с цензурой и самоцензурой, избавится от своих неврозов и от постыдного страха ляпнуть какую-нибудь крамолу.

Громадный корабль, ведомый бесталанными троечниками при поддержке доброй половины пассажиров, движется в смертельно опасные воды. Не так-то просто будет выбраться ему оттуда живым и невредимым.

### ОБ АВТОРЕ

---

---

---

**Владимир Аронович Фрумкин** (р. в 1929 году) — известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов. В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Булата Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне.

В России двумя изданиями вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин — постоянный автор нашего журнала.

## Александр ЯБЛОНСКИЙ КИРИЛОВЪ

---

*ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА*

Мы публикуем фрагменты нового романа Александра Яблонского, живущего и работающего в Бостоне (США).

Это одно из немногих произведений современной художественной литературы, погружающих нас в атмосферу Германии 30-х годов XX века. И показывается эта атмосфера в значительной степени сквозь призму восприятия главного героя — полковника Белой армии Анатолия Алексеевича Кирилова, ставшего эмигрантом в Берлине.

Это не исторический роман, хотя большинство действующих лиц — подлинные фигуры описываемой эпохи; их действия, суждения, судьбы достоверны и документально выверены. И это не притча о неизбежной повторяемости трагических коллизий. Это, скорее, стремление осмыслить и прочувствовать безысходность попыток адаптации общества и личности к кафкианской действительности, уничтожающей и общество, и личность; смысл и логику бытия. Так было, так есть, так будет, особенно если перебросить мостик из нацистской Германии в нынешнюю Россию во главе с Путиным.

Автор демонстрирует завидное знание немецких реалий того времени. Он проделал, без преувеличения, огромную кропотливую работу по изучению материалов, связанных с зарождением и первыми шагами германского фашизма. Порой поражаешься обилию фактов и деталей, неизвестных подавляющему большинству читателей. Публицистические «вставки» не нарушают художественную ткань произведения, хотя некоторым, возможно, они и покажутся чрезмерными. Однако без них мысли и поступки главного героя существовали бы в некотором отрыве от действительности 30-х годов.

*Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge.  
13 мая 1932 года.*

*Дорогой Толя, не удивляйся и не пугайся: это — я. Живая и относительно невредимая. И я — в Берлине! Причем пишу тебе сидя на скамейке в прекрасном парке Херцберге, который находится в округе Лихтенберг — надеюсь, ты уже освоился в этом «грандиозном» городе, как справедливо уверяет Бедекер. Правду говоря, причины, заставляющие меня наслаждаться ландшафтами и этого чудного парка, и великого, блистательного, разгулявшегося, хотя и запущенного города (но, конечно, не в такой степени, как наш родной Петербург), — причины эти весьма грустного характера. Но! Могло и должно было быть значительно хуже и безнадежнее. Здесь все же есть какая-то надежда.*

*Твой адрес я не знала, но в «Руле» мне подсказали, что ты работаешь на обувной фабрике и что тебя иногда можно найти в «Бойцовском клубе» на Ноллендорфплац (как тебя туда занесло?). Не надо морщиться: «Руль» хоть и газета, по твоим меркам, «либеральная», но там — вполне порядочные люди (встретила там, кстати, Иосифа Владимировича Гессена — ты не можешь не помнить его по совместной работе в Политцентре при штабе Николая Николаевича Юденича, он — один из учредителей этой газеты). Главное же, они подсказали, где тебя найти.*

*Надеюсь, ты получил письмо, оставленное в клубе на твое имя. Если захочешь меня увидеть, зайди как-нибудь в кафе «Леон». Это недалеко от твоего клуба на той же Ноллендорфплац. Я там каждое четное число (кроме воскресенья) работаю с 6 вечера до закрытия.*

*Твоя Маруся*

**К**ирилов чувствовал: что-то происходит в глубинах этого города. Подспудные, мощные процессы, накопление какой-то энергии — созидательной или разрушительной — скрытно происходили в недрах великолепного Берлина. Иногда ему делалось страшно и приходила мысль: а не двинуть ли в Париж или куда подалее. Но эта идея быстро улетучивалась, и не только потому, что в Берлине была Маруся, которая пусть и жила далеко от него, но всё же была един-

ственной родной душой в этом чужом мире, к которой хоть изредка он приходил, оттаивал, оживал. Конечно, можно было уехать вместе с Марусей, но Димочка был привязан к Шарите, и ему там стало явно лучше — в Парижах ничего в этом плане не светило. Причина была иная: безотчетное чувство тревоги вытеснялось — сметалось предвкушением пьянящего восторга, тем предчувствием «упоения в бою», которое обычно предшествует смертельной дуэли, сражению, возможно, обреченному на поражение, любой бессмысленной живительной авантюре, всплеску подлинной *жизни*, которое вырывало его из рутинного, серого бессмысленного существования, прозябания. Хотелось начисто выбрить лицо, промыв его ледяной водой, подкрутить усы, восстановить идеальный пробор, и образ намыленной веревки мгновенно истаявал из его видений. Маруся, видя это его преображение, пугалась, но вида не подавала, лишь сжималась в нехороших предчувствиях, ожиданиях.

Берлин же был действительно прекрасен. Казалось, он вновь расцвел после унылой депрессии и упадка, и было это цветение пышно, сладостно, порочно, чрезмерно и обреченно. Это особенно чувствовалось в районе Ноллендорфплац, куда он попал совершенно случайно. Поручик фон Энгельгардт, с которым Кирилов сблизился в Сербии, расставаясь, посоветовал остановиться в районе Шёнеберг у этой «знаменитой и обворожительной плац» и добавил, игриво подмигнув, что там «жилье дешевое и не заскучаешь, там прэлэстно... Хотя ты, Толя, не из этой компании». Толя тогда не понял в чем «прэлэсть» Ноллендорфплац, но в том, что там действительно можно снять комнату относительно недорого, убедился сразу.

Работу он нашел довольно быстро. Платили на обувной фабрике скромно, но это была работа; добыть ее уже становилось редкостной удачей. Он это понял через пару лет, когда потерял ее. Ему было удобно и дешево добираться с Winterfeldtstraße до работы на автобусе. Помимо этого, у него образовалось довольно много свободного времени, которого абсолютно не было в Сербии, — там он вкалывал без выходных. Здесь же он мог после работы и в выходной осваивать новый для него мир, мир абсолютно неведомый, ошеломляющий, пугающий. Мир не Германии, не Берлина — мир Ноллендорфплац.

Уже на третий день пребывания в Берлине, едва устроившись, он вышел «вдохнуть свежего воздуха». Его взгляд остановился на куполе станции метро Ноллендорфплац в виде войлочной шапочки для за-

варного чайника. Это было симпатично. Позже, доживи он до выхода романа «Прощай, Берлин», вспоминал бы этот «чайный домик».

Затем пошел куда глаза глядят. Вышел на угол Мотцштрассе и Калькройтштрассе. Остановился у клуба «Эльдорадо». Так началось знакомство с новой вынужденной «родиной». Берлин — огромный город, в тот момент он по своим габаритам уступал только Лос-Анджелесу. Однако судьба закинула Кирилова именно сюда — к «Эльдорадо».

Тогда зайти в клуб он не рискнул. Вид входящих и подъезжающих немолодых дам странной наружности и юношей определенных наклонностей, знаменитых и начинающих актеров, престарелых вальяжных мужчин с неприлично толстыми кошельками и полунущих искателей приключений или покровителей обоего пола, — вид этой публики несколько ошеломил Кирилова, в прошедшей жизни подобных приключений не испытывавшего и не искавшего.

Позже, освоившись, он несколько раз заживал в «Эльдорадо». Удовольствия не получал, но с новой жизнью осваивался. Там он увидел «живую» Марлен Дитрих, она сидела буквально за соседним столиком. Вход и рюмка полуплегалного абсента стоили недорого. Для хозяина «Эльдорадо» важно было привлечь клиента, деньги он имел с дополнительных услуг. Здесь, помимо всего прочего, выступала труппа трансвеститов, которых мужчины в перерывах могли пригласить на танец. За особую плату, естественно.

Если пройти метров десять–пятнадцать от «Эльдорадо» по Калькройтштрассе, то можно было зайти в ночной клуб «Ла Гарсон». Там Кирилову делать было нечего (как, впрочем, и в «Эльдорадо», но по более веским причинам). «Ла Гарсон» был клубом лесбиянок. Так что Кирилов не зашел. А зря. Там когда-то танцевала (и прекрасно танцевала) Анита Бербер. В обнаженном виде. Она была, во-первых, любовницей Сюзи Вановски, хозяйки «Гарсона». Во-вторых же, без Аниты пряная жизнь Берлина была немыслима. Она была символом, звездой и любимицей германского декаданта. Кирилов видеть ее не мог, она ушла за год до его приезда: на гастролях в Дамаске у нее обнаружился туберкулез в последней стадии. Через месяц она умерла в Берлине. Однако Анита оставила в наследство ту невероятную культуру свободы гомосексуального андеграунда, которую вдохнул Кирилов и которая значительно позже завоевала мир.

На Калькройтштрассе — мир лесбиянок. Мирская столица этого жанра. Здесь выходили две еженедельные газеты, располагалось пять

десятков баров и ночных клубов, среди которых блистали роскошью «Дориан Грей», «Верона Лаунж», «Виолетта». Двенадцать клубов «по интересам» удовлетворяли разнообразные запросы своих постоянных посетителей. По улице фланировали утонченные барышни, ища знакомства.

По соседству функционировало знаменитое «Кляйст-казино» — самый старый и почтенный гей-бар в Европе. Здесь процветала мужская проституция. С этим казино, как позже узнал Кирилов, был связан скандал, в центре которого оказался Рём. Скандал, поставивший точку в сомнениях Вождя. Впрочем, это было чуть позже. А пока начальник штаба СА приятно проводил время в Казино на Калькройтштрассе, мимо которого иногда прогуливался Кирилов.

Короче говоря, Кирилов выбрал удачное место для проживания. К его услугам, как и к услугам всех новичков, не определившихся в своих пристрастиях или наклонностях, был Институт сексуальных наук, основанный в 1919 году известным врачом-сексологом, исследователем гомосексуальности, одним из первых защитников прав сексуальных меньшинств Магнусом Хиршфельдом. Именно им была инициирована давняя, 1897 года, известная петиция, направленная против «параграфа 175» уголовного кодекса Германии «За разврат» (*Unzucht*), подписанная Альбертом Эйнштейном, Львом Толстым, Эмилем Золя, Германом Гессе, Томасом Манном и другими. В этом заведении, однако, не только изучали особенности сексуальности человека и вырабатывали методы его полового воспитания, но профессионально помогали определить, кому нужны девственницы, кому — розовощекие юноши, кому — пожилые фрау с кнутом, кому только две брюнетки с маленькими грудями, а кто тяготеет к самому себе. Однако Кирилов услугами Института полового просвещения не воспользовался, при всем том, что услуги эти были бесплатными. Он уже давно, с гимназии, определился со своими консервативными наклонностями. Он, лишь ознакомившись с достопримечательностями района Ноллендорфплац, сделал вывод: долго это не продержится. Если уж дело Мольтке-Хардена-Ойленбурга вызвало такой скандал в обществе, хотя его участники — гомосексуалисты были из ближнего окружения почитаемого и всеильного кайзера Вильгельма Второго, то ныне, во время мирового кризиса, в агонизирующей, пресыщенной свободой Веймарской республике должно рвануть. Раньше или позже.



Жаль было, что не успел посмотреть на Аниту — о ней ходили легенды. Она первая ввела в моду мужской смокинг и монокль как часть женского гардероба, Марлен Дитрих — вслед за ней. Два брака с мужчинами-геями, одним из которых был поэт, актер и выдающийся танцовщик — звезда экспрессионизма Себастьян Дросте. Их хореографические номера, в которых они порой танцевали обнаженные, такие как «Самоубийство», «Морфий» или «Ночь Борджиа», спровоцировали появление шедевров немецких кинорежиссеров-экспрессионистов. Кирилова сначала отталкивали эти фильмы своей атмосферой мрака, напряженного ожидания ужаса, тоскливой обреченности. Всего этого ему хватало в повседневной жизни. Но постепенно эта изысканно пронзительная культура стала его привлекать, завлекать, завораживать. Он стал тянуться к ней, как тянутся наркоманы к наркотикам, алкоголики к вину.

Он хорошо помнил старый фильм Освальда «Зловещие истории» с Анитой или ее танцевальный эпизод в знаменитом фильме Фрица Ланге «Доктор Мабузе, игрок»; особенно впечатлил его короткий документальный фильм, запечатлевший скандальный номер «Пляски ужаса, порока и экстаза». Во время исполнения этого номера, как рассказывали, публика приходила в совершеннейшее неистовство, многие бились в истерике, ломали мебель... Видеть ее на сцене Кирилов не мог, но на экране она по-прежнему блистала, оставив потомству двадцать два фильма со своим участием. Однако главное место в легенде «Анита» занимал ее эпатажный стиль бытия, она была героиней скандальной хроники Берлина 20-х. С восторженным недоумением рассказывали, как появлялась «наша Анита» на улицах или в магазинах в соболиной накидке, наброшенной на обнаженное тело, как демонстративно нюхала кокаин из серебряной бонбоньерки.

Говорили, что она выпивает бутылку виски в день, участвует в групповых оргиях с Сузи Вановски и ее пятнадцатилетней дочерью. Плюс романы с партнерами обоих полов, головокружительный кинематографический успех в Голливуде — помимо других ролей, она сыграла в первом в истории гомосексуальном фильме «Не такой, как все», снятом ещё в 1919 году Рихардом Освальдом с Конрадом Фейдом в главной роли, — фильме, рассказывающем историю скрипача, ставшего жертвой шантажа ввиду своей гомосексуальности. Это был серьезный, «программный» фильм. Перед его премьерой консультант картины д-р Хиршфельд сказал: «...среди людей суще-



стует огромное количество предрассудков и невежественных представлений. Мы не только должны освободить гомосексуалистов от незаслуженного презрения, но должны таким образом повлиять на общественное мнение, чтобы исчез юридический произвол, по своему варварству сравнимый с поиском и сожжением на кострах ведьм, безбожников и еретиков. Фильм позволит приблизить то время, когда будет покончено с темной безграмотностью, наука победит предрассудки, закон одолеет беззаконие, а человеческая любовь одержит победу над человеческой жестокостью и невежеством». Это был, пожалуй, первый манифест в защиту прав «не таких, как все». Анита предстала в нем сильной драматической актрисой. Это понравилось Кирилову.

Мировые гастрольные турне как танцовщицы и модели, триумфы, скандалы, прорывы в глубинные тайны экспрессионизма, провокации... И смерть в двадцать девять лет. Та невероятная смесь морфия, кокаина и виски, которая стала неотъемлемой составляющей ее бытия, не могла не привести к кризису. Собственно закат карьеры — крушение — произошел до установления страшного диагноза. Новый знакомый Кирилова по Ноллендорфплац Серж Крупецки с восторгом рассказывал, как во время выступления в Берлине за пару лет до смерти Анита, с которой Серж успел познакомиться и даже подраться в «Эльдорадо», танцевавшая обнаженной, не только пьяная, но и переборщившая с кокаином, набросилась на клиента, разбила о его голову бутылку с шампанским и заодно помочилась на него. На этом поток ангажементов, приглашений и внимания сильных мира сего стал быстро иссякать. «Это не женщина, это даже не богиня, это — Анита!» — захлебываясь, вещал Серж, прижимая к груди худые руки с длинными тонкими пальцами, унизанными массивными кольцами.

...Как-то в «Эльдорадо» к Кирилову подсел какой-то русский с подведенными глазами и в кофте с глубоким декольте. Присел именно поговорить, издали почуяв в нем русского, но не партнера по любовным забавам. Кирилов поражался, как эти мужчины (да и женщины) определяют себе подобных. Сколько он ни болтался по этому прэлэстному району, ни разу к нему не подошел мужчина с определенными предложениями, ни разу никто не притронулся, якобы случайно, к его заднице, не уставился тяжелым оценивающим взглядом. Мужчины его не замечали, смотрели сквозь него.

Этот «русский», у которого отец был фольксдойче, а мать — украинкой, родившийся в Риге, учившийся до войны в Тартуском университете, влюбленный в Петербург, оказался занятным малым.

— Почему ты решил, что я русский? — первым делом спросил Кирилов.

— Не знаю. Сначала я тебя услышал. Ты стоял спиной ко мне у барной стойки. У тебя отличный немецкий. Я подумал: парень из Гамбурга. Гамбургский диалект. Точнее — северный акцент. Потом ты обернулся. На немца ты не похож, на француза тем более. У тебя славянское лицо, лицо человека, много пережившего. Только русский может иметь такое лицо. После катастрофы. Я видел такие лица. Бывший офицер.

— С чего ты взял?

— Видел, как ты шел. Походка, выправка тебя выдают. Правая рука — с отмашкой, а левая пришита к левому бедру. Придерживая воображаемую и привычную шашку. Давай знакомиться, если ты не ханжа. Многие русские сторонятся нас. Меня зовут Отто. А тебя?

Разговорились. Вот тогда этот «русский Отто» и пригласил его заглянуть в «Бойцовский клуб» на Ноллендорфплац. Через полгода Кирилов вспомнил об этом приглашении.

\* \* \*

В Берлине было тихо. Чисто и голо. Липы на знаменитой Унтер-ден-Линден почти все вырубил. Вместо них посадили молодые деревца, которые, дай бог, приподнимутся году к 43–45-му. Зато воздвигли шеренги мраморных колонн, украшенных могучими орлами, знаменами, свастикой. Стало спокойно на улицах; даже в самых криминальных районах города, в которых и днём появляться было рискованно, нынче порядочные барышни и дамы могли спокойно прогуливаться в любое время суток. Хоть в полночь. Всесильный некогда криминал, который ещё не успели перестрелять, баловать с наци не рисковал. Советский посол Астахов докладывал об этом Сталину. Гитлер знал это. Гитлер многое знал. Знал он и о том, что после «Ночи длинных ножей» большевистский лидер, наконец, по достоинству оценил его, фюрера и сказал: «Гитлер — какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками! С Гитлером можно иметь дело». Те умники, которые уверяли на страницах их «Правды» — «правды!» — юмористы эти ребята, — что резня 1-го июля знаменует начало кон-

ца нового режима — всякие там Радеки и Зиновьевы, — уже кормили червей. Сталин — голова. Теперь и он, фюрер, понял, что с ним можно иметь дело. Собственно, они уже начали свои дела.

Как хорошо было бы пригласить Сталина в Берлин. Нет, не для его уничтожения. Таких партнеров уничтожать нельзя, их нужно беречь, использовать, приручать, по возможности, подчинять. Иметь такого союзника было бы неплохо. До поры до времени. Хотя со Сталиным это не выйдет. Он не приручаем и не подчиняем. Дикий восточный деспот. Гюрза в хромовых сапогах. Он — не Муссолини. Но достаточно умен, чтобы понимать пользу от союза. С ним интересно поиграть. И обыграть.

Конечно, это — детство. Гитлер умел оценивать себя со стороны, мог критично, но с пониманием анализировать свои желания. И мечта о том, как он выведет этого конопатого и сухорукого кремлевского хана на балкон своей канцелярии, нереальна. Но так сладостна. Стоять и искоса поглядывать, как этот горец в сапожках на высоких каблуках, посасывая свою трубку, сопит и с напускным равнодушием смотрит вниз. А внизу тысячные толпы восторженных берлинцев приветствуют стальную гвардию фюрера. Это уже не орда нескончаемых отрядов штурмовиков с факелами и дубинками. Хотя, и то зрелище, та огненная лава ласкала его память, и часто ностальгические сожаления овладевали его ранимой душой. Пока что редко, но закрадывались сомнения. Может, это не паранойя, и прав усатый властелин нищих славян, вырезав всю военную элиту и оставив около себя полуграмотных, но всецело, бездумно, по-собачьи преданных ему лично нукеров. Ум и талант — первые признаки, которые должны настораживать вождя в своем окружении. Задумывающийся исполнитель опасен. Эта истина была ему давно известна. Однако не всегда можно сразу распознать опасность.

...Муссолини прибыл в Берлин 25 сентября с целью подготовки «Стального пакта». Накануне, на съезде партии, открывшемся 6 сентября, Гитлер в своей речи акцентировал внимание на сравнении кровопролития и террора 37-го года у большевиков с умеренной национал-социалистической революцией и усилиями Германии остановить распространение коммунистического хаоса с Востока. Речь на этот раз была направлена не столько на запугивание окружающего мира и разжигание воинственного духа внутри страны, сколько на сохранение спокойствия у населения и у предполагаемого союзника.

Ему надо было нивелировать подозрительность графа Чиано, тогда ещё влиятельного министра иностранных дел, итальянского посла, да и самого дуче. Надо было также взять реванш за фиаско в Венеции.

Муссолини покинул Рим 23 сентября в специально сшитом новом мундире фашистской милиции при свите в сто человек. Он согласился на визит при условии, что не возьмет с собой гражданскую одежду. 25 сентября на вокзале

Hauptbahnhof в Мюнхене его встретил фюрер. Весь декор был на высшем уровне. Гремели барабаны, оглушительные крики «Хайль!» и «Дуче!», скульптурный караул, красная дорожка, крепкие рукопожатия. Затем поехали на квартиру Гитлера. Муссолини говорил по-немецки. Переводчик отдыхал, наблюдал.

Какие они разные — эти два властителя, которые поделят между собой Европу. Дуче — голова Цезаря, мощный лоб, квадратный подбородок, рот — пасть, мимика выразительная, порой утрированная, речь живая, образная. Тон декламаторский. Хохочет раскатисто. Говорит много и темпераментно, но ничего лишнего. Смешок Гитлера ехидный, с издевкой. Похож, скорее, на человека богемы; непослушные волосы, видимо, раздражают, внешне неопрятен, голос хриплый, грубый. Глаза красивые, но холодные, взгляд острый, порой пронизывающий, но внезапно затухающий. Вид дуче был, несомненно, внушительнее, но что-то начало меняться, исподволь роль каждого переосмысливалась, переоценивалась, причем не столько в глазах окружающих, сколько в самоощущениях вождей.

Первая встреча продолжалась более часа. Достигли договоренности в отношении Японии — развивать отношения, Франко — поддерживать, совместно противостоят Франции и Англии. Но важны были не эти договоренности, не соглашения, которые, кстати, не планировали подписывать, а то взаимное уважение, тот тип доверительных отношений, который ранее был им чужд.

Гитлер делал всё возможное, чтобы покорить, восхитить и превознести своего союзника. Выложил все игрушки: мощные военные маневры в Мекленбурге, посещение громадного завода Круппа, парад идеально вымуштрованных эсэсовцев, митинги. 28 сентября был подготовлен сюрприз: поезда диктаторов, следовавшие отдельно, около назначенного пункта поравнялись и минут пятнадцать шли параллельно, идеально синхронно так, что итальянцы и немцы переговаривались через открытые окна. Машинистам пришлось репе-

тировать неделю, но эффект был впечатляющий. Такую ювелирную точность дуче и его свита представить не могли. Наконец, апофеозом стало обещанное Муссолини общение с массами. По пути следования к Олимпийскому стадиону выстраивались зрители, их было около миллиона. Многих доставляли в столицу специальными поездами. 60 тысяч эсэсовцев со всей страны обеспечивали порядок и безопасность. Гитлер позволил Муссолини выйти к трибуне первым, чтобы тот принял на себя все восторженные почести. Дуче был ошеломлен. Он говорил по-немецки, но был так взволнован спектаклем, что до аудитории доходили лишь отдельные слова. Вдруг обрушился проливной дождь. Но дуче было не остановить: «Германия и Италия — это величайшие и самые подлинные демократии, которые когда-либо знал мир. ... У меня есть друг, и я пойду с ним до конца». Ливень хлестал, но Муссолини закончил речь, а затем, стоя один в машине, медленно проехал к своей резиденции, приветствуя массы. Плаща у него не было, и он промок до нитки.

Муссолини простудился, но Гитлер оценил: это — подлинный вождь. И чем больше фюрер проникался уважением и симпатией к дуче, тем активнее и искреннее последний перемещался в фарватер немецкого коллеги, к которому до этого визита относился с явным пренебрежением. Муссолини увидел силу, намного превосходящую его ожидания и мечты. И он добровольно стал младшим партнером фюрера. И фюрера это радовало. Сначала Италия, потом — весь мир...

Единственной занозой в отношениях оставалась Австрия, но и здесь всё неожиданно срослось. Министерство иностранных дел Германии дало указание своим зарубежным миссиям информировать правительства стран, что Италия отныне имеет свободу действия на Средиземноморье, а Германия — в Австрии. Возмущенной реакции, как и самой реакции не последовало. Это было ожидаемо.

А пока фюрер форсирует события, чтобы «дорогой Бенито» не передумал. Он и не передумает. Вскоре Гитлер прибывает в Рим — лучшее место, где можно было отметить свой триумф, исполнение главной мечты жизни (после Олимпиады) — воссоединение немцев. Муссолини празднует аншлюс вместе с ним. В Неаполе он поражает своего друга грандиозными и умелыми маневрами итальянского флота — двухсот с лишним кораблей. Десяносто подводных лодок одновременно показываются на поверхности моря. Это впечатляет более, нежели синхронно движущиеся поезда.

Всё дальнейшее, казалось бы, обнадеживало. Спокойствие, сытость и порядок внутри страны, смиренная, индифферентная тишина вне ее. Невилл Чемберлен — его частичный единомышленник, и он питает к нему — фюреру — бóльшую симпатию, чем к прусским генералам, возлагавшим надежды на Англию. Но интуиция, его уникально чутье, его голос — всё говорило ему, что эта тишина обманчива. Германия, действительно, постепенно уверовала в стремление фюрера «сохранить мир при любых обстоятельствах», впрямую восприняв его речь на сентябрьском съезде. С этим недоразумением надо бороться, преодолевать усталость и безволие своих сограждан. Поэтому он укрепляет гестапо и СС, наделяет их новыми полномочиями.

...«Сталин — голова, — подумал Гитлер. — Но — баран. Вырезал всю профессиональную военную верхушку. Воевать будет некому. Маршалы и высший генералитет — штучный товар. Он выращивается годами, если не десятилетиями». Он же, фюрер, своих полководцев и стратегов не уничтожил, припас до лучших времен, они ещё повоюют. Убрать никогда не поздно. Пока же все, кто могли реально отнять власть или способствовать этому, нейтрализованы. Спать можно было спокойно.

Но не получалось, не спалось... Франция и даже Англия, на симпатии которой он так уповал, наконец, очнулись от спячки и начали форсировать военные приготовления. Фюрер не привык к противодействию извне. Он обещал Чемберлену не нападать на Чехословакию. Чемберлен с готовностью внимает. Это — маневр, и его генералитет не может не понимать этого,

...Гитлер решается применить один из давно и хорошо апробированных приемов, чтобы встряхнуть нацию и проверить ее реакцию, ее преданность. Он отдает приказ Второй моторизованной дивизии, усиленной танками, танкетками, самоходными орудиями и саперными частями, и Третьей танковой дивизии пересечь Берлин по направлению к Чехословакии — с запада на восток по Вильгельмштрассе, мимо здания рейхсканцелярии. Горожан об этом грандиозном дефиле предупредили заранее.

В ожидании появления огромной ощетинившейся стальной змеи фюрер вышел на балкон, чтобы вмешаться, если толпа в своем ликовании станет неуправляемой. Он заготовил речь, в которой разоблачит чехословацкий империализм и происки его плутократии. Он

был собран, подтянут, воодушевлен. Он был в предвкушении очередного звездного часа. Но вдруг фюрер увидел под своим балконом не толпы девушек с цветами, не воинственных ветеранов и мускулистых рабочих его заводов, а небольшую кучку людей — не более 200 человек, стоявших в полном молчании. И всё. Приближающийся рев моторов не останавливал людей, поспешно спускающихся в метро или столь же быстро рассасывающихся по переулкам по выходе из него. Танковая армада, эта неудержимая лава — его, фюрера, гордость и надежда — интересовала берлинцев не более движения городского транспорта. Это был удар. Американский журналист В. Шерер, близко наблюдавший в тот день Гитлера, писал, что видел мрачное лицо фюрера, который был в ярости. Он ушел с балкона, не дождавшись прохождения Третьей танковой дивизии. Это был его черный день. «Это была самая удивительная антивоенная демонстрация, которую мне довелось увидеть за всю мою жизнь», — записал Шерер.

...И в светлые, и особенно в мрачные свои дни фюрер предавался грустным мыслям. Собственно, для чего он жил, работал и страдал, если народ не понимает его великих замыслов, не соперечивает его устремлениям. Стоило ли жить?! В такие дни он всегда вспоминал свою мать. Он никогда её не забывал. Но сейчас ему была особенно необходима ее ласка, ее обожание. Так хотелось почувствовать себя маленьким незащитным мальчиком, уютно пристроившимся у груди матери — вечной труженицы, безропотной жены своего мужа, которого она называла «дядя Алоиз» — Алоиз, действительно, был ее двоюродным дядей, в дом которого она — тринадцатилетняя девочка — когда-то пришла служанкой и всю жизнь работала, так до конца жизни и ощущая себя служанкой. Адольф помнил ее заботу о всех детях (у него было пять братьев и сестер), ее покорность мужу, ее неутомимую хлопотливую жизнь. Помнил, как они ходили в костел — мама регулярно его посещала, рождественские дни — самые светлые в его жизни, но более всего, те вечера, когда она, утомленная после длинного дня, садилась у камина, и у ее ног, прижавшись к ним, — вихрастый Адольф, и они сидели и смотрели на огонь. Она умерла 21 декабря 1907 года. У нее был рак молочной железы. Ее оперировал доктор Блох. Операция не помогла. Многие полагали, что ярым антисемитом Гитлер стал именно после этого случая, считая доктора Блоха виновником в гибели Клары Гитлер. Однако сам Блох, оставивший самые



яркие воспоминания о Гитлере тех лет, будучи в эмиграции, цитировал его слова: «Если бы все евреи были как вы, мне не надо было бы решать еврейский вопрос». В восемнадцать лет потерявший мать фюрер стал сиротой, и это сиротство испытывал, страдая, всю жизнь.

\* \* \*

Утром голова раскалывалась, сохло во рту, мутило и не хотелось жить. От холодного пива полегчало, но ненадолго. Потянуло в сон. Кирилов подремал часок-другой и собрался к Шкуро. А вдруг дружок приехал? Вот тогда можно будет грамотно опохмелиться. Утро было промозглое, сырое, серое, ноябрьское. Маруся, видимо, была в магазине, Димочка рисовал. На улицу выходить не тянуло. Он опять прилег, дожидаясь Марусю. Даже увидел сон. Идет он по лесу и видит мощный чистый гриб — боровик. Красавец. Сахарная ножка — пальцами не обхватить у основания, шляпка размером с блюдечко, цвета крепко заваренного чая. И хочет он наклониться, взять его, поддев пальцами под основание ножки, чтобы отделить от корневой системы, но не может. Будто кто-то держит его сзади за плечи. И дышит в шею. Он пытается вывернуться, но...

На Марусе лица не было.

— Что случилось?

— Там — ужас.

Оказалось, всю ночь громили еврейские магазины, дома, синагоги. Около их дома чисто. Но на площади под ногами хрустит стекло разбитых витрин, окон. Судя по доносящимся крикам, погромы продолжаются. Говорят, горят синагоги.

— Подожди. А полиция?

— Полицейские стоят, смотрят. Говорят, полыхающие здания, синагоги не тушат. Наблюдают, чтобы огонь не перекинулся на другие — арийские помещения... Никто ничего не понимает. Говорят, что это стихийный народный ответ на убийство каким-то евреем какого-то дипломата в Париже. Вот я принесла газету. Это ужас, Толя, ужас. Говорят, что арестовывают не погромщиков, а евреев. Молодых здоровых парней. Не ходи никуда!

— Дай газету!

«Völkischer Beobachter» сообщала: «Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секто-



ры в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов». Какой-то бред. Какое преступление, кто контролирует? Давно вытеснили евреев не только из экономики — из жизни. В Германии, во всяком случае.

— Где мой мундир?

В мундир было уже не влезть. «Разнесло! Разъелся, сволочь!» Почему-то в нем он чувствовал себя увереннее, привычнее. Хоть и тесновато.

— Толя, не ходи!

На Cicerostaße было тихо. Но, выйдя на Kurfürstendamm, Кирилов понял, что произошло нечто страшное и невероятное. Такого не было даже в Москве или Киеве в 18–19-м: там были уцелевшие витрины магазинов, там не было ковра битого стекла на тротуарах. Не было такого ощущения ужаса. Вернее, ужас был, даже ощущался он острее, но не было такого безразличия к ужасу. Там грабили, а здесь просто с ненавистью били. Добропорядочные немки с любопытством заглядывали в зияющие мертвые провалы витрин, кто-то поднимал и рассматривал выброшенные товары: антикварные изделия и женское белье, зонтики и коробки с конфетами, мужские ботинки и детские игрушки. Но никто ничего не брал в свои сумки, не распихивал по карманам выброшенное добро. Берлинцы — народ, славный своей порядочностью, стерильной честностью и культом частной собственности, они на чужое не зарились. Просто с любопытством и спокойствием наблюдали за результатами происшествия, несколько необычного, но не чрезвычайного, катастрофического.

То, что происходило, было, видимо, в порядке вещей, нечто ожидаемое, неизбежное, хотя и нарушающее спокойствие бюргера. Из парадных подъездов иногда доносились чьи-то крики, чаще женские или детские. Прохожие понимающе с улыбкой переглядывались, мужчины скабрёзно шутили, показывали недвусмысленные жесты, женщины возмущались этим шуткам и этим жестам. Несло гарью. Группа школьников, наверняка из гитлерюгенда преследовала какого-то старика-еврея интеллигентного, профессорского вида, выкрикивая антисемитские шутки. Берлинцы посмеивались. Еврей шел не торопясь, глядя прямо перед собой, придерживая рукой шляпу, словно не замечая веселившихся подростков и своих сограждан зрелого возраста. Какой-то мальчик стоял у парадного подъезда под охраной полицей-

ского, мальчик пытался вырваться и вбежать в лестничный проем, но полицейский его не отпускал. Видимо, он знал, что ребенку не стоит видеть то, что происходит в его квартире. Было много штурмовиков — Кирилов их сразу узнавал по выправке, привитой ещё Рёмом, стрижке, манерам, хотя большинство из них было одето в гражданское, сидевшее неуклюже, топорно. «Конспираторы хреновы. Мало вас побили в 34-м».

Кирилов впервые почувствовал облегчение: чувство вины и недомоганной горечи, преследовавшие его после резни «Ночи длинных ножей», исчезли. Угнетали его даже не жестокость, вероломство расправы, наглая провокационная ложь ее мотивации и оправдания, а бессудность, незаконность бойни. Большинство главарей СА, конечно, заслуживали и арест, и казнь, крови на их руках было предостаточно, но так — без следствия, без суда перегрызть горло своим же соратникам и единомышленникам — друзьям, которых взрастили и приучили к безнаказанной жестокости, этого он до сегодняшнего дня понять не мог, не мог смириться. «Так им и надо было!» Эти группки штурмовиков и юнцов из гитлерюгенда сегодня были хозяевами столицы и, видимо, всей Германии. После недолгого забвения и утилизации возможностей и влияния птенцы Рёма опять с шумом вышли на сцену. Наверняка ненадолго. Потом их опять запихнут в прикладную нишу. Но сегодня они вспоминали буйную молодость. Их обходили стороной, уступали дорогу с опаской, но и с молчаливым одобрением, порой даже ободряющими улыбками или негромкими возгласами.

Немцы ещё не привыкли к откровенному варварству и не знали, как себя вести: можно ли вслух выказывать радость. И ещё было неизвестно, как на погром — видимо, самый большой и беспощадный в современной истории — отреагирует фюрер. Они только начинали жить в новом порядке. Прав был Володя Набоков, «это отвратительная и ужасающая страна». Ее свинский дух вылез во всей красе. Кое-где начали расчищать улицы. Испуганные еврейские женщины аккуратно складывали в кучки найденные вещи, сметали битое стекло, некоторые по привычке мыли с мылом тротуар. Они ещё чувствовали себя немками — аккуратными и добросовестными. Мужчины пытались там, где ещё было возможно, вставлять стекла, навешивать двери, перевязывать раненых. Им не мешали. Дети с портфелями в руках или с ранцами за спиной шли в школы. Они ещё не знали, что будут исключены из германских школ. Потому что они — евреи.

На углу Кудамм и Несторштрассе какой-то мужчина, скорее всего, отставной офицер, читал выступление Геббельса в Мюнхене на праздновании 15-й годовщины Пивного путча. Любитель и ценитель хорошего кино на вчерашнем банкете, сообщив о только что полученной информации — покушении на германского дипломата, заявил: «Национал-социалистическая партия не унижится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться». Окружающая отставника-декламатора реденькая группа любопытствующих загудела: «So wird es sein!» (Так и будет!) За углом догорал маленький особняк.

На Курфюрстенштрассе, 119, Кирилов добрался совершенно разбитый. Вернее, до дома, где останавливался Андрей, он не дошел пару кварталов. Из спортивного клуба «Sport ist Freude» («Спорт есть радость») выволакивали избитых парней, которые не понимали, что происходит. Один кричал: «Ich bin an nichts schuld! (Я ни в чем не виноват!)», другой плакал: «Das ist ein Fehler. Ich bin kein Jude (Это ошибка, я не еврей!)». Удары дубинок по голове прекратили дискуссию. Всех затолкали в крытый фургон. Через несколько метров Кирилов наткнулся на валявшуюся вывеску «Kaufman und Firma. Babyprodukte» («Кауфман и компания. Товары для новорожденных»). Вывеску усердно топтал дородный краснолицый седой мужчина лет пятидесяти. Другие благообразные старики и аристократического вида юноши в гольфах и бриджах с удовольствием втирали ногами в грязь детские пеленки, чепчики, распашонки, соски, одеяльца — «Jüdische Spitze!»!, «жидовское кружево». Кирилов в изумлении остановился: пеленки не имели национальной принадлежности и предназначения! И в этот момент он услышал какой-то странный хохот, доносившийся из квартиры над магазином.

Что толкнуло его в лестничный проем? Спускавшийся навстречу штурмовик, видимо, узнал его — «Hallo Freund!» Кирилов вошел в запахнутую настежь дверь богатой и уже разгромленной квартиры. В большой зале, видимо, гостиной четверо здоровых штурмовиков играли в мячик — один бросал другому, тот в одно касание переправлял его следующему. И так — по кругу. При этом они смеялись во весь голос, радостно и озорно, как школьники на перемене. Комната была усеяна обломками фарфора, хрусталя, втоптаннными в пол фотографиями, картинами, Кирилов увидел порванный холст, возможно, Каналетто в до-

рогой раме. Он помнил эти венецианские каналы в Эрмитаже, куда их пару раз водили. Разгромлено было всё, что можно было разгромить. Кирилов уже собрался уходить, но тут он увидел девочку лет десяти, он ее сразу не заметил, они вместе со своей мамой вжались в темный угол и были плохо видны. Кирилова поразило лицо девочки. Глаза полны ужаса, а рот пытался растянуться в улыбке. Казалось, она не понимает, что происходит: взрослые дяди играют или делают что-то страшное. Такое же выражение было на лице женщины лет сорока.

И тут Кирилов разглядел, что мужики играют в мяч с собачкой. Маленькой белой собачкой, умещающейся, наверное, на мужской ладони. Собачка перелетала от одного веселящегося игрока к другому, так же, видимо, не понимая, играют ли с ней, или мучают. Она смешно растопыривала передние лапки, словно пытаясь затормозить это нелепое, страшное или веселое движение. Это продолжалось несколько секунд, но Кирилову показалось — долгие минуты. Как в фильмах, когда герои вдруг начинают неестественно замедленно, как во сне, двигаться, действие останавливается, фокусируется на этих движениях, и это замедленное сомнамбулическое движение завораживает странно, страшно, как страшен обезволивающий гипноз, даже вне связи с характером сюжета и событий фильма или жизни. До конца своих дней видел Кирилов эти растопыренные лапки и слышал хруст стекла под кувалдами солдатских ботинок.

— Was geht hier vor?! (Что здесь происходит?!) Idioten! (Идиоты!). Verschwindet von hier! (Пошли вон отсюда!) Hab die Zeit gefunden! (Нашли время!).

Высокий тощий офицер СС ловким молниеносным движением перехватил собачонку и с силой швырнул ее в стену. Она, как показалось, на миг прилипла к стене и затем мягко, тряпочкой, соскользнула на пол. Офицер небрежно пнул ее сапогом в голову. Раздался звук лопнувшего грецкого ореха.

— Warum einen Hund? (Зачем собачку?). Der Kopf einer kleinen Jüdin wäre besser! (Лучше бы голову маленькой жидовки!).

— Wir haben noch Zeit genug! (Ещё успеем!). Wir sind bald wieder zurück! (Скоро вернемся!).

Когда весельчаки с гоготом покинули квартиру, девочка, воровато оглядываясь, пригнувшись, на цыпочках рванулась к собачке, схватила её, прижала к груди и опять бросилась к матери. Собачка, странно повернув мордочку, смотрела с ласковой укоризной и вопросом: «За-

чем же так?» Из её глаза скатилась слеза, почему-то розового цвета. Капля крови выступила из полукрытого рта. Кирилов попытался разжать руки девочки, чтобы забрать у нее ещё теплое тельце собачки, но она с такой ненавистью зыркнула на него и с такой звериной угрозой промычала — прорычала, что он оставил ее. Схватив маму и девочку за руки, он вытащил их из страшной квартиры.

Всё дальнейшее он помнил плохо. Вернее, у него случился полный провал памяти. Последнее, что осталось, — крик вслед:

— Hey Russe, töte sie nicht! (Эй, русский, не убивай их!) Es gab eine Befehl, nicht zu töten! (Был приказ не убивать!).

Каким образом он добрался до дома, он не мог вспомнить, как его ни спрашивали Маруся и Отто. Забрать уже остывшее тело собачки смог Дима. Девочка как-то сразу потянулась к нему, а он обнял ее, погладил по голове, что-то попытался сказать, но у него не получилось. Она его поняла и отдала свое сокровище в его протянутые руки. Когда стемнело, Кирилов похоронил собачку в ближайшем сквере.

Решили, что он несколько суток будет ночевать у Отто. Фрау Кауфман и ее дочке отдали комнату Димочки, Дима переехал к Марусе, а Маруся разместилась на кухне. С Кириловым что-то случилось: он с трудом размыкал губы, чтобы выдать элементарную фразу, все его движения стали заторможенными, казалось, что он не всегда понимает, что ему говорят, что от него хотят; во всяком случае, его реакции чем-то напоминали симптомы депрессивного ступора. Он это осознавал, но его это не волновало, не озадачивало. Только на третий день он стал приходить в себя. Девочка же онемела. Она издавала какие-то звуки, по которым можно был догадаться, что она хочет. Да она ничего и не хотела и целый день сидела, глядя в одну точку на стене; надо было взять ее за руку, чтобы пригласить обедать или спать. Только с Димочкой она оживала, то есть начинала реагировать на его появление или уход, улыбка могла проскользнуть по ее обескровленным губам, когда он брал ее за руку. Даже аппетит у нее пробуждался, если он сидел рядом за столом. Она могла часами смотреть, как он рисует. Казалось, что он, тридцатисемилетний мужчина, и она, одиннадцатилетняя девочка — ровесники. У них одни заботы, одни проблемы, одни горести. И радостей у них не было в одинаковой степени. Только одна — видеть друг друга.

Фрау Кауфман не смогла заставить себя зайти в свою квартиру, поэтому она попросила Кирилова сходить и забрать документы и самые

необходимые вещи, если ещё всё полностью не разграблено. Было решено, что они уедут в Берн, благо наци выпускали, даже выдавливали евреев при условии, что те забирают с собой лишь 5 процентов состояния или имущества. Это фрау Кауфман не волновало: если бы они были абсолютно голые, она всё равно бежала бы из этой жуткой страны, однако они не были голые, их состояние лежало в швейцарском банке, об этом давно позаботился ее покойный муж. Пока же она пыталась оформить место в «Островной больнице» — *Inselspital*, то есть Университетской клинике — *Universitätsspital* — Берна. Там могли попробовать вернуть девочке речь. Договоренность была достигнута, но оформление и перевод денег требовали времени.

Поразительно, но разгромленная квартира Кауфман не была разграблена. Дверь была только прикрыта, Кирилов спокойно вошел. Та же жуть хаоса, гулкая тишина мертвого дома, хрустальный ковер на полу, искореженные картины, поломанная мебель. Какой-то дикий вандализм. «Уж лучше бы себе забрали, — подумал Кирилов, — повесили эти картины, поставили бы мебель, пользовались...» Все документы находились в указанном фрау Кауфман месте. Более того, в ореховой коробочке лежала крупная сумма наличных денег. В ящике стола явно рылись, что-то рвали и выбрасывали, но солидная стопка рейхсмарок была не тронута. Кирилов собрал нужные бумаги, несколько фотографий, снял со стены маленькую, чудом сохранившуюся миниатюру Ватто — пусть будет им память о счастливом времени, когда девочка безостановочно щебетала, а маленькая собачка радостно носилась по квартире. Больше делать здесь было нечего. Он ушел, слегка прикрыв дверь. Выйдя на улицу, он вспомнил, что через квартал — дом Андриюши. Но то, о чем мечталось неделю назад, теперь казалось пустым, ненужным, отмершим. Как, впрочем, и все надежды, миражи, иллюзии светлого кинематографического будущего. И вообще — будущего. Мир обесцветился.

Где-то через неделю Кирилов обнаружил за собой слежку. Какой-то тип (Кирилов сразу распознал, кто он и откуда) даже не следил, а следовал за ним, не очень скрываясь и камуфлируясь. Это был серенький мелкого роста человек с мелкими чертами лица, с серой щелью вместо рта и мышинными глазками, но в нелепой для этого времени года и этого города тирольской шляпке с пером. Это суетливое перо мелькало за Кириловым уже с полчаса. Сначала Кирилов «рассматривал» витрины газетных киосков или магазинов, а затем в открытую

оглядывался на своего сопровождающего. Наконец, он остановился у магазина женского белья и стал с интересом знакомиться с экспозицией лифчиков и трусиков. Шляпа с пером остановилась рядом с ним.

— Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.— Голос высокой, интонации распевные, малороссийские.— Вы меня слышите, Анатолий Алексеевич? Добрый день.

— Извините, но я не разговариваю с незнакомцами.

— И правильно. Поэтому давайте познакомимся. Меня зовут...

— Виноват, но у меня нет времени, да, честно говоря, и желания знакомиться. Я не сторонник уличных знакомств.

— И правильно, хотя бывают исключения. Тем более, в вашем положении. Много времени я у вас не отниму. Пока вы наслаждаетесь видом трусов и бюстодержателей, я изложу вам наши предложения. Коротенько. Предложения весьма для вас соблазнительные. Поверьте.

— Я благодарю вас за оказанную честь, но воспользоваться вашими предложениями, э-э... товарищ, не смогу. Всего наилучшего.

— Напрасно вы так. Во всяком случае, подумайте. Советую. Если надумаете, вы знаете, где меня найти.

Кирилов резко обернулся.

— Судя по вашей шляпке, в Тироле.

Глазки злобно сверкнули, щель сомкнулась и змейкой соскользнула с лица.

— Зря вы так, любезнейший.— Шляпа последовала за ним.— Нам прекрасно известно, кого вы скрываете, а вам прекрасно известно, что вам грозит за нелегальное, то есть незарегистрированное укрытие...

Вечером было решено, что откладывать отъезд нельзя. Кирилов поедет с Кауфманами, чтобы помочь обустроиться и дать возможность фрау Кауфман закончить все формальности с клиникой. Девочка уже привыкла к Кирилову и терпела его присутствие.

\* \* \*

— Не думаю, что это серьезно. Хотя от них всего можно ожидать,— сказал Отто.

— Это я слышал уже много раз... Но он ведь узнал меня, то есть у них была моя фотография или кто-то указал на меня,— пояснил Кирилов.

— Но это не проблема. Думаю, у них на многих есть досье. Ты же не просто рядовой. Ты — полковник. Первопоходник, с Бискупским



близок, по их понятиям, с фон Лампе знаком. Ранее знался с Лютце и чуть ли не с самим Рёмом. У них наверняка есть связи с гестапо, СД. Но валить тебя они не будут. На крючке держать попытаются, если у них есть какие-то серьезные планы. Но какие у них на тебя, прости, могут быть планы? Выход на Бискупского? Возможно. Хоть он и в команде наци, но всегда ими подозревался в связях с ОГПУ. У них чутье собачье. И в ОГПУ это, возможно, известно. СА их уже не интересуется, это — отыгранная карта, да ты отошел от них давно и полностью. Возможно, про запас: а не надумаешь ли ты возвращаться в совдепию. Вот это для них была бы удача. Во всех смыслах. Они бы тебе помогли, ну и ты в долгу не остался бы. Не смог бы остаться. Да и сам факт возвращения им в зачет. Зря ты прервал разговор в самом начале. Хотя лучше в эти игры не играть. А может, из спортивного интереса — подловить, сломать. Они эти забавы любят. Но, в любом случае, за просто так сдавать тебя, да ещё по такому пустяку — отсутствие регистрации — они не будут. Да, сокрытие евреев... Но это пока что не криминал. Не дураки же — с первого захода, без игры лишиться нужной карты. Если ты — нужная карта. Да и тебе за это ничего особенного не будет. Могут Кауфманов промурыжить, чтобы вытянуть как можно больше денег при отъезде, но я помогу, у них будут необходимые бумаги, и их не тронут. С другой стороны, эти ОГПУшники, хоть и большие мастера — всю Европу насытили своими кадрами, каждый второй по убеждениям или за деньги, или из-за полных штанов им стучит, все сквозь пальцы смотрят на их похищения, убийства, провокации, заговоры, гэнэушные головорезы, вроде Дугласа, разгуливают по Европе, как по Лубянке, — при всем этом они большие долбоёбы. Убили одного из секретарей Троцкого — это для них рутина, понятно. Чтобы запутать следаков, не поленились голову бедняге отрезать и руки отрубить. Ни лица, ни отпечатков. А спорить с белья метку прачечной, по которой труп и опознали, им в голову не пришло. Слишком сложно. Так что... В любом случае, Кауфманов надо вывозить и как можно скорее. Пока все страны не закрыли германским евреям въезд.

— Это возможно?

— Это уже происходит. Приём евреев и антифашистов резко ограничивается, а точнее, мизерные квоты приема беженцев из Германии, Австрии ни одна страна увеличивать не собирается. От греха подальше. Боятся, что ещё кто-нибудь кого-нибудь ухлопает, а им отвечать. В штаны наделали от имени нашего фюрера. Европейская цивилиза-



ция — трусливая баба. И Гитлер это прекрасно понимает и пользуется этим. Я давно говорил. Да и юдофобства Европе и Штатам не занимать. Один президент Рузвельт чего стоит! Без Эвиана нынешнего погрома не было бы...

Отто, возможно, ошибался. Президент Рузвельт юдофобом, скорее всего, не был. Круг его близких друзей — среди них президент Американского и Всемирного еврейского конгрессов Стивен Вайз — и помощников изобиловал евреями, которых он ценил и любил. Он был политиком, и политическая конъюнктура имела для него значительно большее значение, нежели чьи-то жизни. Да, квоты расширять не решались, дабы не увеличивать безработицу, отталкивая тем самым избирателя, подогревая антисемитские настроения — позиция, зеркально отражающая настроения «коренного» немецкого еврейства по отношению к беженцам с Востока в начале 30-х... Однако эти квоты не только не расширяли, — их не выполняли: только в США в период между 33-м и 37-м годами разрешение на въезд в страну получили примерно 30 тысяч человек вместо разрешенных 129785. Конкуренцию американским безработным 20 тысяч еврейских детей составить никак не могли. Их собирались впустить согласно законопроекту Вагнера–Роджера, однако Рузвельт эту инициативу отклонил. Не желая портить отношения с Великобританией, американский лидер не воспротивился решению королевского правительства сократить, а затем прекратить еврейскую иммиграцию в Эрец-Исраэль. Из 32 стран, созданных Рузвельтом на совещание в городке Эвиан-ле-Бен летом 1938 года, только Доминиканская республика согласилась впустить евреев-беженцев. Все остальные границы фактически закрыли, следуя мнению — тактично высказанному пожеланию Президента США: «никакое государство не будет вынуждено менять свою иммиграционную квоту». Цивилизованный мир оставил еврейство один на один с нацистским режимом. Здесь Отто был прав.

— Вот сегодня переночую у тебя последнюю ночь и завтра на дневном поезде...

— Ночевать можешь сколько хочешь, а ехать надо. И вам спокойнее, и им — спасение. Здесь всё только начинается.

— Ты думаешь?

— Толя, а ты полагаешь, что это — случайность, недоразумение?

— Нет, конечно. Я полагал, что это, скажем, кульминация. Запугать, чтобы отбыли на Мадагаскар, как планировали поляки, или в Палести-

ну. А ещё лучше — в Штаты или Англию. Сделать геморрой дяде Сэму и бриттам — что может быть слаще для фюрера. Запугали евреев, довели свой народ до точки кипения зоологической пропагандой, а теперь будут пожинать плоды, осваивать оставленные иудеями богатства.

— По поводу зоологии ты прав. И то, что наш — я имею в виду германский — народ, центр европейской культуры, с радостной готовностью ринулся в погромы — и в этом ты прав. Но не будь наивен...

— Отто, мой друг, ты хочешь сказать...

— Да, хочу тебя уверить, что фюрер изначально ставил задачу сделать Германию государством юденрайн, то есть очищенной от евреев. Но не только. Он писал же, что даже без синагог, еврейских школ, без Библии еврейский дух всё равно бы существовал, существовал изначально и распространял свое влияние, и нет ни одного еврея, который не воплощал бы этот дух. Что-то в этом роде. Так что он не успокоится до тех пор, пока не останется ни одного носителя этого духа. Погром, поверь, — только первый крупный шаг по этому светлому пути. Шаг обдуманый, хорошо спланированный и фундированный всеобщим мировым безразличием. К сегодняшнему дню им стало ясно, что все драконовские антисемитские законодательные меры нужного результата не дают, иммиграционная лихорадка не заразила иудеев. Нужен толчок. А для толчка — повод. Повод для большого погрома. И самое действенное средство — убийство евреем германского политика. Лучше — дипломата. Нужно было найти не очень нужного, чуждого им по убеждениям дипломата, а таких много, и еврея, которого использовали бы вслепую. Давал ли Гитлер конкретное поручение Гейдриху — не знаю, но думаю, фюрер не мог не быть хотя бы в курсе. Это — закон вертикальной автократии. Ну а Гейдриху объяснять не надо, достаточно намекать... Короче, Гейдрих дал указание Мюллеру, и гестапо начало поиски в Европе такого еврея. Нашли. Некого Гершля Гриншпана. Это я знаю доподлинно. Да и ты читал во всех газетах: «Гнусный еврейский убийца Гриншпан вызвал священный гнев немецкой нации». Поверь, ещё не раз «гнусные убийцы — евреи» будут вызывать «священный гнев народа». И не только в Германии...

Также знаю и то, что готовиться стали не только к покушению, но и к его результатам. Загодя пометили еврейские магазины белой краской, составили списки богатых евреев. Концлагеря Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен к октябрю существенно расширили для новых заключенных — евреев. Определили синагоги, стоящие отдельно от город-

ских строений, для сожжения и остальные — для разграбления. Запретили сжигать синагоги, если оттуда гестапо не успело вывезти архивы. Гейдрих в своих инструкциях дал четкие указания: арестовывать в основном молодых мужчин-евреев и богатые семьи и только в том количестве, которое могут вместить тюрьмы, ни в коем случае не задевать евреев-иностранцев, деловые и частные дома евреев громить, но не грабить, не допускать убийств. Был определен размер контрибуции для еврейской общины Германии — 1 миллиард рейхсмарок.

— За что?

— В качестве наказания. И чтобы неповадно было быть евреем. Геринг вчера заявил на совещании промышленников: «Германские евреи должны, в наказание за свои ужасные преступления, уплатить один миллиард». И добавил: «Я не хотел бы быть евреем в Германии». Честный парень... Как они подловили этого Гриншпана, я не знаю.

...Отто не знал и знать не мог много. Он не мог знать, что Гитлер ещё в феврале приказал Гейдриху готовить покушение на германского дипломата так, чтобы погром подгадать к 10 ноября — дню рождения Мартина Лютера, начинавшего как юдофил, но закончившего свою жизнь ярым антисемитом. Фюрер любил символику во всем. Геббельс в своем дневнике записал, что Гитлер лично дал указание арестовать от 20 до 30 тысяч евреев. Тех, кто уцелеет после нескольких недель в концлагерях, выпустить с условием немедленного отъезда из Германии. В случае невыполнения или возвращения — повторные концлагеря особого режима уже без права освобождения. Фюрер знал — читал решения Эвианской летней конференции: все страны закрывают свои границы, да и предугадать реакцию цивилизованного мира было нетрудно. Гитлер умел делать нужные, эффектные и беспроегрывные шаги: он евреев милостиво отпускает, а Европа и Штаты их ему возвращают тепленькими...

И ещё, чего не мог знать ни Отто, ни даже близкие соратники вождя. Фюрер ждал. Ждал звонка Бранда. Или Гейдриха.

Выстрел Гриншпана в германском посольстве в Париже прозвучал 7 ноября, о чем Мюллер моментально доложил находившемуся в Нюрнберге Гитлеру. 8 ноября, прибыв в Мюнхен, фюрер участвовал в торжествах, посвященных 15-й годовщине «Пивного путча», выступая, естественно, перед соратниками. 9 ноября он принял участие в «Дне старых бойцов» — высшем празднике партии. Состоялся марш к «Галерее полководцев», где вождь возложил венки на 16 саркофа-

гов, с телами погибших 15 лет назад штурмовиков. 9-го числа вечером в пивной «Бюргербройкеллер» он произнес большую речь перед кавалерами «Ордена крови». Ни в одном из выступлений в эти дни он даже не упомянул о злодеянии, хотя газеты уже захлебывались описанием подробностей, истерическими антисемитскими заклинаниями. Хранил молчание и Риббентроп, который должен был бы немедленно послать ноту протеста Французскому правительству, как и положено в таких случаях. Они ждали. И только после семи часов вечера раздался звонок от Карла Бранда, а затем и Гейдриха: Ernst Eduard vom Rath умер.

Дело было в том, что Гершль Гриншпан выпустил в советника посольства Эрнста фон Рата пять пуль. Раны в плечо и проникающее ранение в брюшную полость опасений не вызывали. В госпитале ему сделали операцию, тревоги за жизнь не было. Однако сразу по получении известия о выстрелах Гитлер приказал отправить в Париж — для страховки — свой самолет с бригадой врачей во главе с Карлом Брандом — личным врачом и «доверенным лицом». Это выглядело как персональная забота вождя о жизни дипломата-героя — жертвы еврейского заговора. Бранд и его команда взяли лечение Рата в свои руки, отстранив французов. Никого, в том числе мать, к раненому не допускали. Утром 9 ноября Бранд дал указание готовить фон Рата к переливанию крови. После третьего переливания к вечеру Рат скончался. Ему случайно, по ошибке, перелили кровь, не соответствующую его группе. О чем и было доложено. Погром можно было начинать в намеченные фюрером сроки: в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.

На чем подловили Гриншпана? Подловили! Многое совпало. Выполняя приказ Мюллера и прочесывая все места, где появлялись германские дипломаты — потенциальные «жертвы» еврейских убийц, агенты гестапо обратили внимание на 17-летнего Гриншпана — завсегда бара для гомосексуалистов. В баре он контактировал с третьим секретарем германского посольства Эрнстом фон Ратом. Насколько близкими были их отношения, агенты не выясняли, но стало известно, что Рат оказывал материальную поддержку беженцу из Ганновера, польскому еврею Гершлю. Всё складывалось удачно. Рат превосходно подходил на роль жертвы. Он давно попал в поле зрения гестапо из-за своих взглядов, особенно в расовом вопросе, так что его устранение как антинациста и гомосексуалиста, в любом случае, шло на пользу Рейху. С другой стороны, родители Гриншпана находились

в катастрофическом положении, о чем сообщили сыну, прося о помощи: «Дорогой Гершл, мы оказались в Польше без копейки денег. Не смог ли бы ты прислать сколько-нибудь...»

27 октября польских евреев, проживавших в Германии, начали депортировать в Польшу. 17 тысяч человек на грузовиках отправили к границе. Там их, подгоняя палками, стали вытеснять на польскую территорию, однако польские пограничники, угрожая открыть огонь на поражение, остановили поток. В течение нескольких суток эта масса людей находилась под открытым небом на нейтральной полосе, и только 1 ноября их разместили в бараках вблизи Збонщин. Помочь материально сын был не в состоянии, он не имел за душой ни гроша. Но отомстить мог. Собственно, об этом он и заявил в полиции после ареста: «Я решил убить сотрудника германского посольства в знак протеста, чтобы обратить внимание мира на то, как в Германии обращаются с польскими евреями».

Сложить пузеля Гейдриху, специально прибывшему в Париж, не составляло труда. Гриншпану подставили агента, якобы дружившего с его отцом, который рассказал о положении семьи и, видимо, передал от Менделя Гриншпана открытку с просьбой о помощи. Он же, внушив Гершлю мысль о необходимости мести, снабдил его деньгами для покупки пистолета. Когда решение Гершлем было принято, облегчить ему доступ в посольство и навести именно на Рата, а не на посла, было просто, хотя практически беспрепятственное проникновение в здание миссии, преодолеть систему безопасности которой было невозможно, не могло не вызвать подозрений. Но на такие мелочи Гейдрих внимания не обращал — Германии уже было всё позволено. Посольство, обнесенное высокой стеной, снаружи охранялось французскими службами безопасности, с внутренней стороны патрулировалось эсэсовцами с овчарками. При входе на КПП посетитель должен был назвать фамилию дипломата, с которым у него назначена встреча. С дипломатом связывались и, в случае подтверждения договоренности, посетителя обыскивали, проверяли документы и в сопровождении охраны препровождали в здание. Если предварительного согласования не было, попасть в миссию было невозможно. Двери в само здание автоматически открывались изнутри офицером службы безопасности. В вестибюле посетителя опять обыскивали и только после этого впускали в специальную комнату рядом с помещением дежурной охраны, куда заходил представитель посольства.

Гриншпана не обыскивали и с Ратом, видимо, не связывались. Беспрепятственно впустить и вывести на фон Рата можно было только с личного указания Гейдриха...

Основная задача была выполнена: убийство сработало. Великий погром 38-го года открыл новую страницу борьбы с мировым иудейством.

...Многое не знали ни Отто, ни Кирилов. Кроме одного: отсюда надо уезжать. Отто с Франсуаз давно решили, да и Кирилов начал дозревать. «Хрустальная ночь» его доконала. Пока же — завтра утром — Кауфманы вместе с Кириловым ехали в Берн.

— Ты не бросай Марусю. Поглядывай за ними.

— Не волнуйся. Буду надоедать им каждый день. Да и Франсуаз заскочит. Пошли спать.

#### ОБ АВТОРЕ

---

---

*Александр Яблонский* — профессиональный музыкант, выпускник Ленинградской Консерватории. Преподавал в ряде музыкальных учебных заведений Ленинграда, в том числе в Консерватории. Вел мастер-классы и читал лекции в Барселоне, Кельне, Риге и др. Был Генеральным директором Объединения «ПЕТЕРБУРГ—КОНЦЕРТ» (ранее — «ЛЕНКОНЦЕРТ»).

В 1996 эмигрировал в США; живет и работает в Бостоне. Автор книг «Сны», «Абраша», «Президент Московии», «Импровизация с элементами строгого контрапункта», «Ж-2-20-32», «Ленинбург г-на Яблонского», «Ода к радости в предчувствии Третьей мировой», а также рассказов и статей. Его публикация «Генерал Власов как индикатор мифотворчества о войне» появилась в № 2 (10) за 2019 год в журнале «Времена».

Григорий МАРГОВСКИЙ  
**КАРТИНА МИРА**

---

*СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ*

**ПИСЬМЕНА**

Бриллиантовую пыль  
Подносил визирь с улыбкой,  
Драгоценнейшей присыпкой  
Знаменуя щедрый стиль.  
Было велено: «умри!» —  
Не на гербовой бумаге —  
В генуэзском банке скряге,  
Острослову в Тюильри.  
Обрекал их падишах  
На мучительную гибель:  
За урезанную прибыль,  
За издевки на балах...  
А теперь — без янычар  
Обезлюдела столица,  
Семицветно пузырится  
Пена, посланная в дар.  
Виноваты мы — но в чем?  
Книгу древнюю листая,  
Помоги, волна морская,  
Заглянуть за окоем!  
Мир отравлен целиком,  
Стал он собственной тенью,  
Ибо к саморазрушенью  
Жаждой мщенья влеком.

Смертоносный яд испит,  
И ученый озадачен:  
В этом эпосе утрачен  
Водорослей алфавит.  
И прибрежного песка  
Письмена в часы отлива,  
Скрученные прихотливо,  
Не разгаданы пока.

### «ПИСЬМА С ПОНТА»

Рог извитой и вещая трещотка  
Молили о пощаде столько лет...  
Гексаметры я различал нечетко:  
Сгущались тучи, запотел планшет.  
Взывать к друзьям? Напоминать о боли,  
Испытанной не ими? Что за блажь!  
Куда уместней споры о бейсболе  
За кружкой пива, августовский пляж.  
К примеру, эта цаца в ламборджини:  
Чем не сарматка гибкая в седле,  
Мечтающая о мосластом джинне,  
О разлюли-малине, крем-брюле?  
Излей свою тоску родным пенатам,  
В закрытый шкафчик возле очага:  
Судьба стихов — патологоанатом,  
Со скальпелем идущий на врага!

...А, впрочем, я вчитался. Эти пени  
Меня обезоружили. Живых  
Мертвящее гнетет оцепененье,  
Но я, объятый радостью, затих.  
Так безнадежно увядали лозы  
Раскаянья... и вот — нектар богов  
Их корни оросил! (Метаморфозы  
Медийный не оценит острослов).



Не выклянчить пытался благостыню  
У чопорного идола, отнюдь:  
Он чашу мира поверял латынью  
И жаждал свежей музыки глотнуть!  
Раскаты грома становились гульче,  
Овидий вкус наречия сберег,  
Священное бродило *vinumdulce*  
И завивалось усиками строк;  
Слова отпочковались от эпистол,  
И гроздья литер царственно цвели...

...Оглядывая Провиденс и Бристоль,  
Покачивались яхты на мели.  
А ветер дул, не различая галса,  
Петроглиф на поверхности рябой  
Мерещился. И гимн любви слагался,  
И чайками жонглировал прибой.  
Трюкачество разоблачать не стану,  
Приверженность профессии храня:  
Закат легко давался океану,  
Как циркачу — глотание огня!  
Бакланы, разлетаясь точно кегли,  
Чуть гребень ударялся о скалу,  
Восторженно трубили, что избегли  
Злой участи. С торчками на молу  
Попыхивал сморчок из растафари:  
Он, судя по осанке, только что  
От компаньона схлопотал по харе.  
На этом и закроем шапито...

Ведь если так мы родину возвысим,  
Как римскому изгою удалось,  
То можно и не слать надрывных писем,  
С единственной мы прожили не врозь!

## ВИДЕНИЕ

По граненой пустоши Манхэттена  
Брел я, безутешный и больной,  
Сетуя, что смята, оклеветана  
Жизнь моя, и пропасть подо мной...  
Вдруг над Риверсайд взметнулся Сметана,  
Колыхнул магической волной!

Это было проблеском отчаянья,  
Ясного как роща в сентябре:  
Авель сей же миг очнулся в Каине,  
Ветвь оливы треснула в костре,  
На далекой йеменской окраине  
Всхлипнула красавица в чадре.

Гимн «Атиква», наше дело правое,  
Встраиваясь в дивный звукоряд,  
Заструился непокорной Влтавою —  
От Градчан и дальше, в Вышеград;  
Я почуял как в созвездьях плаваю,  
Вековой отверженности рад.

## ДАВИД САМОЙЛОВ

Словечко за меня замолвив,  
Давид Самойлов  
На таллинской истаял сцене  
В мой день рожденья;  
Разбросаны по жизни знаки:  
Уж так совпало,  
Что речь держал о Пастернаке  
Старик устало —  
Как вдруг свечу задуло в храме  
И он, без боли,  
Сошелся с гордыми тенями  
В святой юдоли...  
А мне остался голос гулкий,  
Печаль провидца:  
Поэт в Безбожном переулке  
Взирал сквозь лица,  
Высматривая дух мятежный  
Ведомых верой  
В Поэзию, чей ландыш нежный  
Не дышит серой;  
И блеск фамильного рояля,  
И чай с беседой,  
Четыре фолианта Даля  
С «Атхарваведой»,  
И тот звонок — от вас не скрою —  
По телефону,  
Над черносотенной Москвою,  
Подобный стону...  
Ну, что ж, за помощь напоследок  
Я благодарен!  
Еще за то, что общий предок  
Наш не Булгарин;

Что все шедевры коренятся  
Уже заране  
Не в череде реинкарнаций  
Столпов признанья,  
А просто в слове человечьем:  
Вдвоем, за чаем,  
Когда мы искренностью лечим  
И воскрешаем.

### ПОЦЕЛУЙ

Не перестану восхищаться я,  
Затем что и восторг мой неподделен,  
Общительностью горного ручья  
И философской глубиной расселин.  
Сколь трогательна родственность опять  
И сколь, незавершенной равен фразе,  
Стоически прекрасен звездопад,  
Бесстрашно разрывающий все связи!  
Ни в ювелирном мастерстве смолы,  
Ни в гении графическом пещеры  
Не усомнюсь: те образы милы,  
В которых торжествует чувство меры.  
А у кого еще мы так могли б  
Терпимости и такту поучиться?  
Готическим чертогам этих глыб  
Журчи своей кириллицей, криница!  
Даруй, закат, задумчивый фэншуй  
Суфийской одержимости стрижиной!  
Нам жизнь дана как неба поцелуй,  
И смысл неразлучим с первопричиной.  
Ведь правила природы таковы,  
Что не пришлось ей, даже с кем-то споря,  
Спросить национальность у листвы  
Иль вероисповеданье у моря.

## БОГЕМА

Добывал по тусовкам работу,  
Напускной разливая восторг,  
Да и юностью третьей по счету  
Ты меня огорошил, Нью-Йорк.  
Вертикалей и горизонталей  
Мне хватило тогда, ей-же-ей,  
Хоть и свет не видал разудалей  
И привольней твоих чертежей.  
Такова уж реальность, поэты:  
Без художников мы никуда!  
Под гитару частушками спеты,  
Наши вирши лишились стыда.  
Геометрию каждого лофта  
Изучали мы с рюмкой в руке,  
Маяковского желтая кофта  
Все морочила нас вдалеке.  
Бороздили Бродвей, сухопары,  
Забредая на «ист» как на «вест».  
«Orange Bear» и подобные бары  
Поставляли нам на ночь невест.  
А потом, кувыркаясь в текиле,  
Нагишом на пуанты привстав,  
Хитроглазо о клоунском стиле  
Распиналась одна из красав.  
А потом — головой об решетку,  
Чтоб помаду стереть на губах,  
Иль, значив последнюю сотку,  
Из пневматики в друга бабах!  
Опоясал ревнивца в кутузке  
Полицейского циркуля круг,  
Никакие верлибры по-русски  
Не спасли от убийц и ворюг.

Возвращаюсь я к этим зигзагам:  
Обвенчали их рак и цирроз.  
Федеральным колышется флагом  
Расписание звезд и полос...  
Ох, и строго в отечестве новом,  
Всех параграфов не перечесть!  
Жаль, амбициям нашим грошовым  
Не поможет ни взятка, ни лесть.  
Но предчувствие славы однако  
До сих пор не на шутку свербит —  
Там, где тайной масонского знака  
Их матрас эмигрантский оббит;  
Там, где линии для вырезанья  
Лоскутов из предутренней мглы  
Им расчерчивал мост Вераззано,  
Заостря тревожно углы...

**У ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ...**

Вихров хотелось, а не проплешин  
Гуляке праздному,  
Один повышен, другой повешен,  
У всех по-разному.

Хотелось фактов, а не фальшивок,  
И справедливости,  
Но послан ветер ему в заговор,  
Чернил не вывести.

Кому-то ордер, кому-то орден,  
Напрасно ропщется,  
Поселок дачный живым комфортен,  
А мертвым — рощица.

Страны хотелось, где жить отраднo  
И всё по-честному,  
Где нет привычки молиться стадно  
Ворюге местному.

Где нет законов прощать делишки  
Убийце грязному...  
Один без ложки, другим излишки,  
У всех по-разному.

Хотелось свадеб — чтоб доходяга  
Плясал с кудрявыми,  
Избы хотелось — а не оврага  
С густыми травами.

Хотелось воли — а не конвойных  
И звезд над тундрю,  
Хотелось песен и встреч запойных  
С родной полундрю...

Да что там спорить: того хотелось,  
Хотелось этого?  
Всё развалилось и разлетелось,  
И больше нет его.

### СЮЖЕТ

С резною тростью в аквапарке  
Он вытанцовывал фокстрот,  
Вставляя сочные ремарки  
В каскад рискованных острот.  
И был необычайно стилин,  
Вконец отбившийся от рук,  
Для повелительниц гладилен,  
Поплевывавших на утюг.  
Перебивали как когда-то  
Ему все косточки, пока  
На горничных пансионата  
Заглядывался вполглазка.  
И то помрежа пропесочит,  
То в чесучевом пиджачке  
По эспланаде, будто кочет,  
Разгуливает налегке...  
От Госкино и до Гослита  
Ценили умницу, жуир  
Расплачивался деловито,  
Хотя из тех еще транжир.  
И только с примой белокурой  
Ему разок не повезло:  
И вот, повязан с агентурой,  
В вагон садится тяжело —  
И отбывает на гастроли  
В неблагоприятные края,  
Где ветер снежное застолье  
Созвал на тризну бытия.



## НАПУТСТВИЕ

«Ты должен, должен описать  
Ночной ривьеры тишь да гладь,  
Как пили кюрасао,  
Смотрели Куросаву, —  
А в это время в лимузин  
Втащили несколько корзин:  
Пионы и фиалки  
Для шведа и непалки;  
Как все ходило ходуном  
Вдоль набережной за окном,  
Курили «план» реднеки  
В преддверье дискотеки;  
Как пара гватемальских шлюх  
Клиента костерили вслух,  
А имбецил в коляске  
Им нежно строил глазки;  
Как полусонной ребятне  
Играл на скрипке при луне  
Бродяга в кофте рваной  
С ручной игуаной;  
И как светился вдалеке  
Круизный рай — гарсон в пике,  
Что скачет по каютам  
Смазливый шалопутом...  
Ах, ты обязан, и не спорь:  
Ни смерть отмазкою, ни хворь,  
Коль публика взалкала!  
Хлебни-ка из бокала.  
Я всякий раз — глаза не прячь, —  
С восторгом жду твоих удач;  
Запомни, Амадеус:  
Я на тебя надеюсь!..»

## ЛЕСТНИЦА

Она живет на Cleveland Circle,  
В пентхаузе, и сорок лет  
Угрюмый вспоминает Сокол,  
Где топором грозил сосед,  
Перегоревшие конфорки,  
Таксиста, наглого кацо,  
Подземку, где клочком «Вечорки»  
Случалось прикрывать лицо,  
И этих башен строй помпезный,  
Что в реку плятятся, лоя  
Прельщенного державной бездной  
На звездочку, как на червя...  
Ей с ненавистным антуражем  
Расстаться выпало. Уют  
Уже никем не будоражим,  
Лишь тени вежливо снуют.  
Известный астрофизик в бозе  
Давно почил, и на столе  
Суфлирует фальшивой розе  
Недопитое божеле...  
Охотно в дом для престарелых  
Ее спровадил бы сынок,  
Понаторей он в пределах  
Недвижимости под шумок.  
Зато подруга-одесситка  
Зовет пройтись по вечерам -  
Туда, где треугольник «Citgo»  
Горит, бесцелен и упрям.  
И вновь находка Эйзенштейна,  
Бульварной лестницы расстрел,  
А ты кивай благоговейно,  
Как будто фильм не устарел.  
Хотя и морщат лоб ступени:  
Чем в средоточье толчеи  
Триумф отличен от забвенья  
И кто чужие, кто свои?

## КИНЕРЕТ

Кто в жертву высокую верит,  
Сверкнувшую миру впотьмах,  
Тому и открылся Кинерет,  
Чьи лодки, отвергшие страх,  
Потоплены, выстояв перед  
Захватчиками на плотах.

В тебя, Галилейское море,  
Нельзя не влюбиться с тех пор,  
Как песнь рыбарей на просторе  
В душевный вплелась разговор,  
Простой и неспешный, что вскоре  
Достиг прилегающих гор.

От зябликов и перепелок  
Нет продыху пару недель,  
Полет их до Африки долог,  
А тут под крылами купель,  
Раскопками древний посёлок  
Глядится в стеклянный отель.

Дымит костерок, и ушица  
Наваристая лишь на дне,  
Кагором бы сладким упиться,  
К ландшафту подходит вполне!  
Да пляшет царевна-блудница  
В мерцающем тускло огне.

Пускай извивается в танце,  
Ты мне сыроежек нажарь,  
Гудят менестрели-повстанцы,  
И с ними курчавый бунтарь,  
Таежных строительством станций  
Когда-то увлекшийся встарь.

Пусть новые нам легионы  
Нашествием злобным грозят,  
Пребудем и мы непреклонны!  
Доносится грома раскат:  
Вот-вот ливанет, из-за кроны  
Алеет предивный закат.

Стремятся они обезглавить  
Паломников скорбную рать,  
В слезах огибающих заводь,  
Бредущих опять и опять,  
Но правда святая должна ведь  
Однажды восторжествовать!

Тогда и забрезжат нам ясли,  
Отрада народов и стран,  
Чтоб искры небес не угасли  
И, тайным лучом осиян,  
Акридами в пальмовом масле  
Вечерял бедняк Иоанн...

### КОНЦЕРТ

Я в концерте услышал свой плач  
Мендельсона для скрипки с оркестром,  
В заплетающемся говорке струн —  
Всю пучину своих неудач,  
С табунами всклокоченных грив,  
Бесконечных обид и скитаний  
Сединой серебрящийся ранней  
Титанически тщетный надрыв;  
И в зрачках моих вспыхнул узор,  
Прихотливей чем в калейдоскопе,  
Тех поездок, поближе к Европе:  
Как тобой помыкал я, позер,

Огорчал по любым пустякам,  
Беспричинно угрюм, привередлив,  
А затем, изощренно помедлив,  
Суесловьем хлестал по щекам...  
Вдруг я вижу фигурку твою  
В филармонии провинциальной:  
Как застыла ты в позе печальной,  
Да и я чуть поодаль стою —  
Торжествующий деспот, с лицом,  
Перекошенным от правдолюбья,  
И претит мне снежинок на шубе  
Переблеск с обручальным кольцом...  
Вот всплывает свиданье в саду  
Левантийском, жужжанье цикады,  
Мы объятиям словно не рады,  
Говоришь ты: «Я лучше пойду,  
От предчувствия ноет в груди», —  
Тут бы мне и очнуться от лени,  
Покаянно упасть на колени  
С заклинанием: «Не уходи!..»  
Но везде, где я выиграть мог  
На отеческом великодушье,  
Поддавался я взбалмошной чуши,  
Указуя перстом на порог, —  
Не умевший терпеть неустрой  
И тобой дорожить как дитятей  
Переросток, о страшной расплате  
Лишь догадывавшийся порой...  
Оттого и над жизнью моей  
Виртуозно рыданье зависло,  
Совершенной каденцией смысла  
Озаряя бессмысленность дней;  
И улегся тот грохот копыт,  
Остается лишь призрачный опыт:  
Скоро полночь, а виски недопит,  
И смычок обреченно хрипит.

## ВЕЛИЧИЕ ДЕРЖАВЫ

Начальнику Генштаба —  
Директор контрразведки:  
«Нам угрожает баба,  
Но у нее есть детки.  
Все семеро по лавкам  
Уже у нас на мушке.  
Прикажете козявкам  
Штыком отрезать ушки?»

От Лиги акушеров —  
Карательным отрядам:  
«Задача офицеров  
Стоять не пятясь задом.  
На Родину напала  
Орава спиногрызов.  
И пусть они мал-мала,  
Отчизне брошен вызов».

Фельдмаршал обер-ставки —  
Лейб-гвардии майору:  
«Достать их из-под лавки  
И всех предать позору.  
Щипцами вырвав ноздри,  
Залить им ранки ядом.  
Столичной Коза Ностре  
Отправлено с докладом».

В Палату адвокатов —  
Лефортовский охранник:  
«Для юных супостатов  
Пришлите в карцер нянек.  
У заключенных свинка,  
Знай чешутся на дыбе.  
А младшая, блондинка,  
Молчит подобно рыбе».

Подельник Патриарха —  
Стране, в прямом эфире:  
«Дежурная свинарка  
Прижгла младенцам чирья.  
За помощь негодяям,  
Двuruшника и труса  
От церкви отлучаем  
Во имя Иисуса».

Пресс-цербер Президента —  
Судилищу в Гааге:  
«Враньем кишит френдлента  
Про лазарет в тюрьге.  
Ни бабы, ни детишек  
Не видят волкодавы,  
Обозревая с вышек  
Величие державы».

### ФОРТ ОНТАРИО

Лашатеми кантаре  
Кон ла китарра ин ману.  
Опять ты, форт Онтарио,  
Мигаешь мне из тумана?  
Что там дрожит — не эхо ль?  
Я против фальсификаций:  
Не сам я вовсе уехал  
И не из жажды скитаться.  
Не сам, не сам, ты понял?  
Не надо корчить дебила!  
Их злобный вой урезонил,  
Пальба в ночи убедила.  
И те, кто на Востряковском,  
Мои свидетели нынче:  
Москва, шепчу я стрекозкам,  
Как много в этом линче...

Шуршали гнусно газеты  
В подземном том переходе.

Под гитлерюгенд одеты,  
К погрому звали отродья.  
Вослед ушедшему веку  
Хоругвеносцы бухие,  
Под дых уделав калеку,  
Орали: «Слава России!»  
Грозили новым путчем,  
Росли густым чернолесьем:  
Дай срок, еще отчебучим,  
На фонарях развесим!  
Пора осмыслить, бояре,  
Наследье Томаса Манна.  
Лашатеми кантаре  
Кон ла китарра ин мано.

И эти сумерки серы  
Случайно не оттого ли,  
Что нет больше ни веры,  
Ни просветленья, ни боли,  
Ни страха перед отчизной,  
Ни раболепства к чужбине?  
Луна, маркой акцизной  
Нашлепнутая иссине.  
Душа, вмятая в тучи,  
В немую фильму предгрозья.  
Комфорт, благополучье,  
Судьбы гневные гроздя.  
Не сам я, не сам, твари!  
Терпеть не могу обмана.  
Лашатеми их кантаре,  
Кон ла китарра их в мано!



## ШОФЕР

Заведен уж мотор для Михоэlsa,  
Стекла вымыты, масло, бензин.  
Он и сам с этой мыслью освоился,  
Бормоча: сколько лет, сколько зим!  
Отгремели фуршеты, овации.  
Лир на сцене не так умирал.  
Проведение спецоперации  
Поручается вам, генерал.  
Приструните левита и коэна,  
Показав им всемирный размах!  
Полно клянчить для русского воина  
Шоколадки в буржуйских домах!  
Мы нацизм победили отвагою,  
Широтой бескорыстной души!  
Распишись под казенной бумагою.  
Хорошенько, шофёр, не спеши.  
Подави добросовестно, выдуши  
Всю из нехристя лишнюю прыть.  
Пусть он черту мурлычет на идише,  
Коли вздумал с вождями шутить!  
А мартышку баюкать курчавую  
И в аду бы он мог, голосист...  
Тяпну водочки, сальца захавая —  
И на выход, народный артист!

## НА ШИПСХЕДБЕЙ

По субботам, с чаплинских времен,  
В ярмарку бывает превращен  
Этот храм корейский методистский:  
Продают ковбойки, веера,  
Батарейки, бронзовые бра,  
Пресс-папье и джазовые диски.

Люд на паперти разноплемен:  
Пуэрториканка и мормон,  
Да из Бельц усатая матрона.  
Вот и я — потомок тайных сект —  
На Океанический проспект  
Выйду просто так, для моциона...

Ежели не жарко — благодать.  
Препояшусь долларов за пять,  
Ремешок с набойками приталя.  
Офицерский кортик рассмотрю  
И рассерженному кустарю  
Возвращу — из неклеяной стали.

А на Emmons пахнет чешуей.  
«Вот такой сорвался!» — «Ой-ёй-ёй!»  
Рыбаки в ботфортах коренасты.  
Лебеди драчливей холуев:  
Не поделят жалкий свой улов,  
Меркантильны шеи их и ласты.

Ресторан «Эль-Греко» не по мне,  
Я люблю сазанов на огне  
С треском зарумяненных, не скрою.  
Эти лодки — все им нипочем:  
Как морские котики с мячом,  
Тычутся в галактику кормою.

Тут бы надо что-то про века.  
Но плывут безмолвно облака —  
И ничуть от этого не хуже.  
Вечно то, что никогда не врет:  
Превращений цепь — круговорот,  
С якорей сорвавший наши души.

## СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ В ПОДЗЕМКЕ

Звук тянется норой землеройки  
От Виллиджа до гарлемских трущоб.  
Сомлели руки. Смарад шибает стойкий,  
Эмалированный буравя лоб.  
Каких еще б невероятных рытвин  
Занять у этой рубчатой скалы?  
Шипит сабвей, и ритм его молитвен,  
Хрусталики тоскливы и тусклы.  
Там, наверху, пакгаузы и доки,  
Расплющенным жуком ползет баржа,  
И небоскреб на зорь кровоподтеки  
Дубинкой копа зарится дрожа.  
И там наводят марафет бордели,  
Как школьницы на выпускном балу:  
Чтоб икры туч по-жеребьячьи рдели,  
Когда их шпиль посадит на иглу.  
Смурной братве охота быть косматей.  
Под космос гримируется Бродвей.  
Астматику от восковых объятий  
Мадам Тюссо не развести бровей.  
А в этой магматической подкорке,  
Куда ты вторгся из погибших стран,  
С виденьями нью-йоркца о Нью-Йорке  
Вынашивается предерзкий план!  
Вот сказано: «Вначале было Слово» —  
А что как Слово будет и в конце  
И мир изменит языка земного  
Концепция, концепция, конце?..  
Под гром метафор сводка биржевая  
Мигает, как пугливый семафор;  
Из амфоры ты, губ не разжимая,  
Пьешь замысел — и мчишь во весь опор.  
Пускай же с героинем чахлой рвани  
На вены мегаполиса всосут!  
Опережение переживаний —  
Поэзия, не в этом ли вся суть?

## ФЛАМЕНКО

Я помню Пако де Лусию,  
Тот зальчик с низким потолком,  
Где жаждал он настичь стихию,  
Восторгом пропасти влеком;  
Где пальцы, вольность обретая  
И закусив одну из струн,  
Несли галопом, как гнедая,  
Вдали узревшая табун...

Теперь, когда его не стало,  
И сердце ритма лишено,  
Облокотившийся устало,  
Глазей в квадратное окно;  
Пусть ливень, нудно тарабаня,  
Твердит, что прикасался ты  
К бессмертию от сострадания,  
К спокойствию от правоты.

ОБ АВТОРЕ

**Григорий Марговский** (1963, Минск) — русский поэт, прозаик, эссеист. Окончил Литинститут и в 1993-м репатриировался в Израиль. В 2001-м переехал в США.

Изданы пять поэтических книг: «Мотылек пепла» (Тель-Авив, «Эвтерпа», 1997), «Сквозняк столетий» (Тель-Авив, «Эвтерпа», 1998), «К вам с игрой — игрой игр» (Москва-Владимир, «Транзит Икс», 2008), «Шкатулка рифм» (Москва-Бостон, «Русайенс», 2017), «Тетракатрены» (Москва, «У Никитских ворот», 2021). Написаны два романа: «Сотворение из россыпи» и «Садовник Судеб», а также книга рассказов «Новеллино».

Лариса СЕГИДА

**МНЕ 96**

---

*Посвящается Марии Луизе Кметти*

## ОКТАБРЬ

**М**не сегодня 96.

Пятьдесят лет назад это казалось немыслимым.

Тридцать лет назад оно было нежеланным.

Десять лет назад о такой цифре в своей жизни я думала, как о чем-то невозможном. Вернее, и не думала вовсе. Но этот день все же ввалился в мою жизнь. Мне — 96.

Все так же светит солнце. Этот жгучий желтый шар, с приходом и уходом которого я просыпаюсь и засыпаю. Возвращаюсь к жизни и прячусь от нее снова в сон.

Так же висят облака в небе. Белые и серые. Заставляющие меня мечтать. Все еще мечтать. Невероятно. О чем можно мечтать в 96? Да просто о том, чтобы проснуться утром и снова увидеть солнце.

Так же деревья пестрят в октябрьских листьях. Это мой 96-й октябрь. Кажется, не так много. Как булочка с чаем в кафе за углом по скидке за 96 центов для тех, кому 65+. А мне уже 65+31... Почти наполовину больше, чем 65...

Гуси гогочут перед отлетом на юг. Тяжелые, отъевшиеся за лето, матерые и юные. Мне не улететь, как им. Мне зимовать тут. Раньше улетала на зимовку в Европу. Шесть лет назад — последний раз. На похороны любимого. Больше не могу. Нет тех сил. Незачем.

А люди все носятся туда-сюда, сюда-туда. На ногах и колесах. Мужчины и женщины. Женщины и мужчины. С любовью и без. Со здоровьем и его отсутствием. Счастливые и несчастные. В своей неуго-

монной погоне за иллюзиями. Старые и молодые. Обычные и талантливые. Глупые и умные. С палитрой целей и без нее. С последующими очарованиями и разочарованиями. С ожиданиями и надеждами. С планами и мечтами. Устремленные в будущее. Вздыхающие по прошлому. Занятые в настоящем своим уже ушедшим прошлым и еще не пришедшим будущим.

А мне 96. Полна прошлым и пуста в отношении будущего. 9 и 6. Цифры перевертыши. Помню ли я себя в свои 69? Тогда казалась себе старше, потому как 69-летних еще много вокруг — смотрела на них с высоты кочки своих 69-ти, и такая серая грусть накрывала от тотальной смиренности с неминуемым угасанием в 69-летних глазах многих. Сколько их, начавших затухать после 50-ти? Много. А поди сыщи я сейчас 96-летнего ровесника в округе! Конечно, есть они, наверняка упрятанные в роскошных апартаментах или же затхлых, просифоненных кондиционерами кельях старческих домов — в зависимости от скопленных за жизнь сбережений и пенсионных доходов — но сегодня мне не с кем сравнить свое отражение в зеркале, чтобы понять, осознать, разглядеть степень именно моей зрелости.

Моя 96-летняя жизнь... Тропинка из маминого живота в глубокую зрелость, где уже не бывает мам... Когда я была подростком, я смотрела на свою полувековую бабушку как на старушку. А сегодня мне почти в два раза больше, чем было ей. Теперь смотрю на ее фото, и она кажется мне девушкой в свои 50. Все относительно. Юность и старость. Относительная юность и относительная старость. С какого холма смотреть на жизнь. Что старое для 15-летних — юное для 90-летних.

Неласковое слово «старость». Хлесткое, жесткое, жестокое. Как приговор. Вычеркивает человека уже своим первым слогом из мира значимого в мир ненужного. Синоним нежеланной законченности, рассыпанности, расклеенности, размазанности, разбитости, разряженности, истощенности, неможести, нехотения, нежелания, ненужности, нежизни. *Не жизни...* В старости нет жизни. В зрелости есть, в старости — нет. Есть только она, старость, как гидра, высосавшая жизнь до капли. Тухлое прозябание. Без свежести, новизны, цвета, света, стремления, вдохновения, влечения, хотения. Старость не хочет ничего. Скрипучий механизм бесцветной повторяемости. Старость ест по привычке, не ощущая ни вкуса, ни запаха съедаемого. Одевается по привычке, в блеклое, изношенное, бесформенное. Удобное. Удоб-

ная повторяемость до мозолей в мозге. Неслышность и невидность. Социальная отчужденность, фарисейски вежливое отторжение, некая изоляция и покорная самоизоляция, механически раздувающая меха полумертвость.

Поворосу корни слова «старость» — как нещадно его смысл перевернуло время! «Старость» — от древнего корня *ста* — «становиться». Расти, развиваться, совершенствоваться, быть в движении, процессе, становлении. Старый буквально — «ставший», сформировавшийся, состоявшийся, достигший апогея. —

Р — после корня *ста* — своеобразный мостик-хвостик, некое преодоление отметки, рубежа, переход из одного состояния в качественно иное. Не для того ли дана нам жизнь как не для становления? Но как хитро один и тот же корень *ста* превращается в противоположные по значимости и весу слова: *ста-новиться*, *ста-рейшина*, *ста-ринный*, на одной чаше весов, наполненной уважением, признанием, любовью, и *ста-рый* — на другой, пугающей, избегаемой и где-то даже пассивно презируемой. Старинную машину ждут выставки и восторженные облизывания коллекционеров, а машину старую — свалка. Мебель старая вызывает образы клопов, невыветриваемую вонь карбофоса и инстинктивное желание нестись подальше от ее уродливых форм и запахов, ставших в сознании живущих антиформами и антизапахами. Старинная же мебель, пусть ее возраст исчисляется и тысячами лет, сопряжена в сознании или подсознании с искусством, вкусом, художниками, меценатами, тайной времени и исчезнувших в нем пространств.

Так и люди. «Старые», значит ненужные, изжившие, маразматички, больные и слабые, и лучше, если с глаз долой. Старинными людей не назовешь, но в свои 70 или 80 они наверняка скорее предпочли бы слова «ставшие», «состоявшиеся», «зрелые» или «старшие» по отношению к себе, нежели «старые», по крайней мере, те, кто всю свою жизнь создавал себя, строил, оттачивал, отшлифовывал, не плыл по течению, не уничтожал себя собственной дуростью, не хоронил себя, начиная с 50-ти, и тогда сразу за такой полувековой *зрелостью* выстроятся эпитеты «опытный», «знающий», «сформировавшийся», «самодостаточный» и «мудрый». В зрелых плодах вкус и жизнь, а в старых гниль и смерть.

Мне 96, и я не принимаю старость. Как изжитость. Как слабоумие и слаботелие. Как бессмысленность и бесцельность. Даже сейчас, ко-

гда я перестала летать через океан два раза в год, я защищаю себя от ее социальных атак. С естественными атаками еще справляюсь: все 96 лет моего опыта, дурного и хорошего, давят, словно несущие их на голове, как африканская женщина свой неподъемный для европейки груз; моя почти вековая природа бьет меня, хлещет, порет, обращает в лень и боль, но я не сдаюсь, не смиряюсь, не убегаю от своего возраста, а бегу к нему навстречу, обнимаю его, восхищаюсь им и в этом принятии непринятого тренирую и отшлифовываю свое хрупкое тело и от лени, и от боли.

Хожу с ходунком за дверью квартиры для баланса, суечусь внутри нее, размахиваю руками-ногами во время зарядки, общаюсь с миром через компьютер, пусть и с крупным шрифтом из-за затухающих глаз. Социальные же нападки старости — похитрее; они скрытные и неотвратимые и запихивают тех, кому за 50, в когорту «старых», подданных Ее Уродство Старости, прислужницы смерти. Беспристрастно. Бесчувственно. Методично. Кто-то присоединяется к этой когорте смиренно. А я размахиваю копьем как Дон Кихот, сумасшедшее и вечное дитя Мечты и Веры, чтобы не попасть в жернова этой тихой социальной мельницы. Я не приемлю старость. Старости не как становление, а как разрушение. Потому что она как плесень. Как затхлость. Как душность. Как застой. Как не-чем-дышать-и-незачем. Как знак «стоп» посреди *нигде* и по пути в *никуда*.

Кто-то скажет, что таких вот «зрелых», «ставших», «состоявшихся», «мудрых» — единицы среди «старых» отживчиков, маразматиков, телесных развалин, как приговор ожидающих смерти. Возможно, этот кто-то будет прав, потому что многие после 50-ти почему-то резко сдуваются, не пестуют свой дух, способный творить, а смиряются, словно сливаются, со своей исчезающей в слоях жира и потерявшей гибкость фигурой, со своей все больше атакующей ленью и безразличием, с коварной слабостью, все чаще атакующей болезненностью, переходящей в немощность, как естественным ходом событий и, самое печальное — сдаются так рано! Словно влюбляются в состояние «болеть, заедать боль таблетками, страдать, ныть, вызывать жалость к себе и жалеть самого себя». Нет, они не «словно» влюбляются, а кажется, что они действительно такое свое состояние любят, иначе бы не сваливались в него в свои — всего лишь! — 50.

А мне 96. Все еще кручусь, как пропеллер, в своей квартирке на пятнадцатом этаже. Полуслепая. Полуглухая. С половиной родных зу-



бов во рту и с половиной искусственных. Но не полуживая. Живая на все свои девяносто шесть! И дело не в генах, на что обычно уповают, а в неиссякаемой воле к жизни, которую уважает мадам смерть и потому не приходит раньше срока. У нее достаточно работы с отправкой в иное всех слабых, уставших, сдувшихся, чтобы хотеть иметь дело с сильными. Она не ковыряется и не выбирает. Ей хватает тех, кто ее ждут, неосознанно зовут и копают свою яму ножом и вилкой и всеми своими привычками, от которых отчего-то в миг соглашаются отказаться в момент докторского вердикта. Такие взывают с мольбой: «Доктор! Спасите! Сделаю все, что скажете! Брошу курить, пить, жрать и даже жить!»... Нелепо, как жалко и нелепо просить помощи за ошибки своей жизни у другого. Пусть и доктора. Дурная голова, заставившая делать тело то, что разрушило, развалило, раздербанило его на самом пике жизни, в самом акме, посреди дороги «столетие».

А я не нужна смерти. Даже в свои цифры-перевертыши. В мои сегодняшние 96. Она же устанет от моей энергии, моей вечной борьбы за жизнь! Она навещала меня однажды, в пору моей молодости, но молча ушла, отчалила, отвалила, оставив мне всю мою долгую дорогу любви. Когда во время войны я осталась одна, мать малолетнего сына немецкого солдата, вернувшегося в свою Германию вместе с уходом оккупантов из Франции, моей родины, не любимая, не жена, не созревшая мать, презируемая родными и соотечественниками, с ноющей язвой общественного унижения и морального падения, со своей любовью-огрызком, я дала себе клятву выжить, пережить все и жить, восстать среди руин затоптанной, забитой, поруганной, истерзанной, разорванной, распятой Европы и вернуть себя самой себе, несмотря на все нормы, правила, ожидания и приличия.

Я нашла его через 56 лет. Пятьдесят шесть лет! Кто-то столько и не живет, а я сумела прожить четыре жизни — до него, без него, с ним и после него. Когда мы вновь увиделись, он был женат, с двумя взрослыми детьми и четырьмя внуками. Ему было 80, мне 76, а нашему сыну 57. Жена его была тяжело больна, и когда через несколько месяцев она скончалась, он сделал мне предложение. Мы поженились, и из оставшихся нам 14-ти лет мы жили вместе шесть месяцев в году в Германии, что разрешали нам визовые законы наших стран. Я пережила его, скончавшегося шесть лет назад.

Когда он умер, я не упала духом. Напротив, все мое маленькое существо восторжествовало, потому что моя любовь-огрызок превра-

тилась в дерево и своими цветами и плодами победила всех: войну, обглодавшую мою любовь, его, сдавшегося обстоятельствам войны, и меня саму, упавшую и вставшую. Мое становление было долгим — как личности, матери, любимой и жены. Поэтому я — не *старая*. Я — *ставшая*! Ставшая той, какая я есть сегодня в свои 96... Он плыл по течению жизни, когда я гребла против, поэтому мы и встретились снова, пусть даже и на закате нашего земного пребывания... Теперь и это в прошлом. Только мой 96-й день рождения, сейчас, в этот самый момент, в этом живом воздухе настоящего!

## ДО НЕГО...

**Я**, венгерка по отцу, француженка по матери, родилась под Парижем в 1924 году. Тем самым Парижем, воспетым и вдохновенным, обмусоленным писателями и режиссерами, облюбованным и загаженным туристами и беженцами за евросчастьем. Я — младшая из четырех детей. Помню родителей, нарядных и благоухающих духами, уезжающих в Парижскую оперу и оставляющих нам четыре дюжины пончиков, чтобы мы не скучали. Жаренные в масле шарики исчезали в наших желудках быстрее, чем возвращались домой восторженные родители, еще сильнее пахнущие ароматами уже всех дам и джентльменов, посетивших в тот вечер оперу. Иногда мама добавляла в пончики изюм, и тогда наше блаженство было небесным. Мне казалось, что я ем облака с птичками. Опера длилась три часа. Даже перенасыщенная сказочно вкусными мамиными творениями, я плакала, полагая, что родители никогда не вернутся домой. Братья успокаивали меня, уверяя, что после оперы те могли зайти в ресторанчик на рюмочку коньяка, хотя они совсем не пили, не считая больших семейных праздников.

Мой красивый детский мир растаял в тот день, когда мне вместе с сестрой и двумя братьями нужно было сказать «прощай» нашей маме и поцеловать ее в последний раз. Она умерла от туберкулеза в возрасте 27 лет. Ее слова, адресованные мне, передала мне моя сестра, когда я подросла: «Моя малышка не будет помнить меня...». Но я помню запах ее кожи и ее теплые, сладко пахнущие кудри, щекочущие мой нос, когда она прижимала меня к себе. На единственной фотографии, что досталась мне, она такая же, как в моем воображении...

Нас троих, младших, власти города отправили в Валлуар, в детский дом-профилакторий для детей, чьи родители пострадали от туберкулеза, разрешив только старшей сестре остаться с отцом, потому что он не мог совмещать работу с заботой о четырех детях. По ее словам, вечерами он играл на скрипке в опустевшем доме, а она беззвучно, чтобы не усугубить его состояние, плакала в своей кровати от бездонного горя. Бывает ли у горя дно? Наверное, да, только проявляется оно, когда время иссушает боль... Через четыре года нас отпустили домой. Отец к тому времени встретил женщину, которая смогла заменить нам маму. Она оказалась не сварливой фурией как в сказках, а доброй, заботливой, теплой, и мы как-то естественно, без усилий сразу назвали ее «мама».

Немцы оккупировали Францию в мае 1940 года, когда мне было 15, и все свелось к минимуму для нас: привычная еда, фрукты, кофе, масло, соль, сахар. Они забирали у французских фермеров почти все и отправляли продовольствие в Германию, своей нации, своим родителям, женам и детям, оставляя нам, французам, то обокраденное «сегодня», которое мы имели, и нам приходилось радоваться тем крохам. Мы были живы, и это стало самой главной ценностью каждого дня. Я не могу даже вспомнить, сколько раз в день я говорила своей матери, что я голодная. Она лишь спокойно повторяла: «Возьми денег в копилке и купи, что хочешь». Но копилка была пуста. Все, что я могла в ней найти, — пустоту. В этом заключался материн трюк безысходности. Но инстинкт выживания вымуштровал мою психику. Я не устраивала детских истерик, увидев пустое содержание копилки, а молча училась понимать взрослых, родителей, соседей, горожан все то время, в которое я почему-то пришла в этот мир.

Изношенные подошвы моих ботинок родители заменяли у сапожников на тяжелые деревянные. Каучука не было. Если я находила довоенные остатки ткани в закромах дома, мать выкраивала и шила для меня платье из разных лоскутков, что делало меня несказанно счастливой. Счастье было чрезвычайно хрупким и простым во время войны. Оно могло вписаться во что-то очень маленькое, просто теплое или просто съедобное. Я помню необычайно холодную, ветреную и снежную зиму первого года войны. Мать покрасила покрывало в черный и выкроила из него теплые штаны для меня. Так как мы жили недалеко от моря, в обычные зимы снег никогда не залеживался из-за соленого воздуха, но не той зимой! Наш Ле-Портель буквально

утонул в снегу, словно мы жили в Сибири. Казалось, природа хочет забинтовать все то людское сумасшествие, которое повергло Европу в кромешный мрак с его культом тотального убийства, национального рабства и культурного насилия.

Я ходила пешком шесть километров до школы за знаниями девятого класса в неведении, вернусь ли домой и увижу ли родителей после занятий из-за постоянных бомбежек. Бомбы уничтожили «завтра», потому что могли убить тебя в любой момент. У нас было только «сегодня». О прошлом мы не вспоминали. Желание выжить именно сейчас вытеснило меланхолию по тому, что было вчера. И мы ничего не боялись, так как буквально жили этим «сегодня». Не хватало сил и энергии зависать во «вчера», не было и «завтра», о *неприходе* которого мы могли бы жалеть. Выживание — пронзительная штука, на которую тело реагирует не подлежащим рациональному объяснению способом. Выживает сильнейший духом, и тело знает это интуитивно, поэтому не реагирует ни на что, чтобы сохранить природой данный потенциал «выжить». Это как болевой шок, когда ее, боли, словно и нет. Ни травмы, ни боли. Одна пустота пребывания. Пребывания в данности. В том пространстве и времени, которое есть. Не было, не будет, а есть. Когда читаешь о страшных событиях в прошлом, думаешь, нет, это невозможно пережить. Но когда попадаешь в них сам, то, оказывается, все возможно. Жизнь делает тебя сильнее и глубже, чем ты есть в своих представлениях о ней.

Моя юность ликовала, несмотря на войну. Найти друга, интересного юношу в нашем рыбацком местечке было невозможно. Помимо лавочников его населяли в основном рыбаки, и один из них, молодой и симпатичный, напрашивался в мои друзья, но мать повторяла мне: «Ты слишком хороша, воспитанна и образованна для него и его окружения, чтобы застрять в нем пожизненно». К сожалению или счастью, молодость всегда влюбляется не в тех...

## С НИМ И БЕЗ НЕГО...

**К**огда в наш городок пришли немецкие войска, золотоволосые, пышущие здоровьем, выправкой, силой, красотой и молодостью солдаты, нам, француженкам, запрещалось заводить знакомства с ними, а тем более — мечтать о замужестве. Ходили слухи, что Гитлер

проехал по Парижу и счел парижанок недостаточно хорошенькими, чтобы позволить своим солдатам жениться на них, но разве юную страсть обуздаешь? Что нам было до политических распрей и войн, когда сердца и тела взрывало от эмоций и влечений к неизвестному и запретному еще более? Мы встречались с немецкими юношами секретно как от родителей, так и от соседей, и это лишь придавало таким любовным отношениям больше перехватывающего дыхание возбуждения и фонтанирующего восторга.

Во время оккупации кинотеатры были закрыты для французов, но открыты для немецких военных. Лишь однажды нам разрешили проникнуть в магический храм кино во время показа фильма-пропаганды «Kraft Durch Freude»/«La Force Par La Joie» («Сила через радость»). Немцы сидели по левую сторону зрительного зала, французы — справа. Меня с Эггертом разделял только проход. Он смотрел на меня, а не на экран — я чувствовала боковым зрением. Я влюбилась в него с первого взгляда, вернее, «с бокового взгляда».

Он дождался меня на улице, спросил, где я живу. Я сказала: «Голубое кафе». То был ресторан, которым владела и управляла наша семья. Эггерт пришел на следующий день, вечером, заказал пиво. Я не уходила из зала и с видимой занятостью задавала матери какие-то бессмысленные вопросы с искрящимися глазами и пунцовыми щеками. С первой минуты она все поняла, но не сказала ни слова. Я старалась держать наши отношения в тайне от всех, бегала на встречи с моим немецким блондином украдкой, но эта скрытность была напрасной. Когда однажды утром я вышла из туалета бледная после рвоты, моя мать отвезла меня в госпиталь. «Два месяца беременности, деточка!» — отрапортовала медсестра, а мать лишь выдохнула: «Что скажем отцу?»

Мой благородный отец, всегда мечтающий стать пастором, отлупил меня, словно за всех непослушных девочек нашего городка, ремнем и словами, каких я даже не слышала и значение коих не знала. Когда я потеряла сознание, мать бросила: «Достаточно, оставь ее». Моя сестра, на тот момент уже школьная учительница в соседнем городке Аррас, была напугана новостью о моей беременности, так как это грозило ей потерей работы, узнай в ее школе, что ее сестра ждет ребенка от немецкого оккупанта. В том состоянии непонимания и потерянности я написала брату в Париж, где он изучал музыку. Он примчался на поезде, заплатив штраф немцам, так как у него не было пропуска для передвижения по Франции, и отчеканил отцу, что заберет меня в сто-

лицу, если тот еще раз поднимет на меня руку. Отец сдулся, но сделал все, чтобы мой позор не стал публичным, пустив среди соседей слух, что меня нужно отправить в горы для профилактического лечения от возможного туберкулеза. Эггерт принял новость о моей беременности, словно речь шла о чем-то обычном, не выходящем за рамки немецкого «орднунга». Не услышав его решения «да» или «нет», я искала ответ в его голубых, «истинно арийских» глазах, но напрасно. Его служебный долг и война волновали его более.

Меня отправили в отдаленный родильный дом для матерей, которые отказывались от своих детей и откуда новорожденных отдавали опекунам парам, если малышам посчастливится. Во время войны чужие дети никому не были нужны прежде всего из-за нехватки продовольствия. Матерям разрешалось оставаться в госпитале три месяца после родов в надежде, что в них проснутся материнские чувства. К сожалению, за время своего пребывания там я не видела ни одну мать, навестившую после родов своего ребенка. Одни оставляли детей из-за бедности, иные — наоборот, когда в силу обстоятельств ребенок оказывался нежеланным и ненужным. Я не собиралась отказываться от своего малыша и могла находиться там все месяцы беременности и даже три месяца после родов.

Мне сразу понравилось там. За койку и питание я должна была присматривать за двенадцатью трехмесячными младенцами и двумя двухгодовалыми детишками, чьи матери уже разъехались по домам, оставив своих отпрысков для возможных, редких, приемных родителей. Я получала удовольствие от своих обязанностей, потому что они не включали тяжелую работу по уборке палат или стирке белья, что выпало другим девушкам. Я спала с моими малышами, кормила их по ночам и подбрасывала дрова в печь в центре комнаты. Если мои подопечные заболели, я помогала доктору, милой пожилой даме. В день рождения моего сына, она сказала: «Сегодня — твой день рожать». Я покачала головой: «Нет, не сегодня».

Перрин родился в тот вечер. Два доктора и акушерка присутствовали при родах. Я настояла на естественных родах без обезболивающих, и мой крик оглушил весь госпиталь. Перрин едва весил два с половиной килограмма, за что акушерка назвала его котенком. Я плакала, а она лишь продолжала подзуживать меня.

Прошел месяц. Мать настояла, чтобы мы выписались домой. Я хотела остаться в госпитале и выучиться на акушерку, но уступила жела-

нию мачехи, никогда не имевшей своих детей и мечтающей познакомиться с моим сыном. В отличие от нее, мой отец не хотел меня больше видеть, но прятал свой гнев и разочарование во мне, подававшей надежды младшей дочери, за своим гнетущим молчанием. Он оставался холоден ко мне, но не к внуку. Мои родители полюбили малыша. Спустя несколько дней я спросила у матери, позволит ли отец Эггерту навестить нас. Ответ был «да», и — о, счастье! — мой белокурый солдат рейха приехал.

Воспитанная в любви, открытости чувств и искренности, я ожидала таких же эмоций от Эггерта, внушая себе, что его военный статус заставляет его сдерживаться. Я ждала ощутить нечто большее в его сухих объятиях и кратких поцелуях. Я наблюдала, как он смотрел на нашего сына, и не видела того, что жаждала увидеть. Не знаю, чем это объяснить? Войной? Его положением захватчика? Иным менталитетом? Чувственной скованностью, эмоциональной неразвитостью или даже стыдом, что все это случилось с француженкой, а значит против воли фюрера? О чем он думал? Не знаю. Не знала тогда, не знаю и сейчас. Он был неразговорчив и немногословен всегда. Чем была наполнена моя любовь? Им, боящимся или не умеющим любить? Нашим сыном как соединением наших физических элементов? Было ли что-то большее, неизмеримое, неосязаемое, неуловимое, но пропитавшее своей невыносимо весомой бестелесностью наши столкнувшиеся жизни? Тогда мое юное сердце не думало, а просто любило.

Я смотрю туда, в самую глубь колодца своего прошлого с вершины своих сегодняшних 96-ти и ищу там корни моего любовного сумасшествия, *с ума шествия, моего шествия с ума, с разума, с логики*, которое скрутило мою линию жизни, мой путь, мой маленький, едва заметный путь среди миллиардов, в узлы боли, которые напоминают о себе до сих пор, даже став шрамами. Наивная, я пыталась развязать эти узлы. Не смогла. Передвижением своего тела меж стран и континентов я старалась забыть свои грехи, ошибки, проступки, осечки, закапывая их в могилы своего молчания с другими, но более всего — с самой собой. Но правду не закопать, как луну и солнце. Она выкачивается на поверхность, как эти два шара, и высвечивает твои раны ночами в свете луны и жжет их днем лучами солнца. Однажды моя жизнь закончится, мое тело похоронят, но не душу и не совесть. Возможно, они будут шараться во вселенной от пинков и ударов правды, которую я пыталась заточить в клетке молчания длинные-долгие



годы... Прежде всего от самой себя... От вопросов, которые нетерпеливо старались стать ответами... Но даже сегодня, в свой 96-й день рождения, я не знаю ответов...

Мы не жили вместе, тогда, в том куске жизни, татуированном войной. Эггерт изредка навещал меня и Перрина. Когда позволяла война и армия... По возможности. В минуты, иногда часы, разрешенные ему его долгом перед фюрером, его нацией и его страной. Мужчины воевали и убивали, обсасывая глобальные, национальные абстрактные проблемы. Женщины любили и ждали, решая реальные, конкретные ежеминутные задачи: *как выжить*. Мне и Перрину доставались лишь краткие, сухие визиты Эггерта. С неуклюжим чаепитием, едва ощутимыми объятиями и легкими, прохладными, как бусины, поцелуями. Его долг пред всем миром, кроме меня и сына, стоял меж нами как кол, как забор, как граница, наштигованная автоматчиками и овчарками. Я слышала слабые постанывания моей хрупкой *l'amour* под каучуковой подошвой могущественного немецкого *die Ordnung*, сверкавшего в голенищах его начищенных сапог.

Мы были близки только дважды, в самом начале наших вспыхнувших чувств, и в одну из таких близостей и был зачат наш сын. Сегодня, наверное, это звучит дико, ненормально, старомодно, как скудные, болезненные, ущемленные отношения, но они и были изуродованы войной и, как следствие, неприятием такого союза нашими странами, нашими нациями, нашими народами. Я влюбилась в нарисованного моим воображением статного златоглавого немецкого «принца», он — в миловидную, маленькую белокурую французскую «принцессу», хотя ни он, ни я голубокровными и не были. Принц и принцесса своей собственной сказки. Простые, юные, не обученные любить, рожать, растить детей, но зато вымуштрованные тем временем воевать и страдать.

Наши редкие встречи в доме моей семьи продолжались до бомбежки 8-го и 9-го сентября 1943 года, вошедшей во французские учебники истории и обратившей наш городок в пепел, смешанный с кровью и трупами. В ту ночь за день до кромешного ужаса я купала Перрина. Почти без стука вошел необычно взволнованный Эггерт и выстрелил на одном дыхании, что нам нужно спрятаться в лесу как можно скорее, так как через кодовые сообщения из Англии он услышал о предстоящей воздушной атаке. В его голосе звучал надлом, но мне не хотелось думать об этом...



Родители и я с Перрином в рюкзаке на груди добежали до укрытия с наступлением сумерек следующего дня, уже раздавленного бомбами, криками, слезами и непередаваемым страхом и кошмаром. Мы забежали в церковь, но бомбы продолжали сыпаться с неба и взрываться совсем рядом. Камни, песок, пыль, металлические осколки влетали в разбитые окна церкви. Я упала от удара грязевой волной — мое правое бедро разворотило осколком... Помню машины скорой помощи. Почему-то меня погрузили в одну, а Перрина в другую. Я постоянно твердила, что там мой сын, что они должны остановить машины и вернуть мне моего малыша. Родителей не было рядом. Остались ли они живы, я не знала. Люди в белых халатах суетились вокруг. Мои причитания тонули в чьих-то криках, столах и плачах. Кто-то успокаивал меня, что машина скорой помощи с моим сыном идет следом, но по прибытии в госпиталь в ней оказались детки, которые могли ходить — они выпрыгнули из фургона как горошины, а моему Перрину было только 7 месяцев. Я кричала и плакала от страха потерять сына, а не от боли в кровоточащем бедре. Мне ввели успокоительное и лишь монотонно повторяли, что все образуется. Паника искорежила лица тех, кто еще был способен помочь.

К утру город был обращен в пир смерти — дымящаяся пустошь улиц, девяносто процентов уничтоженных зданий, полтысячи убитых и еще больше раненых. Из-за нехватки кроватей в госпитале меня положили на пол вместе с другими мужчинами и женщинами в кровавых ошметках разорванной осколками одежды. Медсестры пинцетами снимали куски пропитанной кровью ткани с раненных тел, как сгнившие лепестки лука или капусты, под мычание и рычание еще несколько часов назад счастливых людей, теперь ожидающих операций, «хороших», с наложением швов, или «плохих», с ампутацией. Персонал обходил полуобморочных пациентов и просил их подписать бумаги на разрешение «плохой» операции. Моя нога подпадала под эту категорию, но либо в силу своей юной глупости или, напротив, лихой мудрости, я твердила, что мне нет 21-го года и никакого согласия я не подпишу.

«Где твои родители?»

«Не знаю. А где мой сын?»

Медперсонал окружил меня, пытаюсь убедить в необходимости ампутации.

«Ты будешь мучительно умирать от гангрены...»

Очнулась я уже в кровати другого госпиталя спустя месяц после «хорошей» операции, когда моя мать приподнимала простынь, чтобы убедиться в целостности моих обеих ног, и их было две.

«Где Перрин, мама?»

«Твой крестный отец спас его. Он пришел в госпиталь найти кого-нибудь из нашей семьи. Нашел тебя, но ты бредила перед операцией и после. Он отыскал Перрина в госпитале, где ты рожала. Какая-то пара уже была готова усыновить его, так как тебя уже вычеркнули из списка живых, а Эггерт числится среди без вести пропавших. О нас у них не было информации тоже. Твой крестный отец чудом прибыл вовремя... Он сказал, что ты дома после операции, и ему отдали Перрина... Нас он нашел позже через Красный Крест в числе беженцев в тридцати километрах отсюда. Слава Богу, мы не пострадали...»

Вместо девяти месяцев, предписанных врачами для моего восстановления в госпитале, я выдержала только семь и выписалась без ведома родителей. За это время получила лишь одно письмо от Эггерта. В три строчки, но это были его строчки! Значит, он был жив. Для меня было практически невозможно отправить ответные письма немецкой военной почтой. Я писала, запечатывала в конверты покоренную моими слезами бумагу, но лишь бог знал, дойдут ли мои послания до него...

Моя французская душа ждала расцвета любви Эггерта. Придумала ли я ее сообразно всем романтическим прочитанным книгам и просмотренным фильмам? Возможно. Но вряд ли любовь можно придумать. Раз ты ее чувствуешь, переживаешь, проживаешь, значит, она есть. У каждого своя. У Эггерта — одна. У меня другая. Я пронесла ее через всю свою жизнь. Без него, вдали от него, после него... Она оказалась сильнее, жестче, упрямее, долговечнее его самого, того, из-за кого она родилась и из-за кого должна была умереть, но она не умерла даже после его смерти. Она словно была выкроена, вылеплена, вырисована или выгравирована всей моей жизнью как некое произведение искусства, или выращена как некий не гнивающий плод, который насыщал меня, даже когда пустота, безысходность, бессмысленность и невыносимость моего существования нависали гильотиной над моей жизнью. Моя любовь больше Эггерта, больше Перрина, больше меня самой. Какой-то невидимый, неосязаемый, но присутствующий и обволакивающий мою жизнь кокон. Как облако, в которое влетаешь и на чью полупрозрачную молочность замороженно лу-

пишья из иллюминатора самолета. Как стоячая влага тропического воздуха, которая заполняет морщины на высохшем лице, как дождевая вода — овраги в поле. Как дышащие вечным летом джунгли, где набухает и произрастает любое семя.

Достоин ли был Эггерт такой безграничной любви, которая до сих пор почему-то волнует меня, заставляет дышать мои легкие и стучать мое сердце, держит меня в разуме и на плаву жизни? Достойна ли я сама этой мощной силы, что даровала мне неугасающее желание жить? Я не виню его за его скупую любовь, которая так и не расцвела в ту, что ждала я. Каждый из нас любил так, как умел, как успел научиться за годы своей короткой молодости, клейменной войной. Я любила так, как я любила и как только именно я могла любить. Витая в грезах, надеждах, мечтах, радугах. Эггерта уже нет, а грезы, надежды, мечты и радуги все еще тут, во мне. Поэтому до сих пор обожаю шампанское. Напиток грез, мечт, надежд и радуг. Его будоражащие пузырьки схожи моему неугомонному эйфорическому состоянию тотальной, вселенской любви. Некое безостановочное пребывание в танце, от которого не устаешь, так как устать и остановиться означает конец жизни...

Моя любовь протащила нас троих, Эггерта, Перрина и меня, через разлуку длиной в 56 лет по рассыпанным в трех странах дорогах, Германии, Франции и Канады, и подарила нам 14 лет вместе, пронизанные прощением, пониманием и покоем, в котором встретились наши три дороги, поздно, не так как мечталось и хотелось мне, но все же встретились...

Незадолго до ухода немцев из Франции в 1944 году объявился Эггерт. Как выстрел шампанского, прозвучало его предложение нам пожениться. Меж сухих движений и взглядов. Будто между прочим. Брак француженки с немецким военным, а тем более семейная жизнь были невозможны во Франции. Мы оба были с клеймом позора — он за войну, я — за связь с оккупантом, тем более внебрачную. Перрин, невинный маленький человечек, по мере взросления мог пострадать сильнее всего от жестокости сверстников и непощения его соотечественников за свою смешанную с врагом кровь. Мы, его родители, породившие его жизнь, одновременно стали теми, кто мог его жизнь уничтожить.

Выбор Хобсона в его двойном проявлении встал перед нами как два знака «стоп» на противоположных сторонах дороги: мне остава-

лось следовать за Эггертом в Германию, чтобы узаконить наши отношения, а для Перрина лучше и безопаснее было остаться с моими родителями, на чем они настаивали, пока не утрясется наша жизнь в Германии и не остынет пепел войны в Европе. Более того, они попросили меня и Эггера разрешить им усыновить Перрина ради его же будущего, так как немецкий отец в его метриках не предвещал ничего хорошего в судьбе нашего мальчика. Мой статус любовницы захватчика, к тому же нагулявшей внебрачный плод, грозил бесчестьем всей моей семье. Мне не следовало оставаться во Франции как ради сына, так и ради моих родных. Я сделала выбор в отсутствие выбора и уехала в неизвестное. Тогда мне казалось это единственно верным шагом. Мудрецы советуют не корить себя за свои прошлые поступки, потому что в момент их свершения решение казалось верным...

В Германии родители Эггера приняли меня, словно багаж, холодно, едва одаривая взглядом, как нежеланную иностранку, как нечто чужое и непонятное, легкомысленное, чуждое их укладу, менталитету, их пресловутому национальному порядку. Сделал ли он что-то, чтобы удержать меня? Нет. После недели абсолютного неприятия меня и полного игнорирования, я вышла из его дома с одной рейхсмаркой в кармане, что равнялось тогда 25 центам, которые он дал мне в дорогу. Я храню ту монету до сих пор как напоминание мне самой о моей стоимости, о цене моей любви, о ценности моей жизни в глазах того, столкновение с кем на моем жизненном пути скрутило все мои мечты и грезы в мертвые узлы на шнурках моих стоптанных ботинок. Я прошла несколько километров пешком вдоль шоссе, опустошенная и бесчувственная. Ни жена, ни любимая, ни мать, ни дочь, никто. В тот момент я ощутила и осознала свою ненужность всем тем, с кем моя двадцатилетняя жизнь успела меня свести. Пустота была настолько осязаема и тяжела, что я отдалась ей как единственному, чему я осталась нужна. Я подняла большой палец, чтобы поймать попутку, что было опасно для одинокой девушки в голодное до секса время войны. Черный автомобиль остановился. Пожилой водитель любезно спросил, куда мне ехать. Я сказала: «В большой город...»...

Со знанием трех языков, французского, английского и немецкого, я устроилась переводчиком в языковую контору, обслуживающую британские и канадские войска в Германии. Я поселилась в пространстве «Между». Между стран. Между культур. Между языков.словно паря в воздухе.словно с перерезанной пуповиной с землей. В гар-

монии с пустотой. Моя любовь обратилась в мой грех, столь тяжкий в глазах моих соотечественников, что возвращение во Францию казалось мне невыносимым. В Германии было чуть легче. Все пахло войной. Все напоминало о ней. Немецкая речь пробуждала воспоминания об Эггерте, я гнала их и запиралась еще крепче в своей пустоте. Я хотела исчезнуть, уехать в никуда и раствориться в нигде, и через несколько месяцев я улетила в Канаду, в ее самое сердце, край с полугодовой лютой зимой и жарким, кишашим комарами летом, в провинцию Манитоба, что с языков древних народов того края Кри и Оджибве означает «проливы Маниту, Великого Духа», где и праздную сегодня утром свои 96. Кому я это рассказываю? Наверное, гусям, пролетающим мимо моих окон на пятнадцатом этаже на их долгом пути в Мексику. Они улетают от зимы, а я остаюсь...

## ПОСЛЕ НЕГО...

**С**емь часов утра. Сегодня моим первым глотком будет не вода, а шампанское. Сделанное во Франции и купленное в соседнем канадском магазине за 30 долларов. *G.H. Mumm Carte Classique Champagne*. Лучшее, что я могу себе позволить на мою пенсию тут, в далекой от Европы стране, где я прожила большую часть своей жизни. Обмакну свои 96-летние губы в шипучее вино моей родины. Помню, спрашивала знакомую лет двадцать назад, как она чувствует себя в свои 80, на что последовал ответ: «Согласно паспорту», и она спокойно призналась, что уже была готова покинуть этот мир, потому что все, что наполняло его, уже ушло — ее родители, друзья, коллеги, музыка, литература, фильмы, весь стиль жизни ее времени, ее ритм и люди, создавшие его. Все мое тоже ушло, но самое дорогое — сын во Франции и внучка Герда тут, в моем городе — еще держат меня на плаву. Поэтому я до сих пор жадно впитываю мир, пусть и другой, измененный, сумасшедший, скоростной, с другой модой во всем, с другими писателями, певцами, актерами, но до сих пор не перестающий удивлять меня, вдохновлять, радовать, волновать и продолжать желать жить. Я хватаюсь за их время, словно за лапы улетающих на юг гусей...

Моего сына вырастили мои родители. Я посылала им подарки с каждой зарплаты, летала к ним раз в год. Когда Перрин достиг совершеннолетия, я предложила ему переехать ко мне в Канаду, но во

Франции жила его любовь, подруга и будущая невеста, и для моих родителей расставание с ним было невысказано. Он никогда не спрашивал меня о своем отце, хотя мысль найти Эггерта не покидала меня. Перрин женился и родил девочку Герду, что в переводе со скандинавских языков «крепость», «цитадель». Она такой и выросла, сильной, упрямой, волевой, независимой, настойчивой, ровной, со взрослой душой и мужским характером. На зимние каникулы в пятом классе она прилетела ко мне, в царство снежной королевы с отметкой минус сорок на термометре. Прилетела погостить и увидеть мою далекую Канаду и осталась, несмотря на просьбы ее родителей и даже меня самой вернуться во Францию. Так и выросла рядом со мной. Мой ангел, мой рыцарь, мой друг...

Наша встреча в Эггертом через 56 лет после нашего расставания... Перрин и я прилетели в Германию. Втроем встретились за ужином в ресторане. Он ждал нас за столиком у окна. Худощавый, высокий, седой, в очках в серебряной оправе. Они обнялись, отец и сын, спустя 56 лет. Перрин был напряжен и не хотел этой встречи, но я настояла и просила его простить и отца, и меня за все его детство, нарисованное иными красками, нежели палитрой его родителей. В том маленьком, пахнущем яблоками ресторане, я не сводила глаз с моих мужчин, каждой клеточкой впитывала их лаконичную беседу, любовалась их сухими улыбками, сдержанными чувствами. Они перемежали немецкий с французским, акценты придавали шарм этой беседе, более полувека ожидающей своего часа. Я молчала и шампанским заглатывала удушающие меня комки в горле. Я была их связующим звеном — женщиной, полюбившей одного и родившей от него другого. Моя любовь скрутила их в один узел, пусть и слабый, и готовый развязаться, но не развязавшийся все эти годы. Простил ли нас Перрин? Не знаю. Он был преисполнен такта и благопристойности, чтобы не обидеть нас ни словом, ни жестом, ни взглядом и сделать нашу встречу доброй и светлой. Она такой и запечатлелась в моей памяти.

За 56 лет моего избранного одиночества мужчины приходили в мою жизнь, но я расставалась с ними. Серьезные звали меня замуж, авантюрные дарили мне свои чувства. Я принимала их, но не селила в своем сердце и легко оставалась на своем самодостаточном острове, который пестовал мою свободу. Словно я хранила себя для своей любви, которую пробудил во мне Эггерт, мой первый мужчина, в то же время не лелея никаких надежд на наше воссоединение, потому

что пестовала себя не ради него, а ради вот этой сказочной любви, этой океанической махины внутри меня, которая двигала меня к свету всю мою жизнь. Даже его семейное положение ничуть не огорчило меня — женат, взрослые сын и дочь, четыре взрослых внука. Словно его жизнь, данная мне, не пересекалась с его жизнью вне меня...

После нашей эпической встречи я вернулась в Канаду, в свое желанное одиночество там, где Великий Дух живет. Я почувствовала, что с этой встречей наша история наконец пришла к умиротворенному завершению, успокоившему и примирившему сердца отца и сына. Когда же через несколько месяцев Эггерт позвонил мне, пазлы всей этой истории будто кто-то нечаянно перемешал на столе.

«Моя жена скончалась. Ты примешь мое предложение второй раз?»

И я приняла. Мне было интересно прожить свою любовь и в этой ипостаси. В свои 76 я стала супругой отца своего 57-летнего сына. Мы жили вместе шесть месяцев в году в Германии, и я возвращалась в Канаду на вторые полгода. Так длилось 14 лет до смерти Эггерта. Он ушел во сне, когда я была далеко от него. Накануне он мне сказал по телефону: «Если бы не было войны...» Я ответила: «Тогда бы у нас не было нас...»...

## ТАБУ НА ЖИЗНЬ

**Л**юбовь и старость... Один мой друг не так давно умер. В старческом доме. Относительно молодым. С высоты моего возраста, конечно. В свои 85. Любил джаз и женщин. Трепетно. Нежно. Чувственно. Как в кино послевоенных лет. Он, пока здоровье позволяло ему жить в своем собственном доме, пребывал в звуках своей роскошной коллекции виниловых пластинок и компакт-дисков с джазовой музыкой. После его перемещения в старческий дом, вся она, видимо, ушла на свалку со всей его домашней утварью или в магазины старьевщиков. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд были его любимцами. В своем глубоком, вытертом временем и зацелованным молью бархатном кресле, с рассвета до заката он потягивал виски, идилично покачиваясь в джазовых волнах своего счастья. Оно было счастьем одинокого волка — музыка и алкоголь. Он любил обоих с одинаковой страстностью, и они дарили ему в ответ эйфорию бытия, к которой со временем присоединился диабет, потом гангрена, ампутация.



тация ног и, как панацея, перевоз его в старческий дом по требованию социальных госслужб, потому как самостоятельно он уже не мог справляться с ежедневными нуждами своего тела и поддержанием своего дома в пристойном виде. Жилье, в которое его перевезли, было предназначено для минимальщиков, то есть стариков с минимальной госпенсией. Ее целиком изымали в обмен на безвкусное трехразовое питание, маломальский медицинский присмотр и койку за шторкой в комнате для двоих того же пола.

Я успела навестить его в том доме несколько раз. Его новая жизнь соответствовала его пенсионному минимуму, на который нельзя было скопить даже на свой гроб и захоронение. Об этой последней трате в человеческой жизни заботится государство для таких, как он, с минипенсией. Двойные двери в здание открывались охраной с пульта — сначала первая, и посетитель оказывался в предбаннике, потом, когда она защелкивалась, отмыкалась вторая. Так же при уходе. Такая система исключала самовольный побег его жильцов, потерявших память и любящих отпрапляться в походы в *никуда*: сумел проскользнуть за одну дверь — все равно застрянет в пространстве между первой и второй.

Запах мочи царил в коридорах. Относительно молодой персонал, лет до сорока, казалось, был одержим лишь созерцанием своих компьютерных экранов и регламентированным уходом за пациентами, красиво и строго описанным в правилах данного дома, нежели проявлением чуткой, искренней, простой человеческой заботы о живых, да, еще живых, людях этого заведения. Холл в центре каждого этажа семиэтажного здания, куда гости допускались строго после регистрации в журнале охраны, был заставлен креслами-каталками с забитыми транквилизаторами и скрюченными в постоянной дреме телами, некогда бывшими девочками и мальчиками, девушками и юношами, женщинами и мужчинами, дамами и джентльменами, любимыми и любящими. Тут были только тела, еще дышащие, безразлично принимающие пищу, пукающие, писающие и испражняющиеся.

В комнате моего друга за шторкой проживал потерявший разум мужчина. Он рассказывал одну и ту же историю каждому входящему, историю о его собачке, которая сгрызла сахарную косточку и затерялась где-то в комнате. Заслышав шум, он показывался из-за шторы со взъерошенными седыми волосами, искрящимися от возбуждения, хоть и белесыми глазами, с затертой страницей журнала с фотографией



«его» собачки, смеялся, звал ее по имени «Дина, Дина», хотя животные в здании были запрещены. В ужасе я представляла себя заточенной, спрятанной от реального мира в такой комнате для двоих, в этих мертвых коридорах со стойким запахом мочи и с искусственно вежливым, роботоподобным персоналом, слившимся с виртуальным пространством компьютеров и вымуштрованных сухим, как рикошет, регламентом дома. Какой же счастливой была я со своей свободой: живу в своей квартире, сама себе готовлю и ухаживаю за собой тоже сама.

С каждым закатом я молю солнце осветить мою жизнь наутро вновь и на рассвете молю небо дать мне силы прожить еще один день на полную. Ежедневно делаю «какую могу» зарядку, чапаю в ванную, принимаю прохладный душ, завтракаю фруктами и выбираюсь на прогулку, пусть и с ходунком. Меня никто не нянчит, мне не отваливают по двадцать таблеток в день, не распоряжаются моим днем, не указывают мне что делать, что есть из скудного, безжизненно выглядящего, серо-вареного меню и кого принимать в качестве гостей. Это сладкое слово «свобода» — не только слово в моей жизни. Свобода — это вся моя жизнь!

Однажды моего друга чуть не изгнали из того дома, после того как его комнату посетила дама в кресле-каталке из соседней комнаты. Побеседовать, поболтать, посмеяться вместе, взяться за руки, почувствовать тепло друг друга, поймать искру жизни, что вспыхивает между мужчиной и женщиной и дает им обоим силы жить. Но в его старческом доме посещение комнаты гостем противоположного пола считалось преступлением. Почему? Потому что старикам в тех домах не полагается любить, чувствовать, мечтать, желать, фантазировать, строить планы. Какие такие планы после 70-ти? Только в гроб да поскорее. Это я вышла замуж в 76 будучи на свободе, а жильцам этих домов не надобно быть человеками.

За стариков побеспокоились служители закона и заперли их чувства за уголовными статьями о сексуальном домогательстве. Старый и немощный? Значит, беспрекословно следуй воле пышущего сексуальной энергией молодого персонала, для которого старики — бесчувственные мумии, получеловеки, полутрупы, с отжившими с закостеневшими мозгами. Ведь они же отлюбили задолго до того, как состарились! Должны были отлюбить. Молодое, жгучее, жесткое, торжествующее власть денег общество так посчитало за них. Оно разрешило им поглощать таблетки в невероятных количествах, по два-три десятка

в день, расфасованных в пластиковых дозаторах, чтобы быстрее их дряхлеющие тела превратились в сомнамбулические «овощи», догнивающие на кроватях или в креслах-каталках. Оно позволило им быть невидимыми, неслышимыми и неосязаемыми за стенами таких домов-приютов с приличными фасадами, но запахом мочи в коридорах. Им не полагается желать жизнь. Им полагается желать *ничто*. Ни-что...

Они должны быть в беспрестанном, подкожном, с бабочками в желудке ожидании смерти, ожидании, пронизывающем, как вертел шашлык, все оставшееся существование, сообразно героям Беккетовской пьесы «В ожидании Годо» в их непонятном, на грани бессмысленного, ожидании чего-то, кого-то, бога или смерти. Этакий вокзал без поездов. Так решило за стариков цивилизованное, испещренное законами, регламентами, правилами и табу общество. Так решили их взрослые и очень занятые дети, которые сдают родителей в такие дома в полной уверенности, что тем нужна воспетая с трибун, так называемая социальная «независимость» и «достойная» жизнь. Ценности так перевернулись, или, вернее, их так перевернули, что и сами старики стали вдруг серьезно уверены в этой необходимой им как воздух «независимости» и «достойности» доживания и умирания. Эта утонувшая в тотальной печали философия «независимого», «достойного» и такого невыносимого, до истерики, одинокого затухания в старческих домах... В домах, которые пахнут не воспоминаниями, а хлоркой...

Как хитро бесчувственна современная интерпретация родительства: «Я вас не просил меня рожать, следовательно, и не несу ответственность за вас и вашу дурацкую старость. Ваш пахнувший нафталином стиль жизни мне претит. Ваша тяжелая, мрачная мебель, задохнувшиеся от пыли бархатные альбомы с потускневшими фотографиями давят на мое пространство. Ваше потерявшее гибкость мышление не успевает за моим временем. Ваша немощность лишает мою жизнь легкости и кайфа. Ваша медлительность — как снежное месиво на дороге после обильного снегопада, в котором лишь застревает машина моей жизни. Ваша жизнь — ваш и конец. Оставьте меня вне ваших памперсных проблем. Доживайте «независимо» и «достойно». Подальше от моих глаз. Вы этого достойны!»

И старики ох как боятся стать своим деткам в тягость, увидеть в их некогда беспомощных, доверчивых детских глазах отчуждение, презрение и даже ненависть. Они послушно сбегают в такие дома, уверяя своих взрослых, очень занятых детей, что мечтали об этом все по-

следние годы, и искусственной бравурностью заливают костерки малейших сомнений в правильности такого шага в душах своих отпрысков. Я говорила с десятками своих друзей на протяжении последних двадцати лет. Они орошали меня фонтанами своих экзальтированных речей о «независимости» и «достоинстве» их новой жизни в подобных домах до своего перемещения в них. И я видела беззвучно кричащее одиночество в их потухших глазах после. Они уезжают туда в смиренности, как скот на бойню. Они все знают и принимают правила современного мира молча, ненавидя себя в этой стадии жизни и покорно ожидая смерть...

## ДОМ И ДОМА́

**Я** спрашивала их, ушедших в такие дома, почему два десятка лет их родительской любви и заботы, отданной их детям, не должны возвращаться им, повзрослевшим родителям, пятьдесят лет спустя, когда все, что им в таком возрасте нужно, — это любовь и забота своих, *родных*, детей, а не *чужих* в виде работников старческих домов? Когда они цепляются за жизнь лишь ради простых радостей, которые им может подарить только их семья, их правнуки, внуки и дети, почему последние упаковывают их во временные блоки с тенями и духами таких же временных жильцов, предшествующих и уже ушедших в иное? Зачем взрослые дочери и сыновья прячут своих родителей за стены старческих домов от самих себя и от мира? Чтобы создать иллюзию сильного и молодого делового мира и не отвлекаться от его денежных игр? Почему не проводят сегодняшние взрослые дети бессонные ночи у постели их родителей, тающих, словно свечи, и уходящих в иное? Потому что у них нет времени в нескончаемой погоне за деньгами и их воспроизводством?

Мои друзья-ровесники спорили со мной годы назад, защищаясь щитами «независимость» и «достоинство», которые, якобы, они обрели в подобных домах. А я думала о том, как же их обмануло общество... Или о том, как они позволили себе быть так обманутыми этим слишком развитым, чрезвычайно далеко шагнувшим обществом. Как яростно оно осуждает молодых родителей, отказывающихся от своих отпрысков и отдающих их в другие семьи или детские дома, и как красиво ханжески оно же поощряет взрослых детей сдавать своих

пожилых родителей в дома для умирания, в которых созданы очереди и списки ожидания места. Места, которое освобождается со смертью его очередного резидента. Благой бизнес, выстроенный на пенсиях. С малышкой нечего взять, их плодят без разрешения общества, поэтому ему и не нравятся отказники — миллионы брошенных деток по всей планете. А на пенсии брошенных стариков, «независимых» и «преисполненных достоинства» можно содержать старческие дома и их персонал. Вместе с тем, даже на брошенных детишках можно сделать бизнес — их можно продать, особенно экзотических, в руки богатых пар, а кто купит стариков? Возрастные собаки и кошки в приютах обречены на усыпление — им предпочитают котят и щенков. Все жестко, просто, и эта простота скрыта за «этически» звучащими концепциями и играми в «независимость» и «достоинство» в принципе никому уже не нужных в силу их возраста людей.

После 50-ти я много путешествовала по миру. Легко тратила нелегко достающуюся зарплату на поездки, нежели вещи, чтобы узнать ближе свою планету, свою геомать. Европа, Азия, Австралия, Северная и Южная Америка. Пять континентов потрогала ногами и руками. Обнюхала носом. Обшарила глазами. Пристально изучала людей и их творения. Бедные страны и богатые, чистые и грязные, шумные и сдержанные, легкие по духу и тяжелые, уютные и растрепанные, гостеприимные и надменные, бесшабашные и запертые в клетках правил. Культуры с оттиском в моем сердце или, напротив, вычищенные из моей памяти.

Среди первых — те, в которых отправка родителей в старческие дома немыслима, где родители, пусть и похожие уже на серые одуванчики, — все еще дух семьи. Такие культуры почему-то в странах, считающихся менее развитыми, чем в тех, что считают себя крутыми. В них ни один член семьи не начнет есть за семейным столом раньше самого старшего. «Высокоцивилизованные» же страны, какими они себя с гордостью нарекают, строят красивые старческие дома с апартаментами и пансионы с комнатами-склепами, в которых молча угадают те, кому все, кто моложе, обязаны жизнью. Это доходный бизнес, построенный и процветающий на пенсиях стариков, на их ненужности их семьям, на мнимых и лишенных радости и счастья «достоинстве» и «независимости».

Кому нужна моя независимость от моей семьи, моих ветвей и корней, как не растущему капиталу тех, кто эту «независимость» воспевают и внедряют в мозги? Если человек — это целое всех корней его дерева,

уходящих в прошлое, сотворивших и питавших его, как может он сдать их, свои корни, в утиль или на дрова? Как может он отрубить их от себя? Кто он, жалкий, голый ствол без корней и ветвей? Разве не отрывает он свои корни, отправляя родителей умирать в такие дома? Почему за моими матерью и отцом должны ухаживать чьи-то дети, чужие дети, будь они даже образованными медсестрами или социальными работниками? Почему у меня теперь должно не быть времени протяженностью в двадцать лет, которые отдали мне мои родители, когда я росла из младенца в девочку, из девочки в девушку? Потому что родить меня было их прихотью, а за прихоти надо платить?

В шибко развитых странах, каковыми они себя считают, дети не платят за пребывание и затухание жизни их родителей в старческих домах. Их пенсии платят, если таковые заработаны, их сбережения платят, если таковые скоплены, а нет — государство оплатит самые дешевые дома, подобные тому, в котором умирал мой друг без права на общение с соседом по этажу, если тот — женщина. Им, задержавшимся в этом мире на считанные недели, месяцы или годы, запрещено любить, дотрагиваться друг до друга, чувствовать тепло кожи другого, чтобы понять и подтвердить самому себе, что ты еще жив как человек. Моего друга, держащего за руки даму из соседней комнаты, что смогла проюркнуть в его палату на своем кресле на колесах, обвинили в сексуальном домогательстве и вынесли ему первое и последнее предупреждение о выселении из данного высокоморального заведения. Что оставили женщинам и мужчинам в этих стенах, лишив их человеческого? Безвкусную еду, памперсы, утку и таблетки для перманентного коматозного состояния.

Мой друг умер вскоре, раздавленный ханжеским прессом такой морали. Я пришла его навестить, охрана позвонила на медсестринский пост, и через 10 минут спустилась сбитая, как куриный окорочок, дама лет 30-ти и с дежурной улыбкой вручила мне две книги с моим именем, написанным карандашом на титульном листе.

— Сожалею, он умер, — сказала она, не снимая с лица улыбку.

— Простите?

— Ваш друг умер, — тем же тоном повторила она, но чуть громче.

— Вы не ошиблись? Мы виделись неделю назад... — почти взвыла я.

— Нет, мадам, мы не ошибаемся в таких новостях, — ее кривая улыбка все еще стреляла арбалетом в мои оба глаза, мгновенно утопившие в соленой влаге моих слез.

Я развернулась и вышла за первые двери в предбанник. Там мои ноги подкосились, я стекла на пол, безвольно растянувшись, как тряпичная кукла.

Прибежал охранник, дал мне воды, открыл вторые двери и усадил меня на скамейку в палисаднике перед зданием. Сентябрьский бриз окутал меня бархатными голосами Эллы и Луи. Мой друг верил в любовь и искал ее всю жизнь. Потеряв ее в пору своей молодости среди людей, он продолжал искать ее в музыке и алкоголе, и, возможно, нашел ее в своей последней женщине в его жизни, что приехала к нему в кресле на колесах из соседней комнаты. Но ее отобрали, ранив его сердце вердиктом о его сексуальном домогательстве. Еще сильный и статный, он съезжился в своей кровати от безразмерной боли, причиненной ему запретом на любовь в его последнем пристанище в этом мире, и умер...

Что видят старики в непроветриваемых, беспрестанно кондиционируемых стенах своих комнат? Они, когда-то танцующие, поющие, путешествующие, рассекающие воздух на велосипедах, мотоциклах или машинах? В летящих платьях и изящных туфлях? В щегольских костюмах и накрахмаленных рубашках? Что они чувствуют, молча принимая мертвую, насыщенную оплаченной их пенсиями или господаниями заботой атмосферу подобных домов, куда их занятые взрослые дети заглядывают от силы раз в неделю с любовью, упакованной в пластмассовые коробочки искусственных улыбок и сахарных кубиков слов? Как удобно сдать стариков обществу, государственному или частному учреждению, видеть их раз в неделю в течение часа, не слышать их дневного бормотания, не знать их мыслей, не разделять их боли, не заморачиваться об их не утихающем одиночестве! Почему в жизни взрослых детей нет места для родителей? Продажа — самое мелькающее слово времени по имени «Сегодня». Все — на продажу, а что не продать — на свалку: родителей, дома родителей, их вещи, фотоальбомы, пластинки, их жизни. Глобальный капитализм торжествует. Деньги-товар-деньги. Деньги начинают, заканчивают и приканчивают. Они заказывают музыку, они же платят. Чувства, сантименты, эмоции — все пустое, у чего нет ценника.

Кто-то ткнет в меня шпагой: «Ты — хреновая мать, оставившая сына родителям, чтобы судить других!» Я не сужу. Я ору миру о своих ровесниках, прозябающих в несвободе и фальшивой любви и заботе домов, скрывающих их от мира, куда их упекают их дети или они

сами, так как это то, что ждет от них нынешнее общество — умирать в «достоинстве» и «независимости». Я говорю миру о своей любви и материнстве, взорванных войной, о сыне, родившемся от мужчины и женщины, чьи страны оказались врагами, о нежности, разбомбленной ненавистью, о времени и пространстве, где нужно и можно было только *выжить*, а не *жить*. Я не оставила сына в роддоме, не позволила чужим людям усыновить его, не перерезала наши мать-дитя узы, а растянулась канатом меж стран и континентов, чтобы помочь ему вырасти в любви, спокойствии и достатке в доме моих родителей. Я работала для него, отправляя деньги и посылки, я летала к нему каждый год, чтобы помнил он запах своей матери, ставшей позором для своей родины и потенциальным разрушителем судьбы своего сына, останься я во Франции.

Мне сегодня 96. Я не прошу снисхождения к моему возрасту. Я не прошу ничего себе, но я прошу мир повернуться к самым старшим на этой планете, слушать их истории, слышать их советы, разглядеть их опыт и мудрость, не мешать их чувствам, сексу и любви, одарить их истинной честью и уважением как старейшин человеческой особи. Даже те, кто физически болен или уходит в неведомые дали своей исчезающей памяти и разума, нуждаются в жизни более достойной, чем палата-клетка с персоналом, раздающим еду и таблетки. Им нужны их семьи. По крайней мере тем, для кого семья — это их жизнь. Такие согласны ждать своих взрослых детей с работы, своих внуков из школы или правнуков из детских садов, весь день сидя перед окном, ради их присутствия в своей жизни у себя дома, в семье, которую они породили, а не от визита к визиту в казенном доме..

Кому нужны старики в несущемся за заработками мире? Иногда они нужны малым внукам. Как дарители подарков. Как сиделки. Потом и им не нужны. Они не нужны общественной машине, где все, что ими заработано за годы их карьеры, уже хитро распределено между ячеек социума, между зарплатами работников всевозможных фондов, включая пенсионный. Люди кормят эту махину своими должностями, работами, трудочасами и, конечно, должны начать умирать после 50-ти, когда из них уже вытянуты пенсионные отчисления за тридцать лет их карьеры. У зрелых мужчин и женщин после полувека жизни и рабочая энергия не на высоте, и покупательские потребности минимальны, так как к 50-ти у них уже, как правило, все есть. Поэтому к данному возрасту или сразу после него люди должны начать



заболевать, чтобы умереть как можно быстрее и чтобы все, что они отдали в пенсионный фонд, им не вернулось. Оно должно остаться в госкармане во имя процветания госаппарата. Если люди будут умирать после 50-ти, фонд будет пополняться, обогащаться, а вместе с ним будет обогащаться и вся социальная машина.

После 50-ти люди могут быть нужны только самим себе и то не все. Некоторые ненавидят себя в этой фазе жизни и не нужны даже самим себе. Отдают свои лица под нож пластического хирурга или накачивают их всякой дрянью, чтобы избежать самих себя, повзрослевших, заматеревших, отяжелевших, отягощенных опытом, годами, страданиями, борьбой... Беспросветный социальный слой под названием «кому-за-пятьдесят», или «социуму-ненужные-люди».

А мне 96. Государство разорится на пенсионных выплатах, если все будут доживать до 96-ти. Не жить, а именно доживать. С 20-ти до 50-ти большинство пашет ради избавления от своих долгов, откладывая мечты о путешествиях на свои 65, возраст долгожданной госпенсии и свободы от работы в большинстве стран. В итоге доживают, но уже без сил, здоровья и желания выйти из дома, и умирают, сразу или постепенно, так и похоронив мечты о сказочных путешествиях в своих поседевших, полысевших головах и обессилевших, бесформенных телах. Все, что им остается как радость, — это пенсионные выплаты. Звучит как благородная подачка со стороны государства, хотя в его казну было выплачено «тогда-молодыми» с их зарплат гораздо больше, чем им выплачивают назад по достижению их пенсионного возраста, который официально называют «старым», потому что это «пенсия по старости», до чего и доживают-то немногие и на которую можно выживать, а не жить, и покупать лотерейный билет раз в неделю все с той же мечтой о счастье в миллион долларов.

## ЖИТЬ

**М**не сегодня 96. Еще двигаюсь, дышу, хоть плохо вижу и слышу, но живу. Мой семнадцатизэтажный дом — для тех, кому 55+, то есть со скидками на квартплату, и кто может жить самостоятельно. Я живу самостоятельно. Без приходящих медсестер и помощников по дому. Вчера сосед пожаловался управляющему дома на меня, что мой телевизор «орал», по его словам, но для меня-то это был про-



сто нормальный звук, который я могла слышать, хотя едва различала текст даже на максимальной громкости. Утром управляющий домом мне вежливо вставил и попросил пользоваться наушниками, которых у меня нет. Язык глухонемых мне неизвестен. Читать по губам не умею. Теперь молчу вместе с телевизором, пока Герда не купит мне беспроводные наушники. А она купит. Быстро. Через день или два. Шустрая как я. Зовет меня жить к себе, но я пока наслаждаюсь своей самостоятельностью. Возможно, так самостоятельно и прошагаю свою столетнюю дистанцию, а там — посмотрим.

Читать не могу. Страница книги теперь белый лист для меня. Когда-то я плавала в книжном океане как рыба. А теперь выброшена моя рыбка на берег. Еще дышит, жабры оттягивая, но океану тому уже не принадлежит. Если чтение отличало меня от животного, то отсутствие чтения теперь сблизило меня с ним. Моя голова еще плетет интеллектуальное кружево, но оно становится все менее витиеватым и более хаотичным. Меня не охватил маразм. Я все так же ненавижу политическую схоластику, популизм и массовое оболванивание и послушание. Если бы каждый только пестовал свой сад-огород и кормил себя своими же плодами, не зарясь на чужое... Кому тогда нужны были бы государства, политики, полиция, юристы, ораторы, демагоги? Да никому. Если бы каждый жил на то, что себе и вырастил. Не вырастил — так голодай от своего же безделья. Земли невспаханной — еще на десять таких населений хватит, а то и двадцать. Не хочешь кормить самого себя — подыхай. Вот тогда реальное самоуправление было бы, когда управляешь самим собой сам, без комитетов, советов, правлений, дум и государств. Родился — получил свой кусок земли, как грудь матери. Кормись с него. Возделывай. Без излишков. Столько, сколько тебе надо. Излишки требуют продаж, а за ними обогащаются и взлетают одни, и нищают и падают другие. Утопия... Человек — хищник до чужого и легко достающегося. Врать и воровать чужое проще, чем взращивать и возделывать себя и свой сад...

Я прожила 96 лет. Для кого-то я старая дура с высохшими мозгами. Немодная, не в теме, не в тренде, не во времени. Все, что впитала кожей, всосала клетками, просеяла головой, прогнала чувствами, слепило меня такой, какая я сейчас, в свои 96. Пришла и уйду. Пришла семечком, уйду пугалом. Кому интересен опыт стариков? Кто их слушает? Кто их слышит? Они — утиль, как и все, что наполняет их жизнь — их мебель, техника, одежда, манеры, привычки, стиль мыш-

ления и скорость их передвижения. Много ли бегающих, спешащих, суетящихся после шестидесяти? Вряд ли. Они уже свои дистанции пробежали к своим пятидесяти. Кто-то успешнее, кто-то несчастнее. Лишь некоторые мудреют соразмерно накопленному опыту. Скажете, что старый — вовсе не значит мудрый, да и молодой может помудреть. Может, но скорее всего такие мудрыми и приходят в этот мир независимо от возраста и опыта. Таких единицы — просветленных по рождению и сквозь людскую недалекость, неглубокость, мелочность все видящих. Такие — уникальны. Божьи дети, вселенским перстом избранные. Но жизненный опыт все же обращается иногда в мудрость.

Вот есть нынче молодые «мудрецы» — и таковых сейчас полно среди новомодных учителей жизни, в кружках медитационных и ретритах сверхдуховных. И есть мудрецы возрастные. Но последних среди простого люда не замечают, едут за такими далеко на восток, ходят за ними толпами, просят в их ученики, хотя своя же родная бабушка или дед могут быть мудрее всех этих воспетых гуру. Без раскрутки мудрость — и не мудрость вовсе, а простота какая-то. Нужен бренд, молва, мода, блоги, видеоканалы и подобная цифровая суета. Нет пророка в своем отечестве. Нет его ни в своем времени, ни в своем пространстве. Не было, нет и не будет. Нет его среди своих, родных и близких. Возвышенное-то ведь видится издалека. Старые уже не ищут. Незачем. А молодым простая, не раскрученная как у модных гур старость — не указ. Не маяк. Не луч. Не свет. Старость для молодых — это те телефоны, телевизоры и компьютеры, которые они уже не хотят. И не потому, что они не работают, а потому что они уже вне софитов рекламы, не престижны, не модны, не солидны, не в формате, не в кайф. Не и не.

Кому интересен человек в 96? А кому интересна женщина в 96? Родители, учителя, друзья, знакомые, любовники, ровесники умерли. Дети — уже сами старики в свои семьдесят. Внуки уже вступают в пору социальной ненужности в свои пятьдесят. Тридцатилетние правнуки пашут на выплату своих долгов. Подростки-праправнуки вспоминают (если вспоминают) о своей прапрабабушке как о музейной мумии во время подготовки к урокам по древней истории. Мне повезло — моя Герда любит меня и дорожит мною как маячком или светлячком в своей жизни. Она говорит, что я заряжаю ее своей неумной энергией и любовью к жизни. Она обволакивает меня любовью, ко-

торую я не успела получить от Эггерта. Я пестую ее в любви, которую не смогла отдать Перрину. Еще, видимо, не всю отдала, поэтому и живу.

Я чудом сохранившийся динозавр моей эпохи, эпохи Вивьен Ли, Одри Хепбёрн, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Джека Леммона, Тони Кертиса, Марчелло Мастороянни... Мое семя как-то занесло в их время. Они ушли, а я еще застряла тут. Зеркало — мой прохладный, молчаливый собеседник. В моей голове я та же — в образе своей зрелости между тридцатью и пятьюдесятью. Быстрая, звонкая. В зеркале — иная. Высохшая из виноградины в изюмину, почти глухая и слепая, все еще женщина, когда-то и сводившая с ума кого-то.

Моя душа та же. Не сжалась в изюмину, потому как бесплотна. Порхает бабочкой внутри моего маленького тела. Наверное, потому я до сих пор тут, в мире бегущих, несущихся и несущих, несущихся за счастьем и несущих мириады пазлов в свою норку из магазинов и рынков для постройки картинки с желанным именем «Счастье». Все его хотят, все его ждут, все его зовут: «Счааастьееее...ты гдееее...», но под одним и тем же словом скрывается столько же разных значений счастья, сколько на земле человеков.

У каждого счастье — свое, понимание о нем — свое, его ощущение — свое, его запах — свой, его звук — тоже свой. Для одного счастье начинается там, где заканчивается у другого. У другого счастье заканчивается в момент зарождения счастья другого. А ведь счастье — это «счас», или «сейчас». Не вчера и не завтра, а сейчас, в данный момент, течение и длительность которого не замечаешь, так как растворен в нем. Поэтому для меня счастье — это незамечание времени и наслаждение пространством. Незамечание времени. И наслаждение пространством. Любить на полную. Танцевать всеми клетками. Петть во весь голос. Жить. Дышать. Летать на пустой брэнностью людского бытия. Я и любила на полную. И танцевала всеми клетками. И пела во весь голос. Жила и живу. Дышала и дышу. И летаю над пустой брэнностью людского бытия. Уже 96 раз по 365 дней. Нет дыхания, следовательно, нет жизни, а значит, нет и счастья. Я дышу, следовательно, живу, и значит счастлива.

Мне сегодня 96. Я между небом и землей. Между востоком и западом. Между севером и югом. Меж меридианов и широт. Меж стран и океанов. Меж войн и перемирий. Меж государств и религий. Меж всех границ и меж... Как паутина. Жду своего последнего ветра, кото-

рый сорвет меня и унесет в иное. Неведомое. Неизвестное. Нетакое. Не...

Мне 96. Некоторые говорят, что не боятся смерти. Такое можно сказать, когда жизнь скучна и, кажется, высосана до донца. Так могут заявить просветленные, те, кто без любимых и тех тонких связей с ними, что заставляют стучать сердце без остановки и сбоев. Такие могут заявить о своей небоязни смерти как о высшей ступени развития жизни. Но разве можно не бояться расстаться с тем, что и кого любишь? Разве возможно вкусить жизнь до последней капельки, чтобы легко и непринужденно махнуть ей на прощание? Заглянуть во все ее уголки, вкусить все ее ароматы, ощутить все ее прикосновения, вдохновиться всеми ее идеями, приоткрыть все ее чудеса, подняться на все ее вершины, нырнуть во все ее водоемы, испытать все ее чувства, задать все вопросы и найти на них все ответы?

Я выпью это шампанское, прилетевшее в далекую холодную Канаду из моей Франции, моей ароматной родины. Выпью за себя, свою жизнь, за тех, кого любила и кто любил меня, за родных, ушедших туда, куда, возможно, скоро улечу и я. Выпью, чтобы одним счастливым человеком среди моих ровесников на земле было сегодня больше. А завтра пойдет мой 97-й год. Встречу ли я его окончание? Не знаю. Но это и неважно. Важно, что я счастлива сегодня, сейчас, в день 96-летия моей маленькой и не похожей ни на чью жизни...

#### ОБ АВТОРЕ

---

---

---

*Лариса Сегид* — автор нескольких романов и сборников рассказов, композитор и музыкант, выпустивший 8 альбомов. Она — сертифицированный канадский переводчик; закончила философский факультет российского университета. Училась в Литинституте имени Горького.

*В Канаде, где живёт с 2003 года, получила степени мастера и доктора философии в преподавании английского как дополнительного языка.*

*Пишет на русском и английском языках.*

Борис ЗВЕРЕВ  
СТИХИ

---

\* \* \*

Блики солнца играют в листве  
На закате в осенние прятки,  
Я сегодня с листвою в родстве,  
Мысли в ветреном беспорядке.

В беспорядке от этой поры,  
Наступающей слишком спешно,  
Я ещё не устал от жары  
И от летней лени безгрешной.

Но сижу в одиноком саду,  
А цветы догорают, как угли,  
Словно я ещё в летнем бреду,  
Где колени и плечи смуглы,

Где ещё не сошёл загар  
С морем пахнувшей летней кожи.  
Я смотрю на закатный шар,  
Так на летний мираж похожий,

И ловлю сквозь шальную листву  
Уходящего лета улики,  
Исчезающие по волшебству  
Заходящего солнца блики.

*26 сентября 2021*

## ТАЙНОПИСЬ

Эта тайнопись странная  
Недоступна уму.  
Что-то есть в этом главное,  
Только что — не пойму.

Вроде с виду безделица,  
Пустяки, ремесло,  
Без остатка разделится  
На любое число.

Есть полегче занятия  
И полезней дела.  
Но зачем-то в объятия  
Строчка снова легла.

Иногда даже кажется,  
Если слово найти,  
Буря мира уляжется,  
Распрямятся пути.

Пожеланье банальное,  
Но банальность не грех:  
Если платье — то бальное,  
Если счастье — для всех.

Если гостя — то званная,  
Без чумы и сумы.  
Эта тайнопись странная  
В середине зимы.

## ОТСУТСТВИЕ НЕБЫТИЯ

Отсутствие небытия  
Мне всё яснее с каждым словом,  
Как будто разбираюсь я  
В запретном словаре толковом.

Как будто я ищу ключи  
И шифры тайные, и коды,  
В безумной сумрачной ночи  
Чтоб видеть выходы и входы.

А в словаре немного слов,  
И шифры тайные несложны,  
Но смысл божественный таков,  
Что их значенья невозможны.

И я в отчаянье, в бреду  
И в то же время в упоенье  
По шифрам и словам бреду  
В очередном стихотворенье.

И хоть на грани забытья  
Мне не похвастаться уловом,  
Отсутствие небытия  
Мне всё яснее с каждым словом.

---

## МЫ СЕГОДНЯ ГОВОРИМ СТИХАМИ

Мы сегодня говорим стихами.  
Это просто день такой у нас.  
Белыми обширными снегами  
Небосвод зажётся и погас.

Слово вдруг потянется за словом,  
За которым нам не лезть в карман.  
Вот уже окажется готовым  
Мыслей неуёмных караван.

Или лучше это будет табор,  
В небо уходящий, как всегда.  
Это наш с тобой эвакуатор,  
А ещё деваться нам куда?

Некуда. Хотя не знаем сами,  
Будет ли успешным наш исход,  
Нашими с тобою голосами  
Небо ноту высшую возьмёт.

Снизу мы покажемся богами,  
Вечными создателями фраз.  
Мы сегодня говорим стихами.  
Это просто день такой у нас.



## Я БЫ ХОТЕЛ СТАТЬ ПТИЦЕЙ

Я бы хотел стать птицей,  
Чтобы встречать рассвет.  
Это так говорится.  
На самом же деле — нет.

На деле — в подушку уткнуться  
И проспять допоздна,  
Чтобы потом проснуться, —  
А в мире уже весна.

Выходит, — совсем не птица,  
А скорее медведь,  
Который в спячку ложится,  
Чтобы не умереть.

Я бы хотел стать облаком,  
Чтобы по небу лететь.  
На деле люблю за столиком  
В ресторане сидеть.

На деле: люблю приземлиться,  
А лучше — вообще не летать,  
Куда посадят — садиться,  
Куда поставят — стоять.

Выходит, — совсем не облако,  
А, скорее, — бревно  
Такого вида и облика,  
Что можно пилить давно.

Так что не птица вовсе,  
И облаком тоже не стал.  
Но к отлёту готовься,  
Когда протрубят сигнал.

## БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

Зима пришла, хотя и с опозданием,  
Обосновалась прочно к февралю,  
Мне бросив с нескрываемым желанием  
Короткое холодное «люблю».

Она кружит меня, пока румянец  
С лица не сходит от потери сил.  
И это, безусловно, белый танец,  
На вальс бы сам её не пригласил.

Так опытная кружит танцовщица  
Под ритмы вьюги в белую метель.  
Не девица, а истинная львица  
Меня уводит в снежную постель.

Я кутаюсь и, греясь у камина  
И впитывая сонное тепло,  
Смотрю в окно, зимы куда-то мимо,  
Как будто там цветенье ожило.

Тюльпаны будто видятся и вербы,  
Деревья в ослепительном цвету.  
Скорей бы это было всё, скорей бы!  
Познал сполна зимы я красоту.

Всё оживёт, преобразится ветка,  
Черна земля и зелены ветра!  
Весна, моя любимая брюнетка,  
С которой будут танцы до утра!

Но февраля пока лишь серединка,  
Партнёрша утомительно нежна.  
Зима — моя высокая блондинка,  
Которая мне больше не нужна.

## СЕМЕНА

*Памяти Бориса Немцова и посвящение  
всем борцам против всех режимов*

Они нас хоронят, но мы — семена!  
У нас есть фамилии и имена,  
Истории жизни, борьбы и любви.  
Мы долго в земле пролежать не могли.

На пользу нам глина, песок, чернозём.  
Мы вверх прорастаем и песни поём.  
А в песнях и солнце, и свет, и весна.  
Хоронят, а нам не до вечного сна.

Хоронят, чтоб с глаз поскорее долой,  
Чтоб стали скорее мы прахом, золой.  
Они забывают, что мы, как Антей:  
Чем глубже заруют, тем будем сильней.

Пускай нас хоронят, не знают они,  
Что наши еще не исчислены дни,  
Что мы не закончены в час похорон,  
Без нас невозможен весны перезвон.

Мы тянемся к свету, он нас возродит,  
Он нас призывает и жить нам велит.  
Откуда-то взявшийся жизненный сок  
Вдруг смерть отвергает, стучится в висок.

Наш к свету прорыв неотступен и рван,  
Такая природа у нас, у семян.  
А им не понять, и во все времена  
Они нас хоронят, но мы — семена!

## ТРУБАЧ НА ПЛЯЖЕ

Солнце садится в море,  
В море солнце садится.  
Солнце — оно такое:  
Ничего не боится.

И нет на том солнце пятен,  
Мерно шумит прибой.  
Каждый день на закате  
Трубач играет отбой.

Солнечного полукруга,  
Захода вечерний гимн,  
Союз света и звука  
Просто непобедим.

Он недавно скончался,  
Старый пляжный трубач.  
Но гимн закату остался  
В Вечной книге удач.

Его жена записала  
И каждый божий закат  
Включает запись с начала,  
И волны солнцем горят.

Аплодисменты громки.  
Звуки в закатный час  
У океанской кромки  
Объединяют нас.

Люди глядят на солнце  
И слушают гимн-отбой.  
И мне каждый раз сдаётся —  
Трубач всё ещё живой.

## ДЕНЬ ДУРАКОВ

Апреля первое, День дураков.  
Разыгрывают все друг друга, шутят.  
А мне всё кажется: наш мир таков,  
Что дураков на свете не убудет.

Но дураки отнюдь не чужаки,  
И если честно и не без улыбки:  
То сами мы — ну чем не дураки,  
Одни и те же делая ошибки.

Мы анекдоты травим день-деньской  
Про дураков и разных идиотов.  
А сами и являемся порой  
Героями тех самых анекдотов.

И что с нас взять, когда уже давно  
Мы не читаем и не пишем писем?  
Но есть и преимущество одно:  
Нам, как известно, и закон не писан.

Но что же нам поможет, нас спасёт,  
Что наш позор несовершенства смоем?  
Мы — дураки, а дуракам везёт,  
И это хоть чего-нибудь да стоит.

## Потоп

Все спят, а дождь стоит стеной,  
Весенний дождь глубокой ночью.  
И я — как одинокий Ной,  
Вдруг получивший полномочья

На выживание взаперти,  
Шанс на спасенье от потопа.  
И оправдания не найти  
В пустом ковчеге мизантропа.

Все спят, а льёт как из ведра.  
Да что ведро! Льёт, как из бездны!  
А бездна на потоп щедра,  
Увещеванья бесполезны.

И я в ковчеге до утра  
Гляжу в окно на воды неба.  
В потоп весенняя игра,  
К которой подготовлен не был.

В которой выживание, смерть  
И между ними — всё едино,  
Где исчезает жизни твердь,  
Власть вечности непобедима.

А с вечностью играть изволь  
Под шум дождя в слепые прятки,  
Ведь боль не делится на ноль,  
И потому она в остатке.

Но если гибнуть, то весной,  
В дождь проливной глубокой ночью,  
Где я — как одинокий Ной,  
Все потерявший полномочья.

## ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Во мне какой-то детский лепет  
Свечой рождественской горит.  
Ночь на окно снежинки лепит  
И всё запутать норовит.

А детский лепет всё заметит,  
Расставит на свои места.  
Свеча горит и мерно светит  
В ночи бессонной неспроста.

Слова горят, пылают, тлеют,  
Перелопачивают плоть,  
Свеча рождественская греет,  
Пытаясь холод побороть.

И всё такой же детский лепет  
Опять рождается во мне.  
Ночь. На окне снежинок трепет.  
Свеча с душою наравне.

### ОБ АВТОРЕ

---

---

---

---

*Борис Зверев* родился в 1965-м, москвич, с 1993-го живет в США (Бостон). Занимается финансами в частной фирме.

Увлекается поэзией. Выпустил три книги малым тиражом. Его главные темы — любовь, смерть и божественность жизни, какой бы незатейливой или трагичной она ни была. Большинство стихов так или иначе перекликаются с философией. Немало стихов о самих стихах — непрекращающиеся попытки приоткрыть завесу тайны над процессом творчества.

Светлана КАБАНОВА  
**ИЗБРАННОЕ**

---

**КУКУШКА**

Говорят — она мудра не по летам,  
Те, кто в небе синееком с ней летал,  
Говорят — она хитра не по годам,  
Те, кто душу в ней кукушки угадал.

Платье пёстрое с заплатой на боку,  
Годы тикают под тихое «ку-ку»,  
Спит подкидыш в завоёванном гнезде,  
Где же мать его? А справедливость где?

Жизнь продолжить, подарить или сломать?  
Кто виновен — кукушонок или мать?  
Род кукушкин от семейного гнезда  
Отлучила прорицателя звезда.

На рассвете заливайся, соловей,  
А под вечер предоставим соло ей,  
Будет бедная стонать и куковать:  
— Какова цена прощенья, какова?

Часовщик опальным вечером хмельным  
Прикрепил кукушку к ходикам стенным.  
Дом с пружиной или воли благодать?  
Я могу тебе, кукушка, погадать!



## НОЯБРЬ

Простуженный ноябрь,  
ван-гоговский пейзаж,  
на лицах скромных яблонь  
сакральный макияж.

Зачем, ноябрь, вишням  
седой играешь блюз?  
Какой орнамент вышит  
на рукавах их блуз?

Не разрывай рябине  
рябой шершавый плед,  
на ягодном рубине  
рассвет оставил след.

Хрустит ледок капризный,  
как крепдешин листвы,  
Зимы продрогший призрак  
касается травы.

Загадочный ноябрь,  
апреля антипод,  
как окна Скотланд-Ярда,  
белеет твой живот.

Ищи свою принцессу,  
ноябрь — рыжещёк,  
туман висит над лесом,  
не опытный ещё.

## ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Тёмно-зелёный на пёстрый —  
закономерная линька,  
травы желтеют, а звёзды  
осень засыпали синькой.

Ждут перелётного ветра  
птицы в цепях паутины,  
чибиса шляпка из фетра —  
клад для Шанели витрины.

Солнце лукавит спросонья,  
капля лужайку отмыла,  
смолы кудрявые сосны  
не перепутали с мылом.

Перекликаются с небом  
пыль и забытые листья,  
пруд в полудрёме и неге  
с пылью и листьями слился.

Лгут синеокие звёзды,  
нет, не срывает с их тела  
тополь верхушкой блёстки.  
Блёстки сбегают с метелью!

Новорождённых снежинок  
хруст непривычен резине,  
хитрость осенних ужимок  
строгостью сменится зимней.

## МАЛИНОВЫЙ ПЛАТОК

Малиновый платок,  
прозрачный, неподвижный,  
свернулся как листок,  
в усталом ноябре.

А ведь когда-то мог  
быть ярче ты, чем вишня,  
нахальным лоскутом  
предшествуя заре.

Малиновый платок,  
упрямый и безумный,  
о танцах при свечах  
подробней расскажи.  
Вуалью и кнутом  
ты был на пире шумном,  
все пели, ты молчал.

Всё в прошлом, не дрожи.

Ты был всегда красив,  
повязанный наискось,  
из рук ты выпал лишь  
в кромешной темноте,  
а после, попросив  
прощения, актриса  
взяла тебя в Париж.

Ты этого хотел?

Так что же загрустил  
малиновый обманщик,  
какой лиловый шарф  
путь перегородил?  
Актрисе ты простил,  
тебя нашел шарманщик:  
«Париж, О ревуар!»

Кого ты нарядил?

### МОЙ АНТИПОД

Опять мой антипод,  
Глашатай зла кусачий,  
Повестку спрятал под  
Седло у старой клячи.

Мой следователь груб,  
Придирчив беспредельно,

Среди повесток груд  
Моя лежит отдельно.

Не тратьтесь на конвой —  
Сама приду коль звали,  
Мой антипод — слепой  
С открытыми глазами.

Куда же поведёт  
Слепой меня в потёмках?  
Свет, если повезёт,  
На выходе найдём мы.

Мой антипод, прощай,  
Ты — тьмы бутон,  
Я — Света,  
Подследственным плащом  
укутана планета.

Найти свой день и дом —  
Нелёгкая задача.  
Сжевала с лепестком  
Повестку утром кляча.

Галопом мы рассвет  
Встречать поскачем яркий,  
А после на росе  
Разбалаганим арку.

О чудо! Антипод  
Мой стал у арки края,  
Надеюсь, он дойдёт  
Быстрее меня до рая.

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

*Светлана Кабанова — поэт, ученый, переводчик, популяризатор науки. Родилась в Минске, закончила биологический факультет Белорусского Государственного университета. Кандидат биологических наук. С 1996-го года проживает в Дюссельдорфе (Германия).*

*Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат международных поэтических конкурсов. Обладатель приза зрительских симпатий международного конкурса «Золотое Перо Руси-2015».*

*Публикуется в периодических изданиях Европы, США, Австралии.*

## Джейкоб ЛЕВИН НОГТИ ВОЖДЯ

---

*Господь долго искал народ,  
заслуживающий Сталина,  
и, наконец, он его нашёл.*

**В** 1949-м семидесятилетний Сталин почувствовал, что стричь ногти на ногах ему стало трудно. Прежде он сам кое-как справлялся, но теперь... Конечно, найти нужного человека для этой работы несложно, но дело было в другом: во всем мире, кроме его матери, считанные люди видели босые ноги вождя.

Первый раз это случилось ещё до революции, в ссылке, в Туруханском крае, в селе Курейка. Четырнадцатилетняя девочка Лидия Перелыгина, которой Сталин пообещал, что непременно женится на ней, увидела его загнутые книзу ястребиные ногти. Когда же она посмотрела на его ступни, то обмерла от суеверного страха. Второй и третий пальцы на его левой ноге были сросшимися. С той поры девочку посетила какая-то византийская мудрость, и она никогда и никому об этом не рассказывала.

По статистике такая мутация случается довольно редко: один раз на три тысячи новорождённых. В медицине такое явление называется «синдактилией».

Но в русском народе два сросшихся на ногах пальца считаются бевсовской приметой. Эти пальцы были жгучей тайной вождя. Правда, у Сталина были и другие физические недостатки, спрятать которые было невозможно — сухая рука и лицо, побитое оспой... С ними он ничего поделать не мог.

Последней, кто на исходе его жизни увидел сросшиеся пальцы, была кунцевская сестра-хозяйка, сержант госбезопасности Валентина Истомина. К этому времени она уже была тайной любовницей вождя, и с ней он ничего делать не захотел.

Сам Сталин всю жизнь очень разумно держал факт своего уродства в тайне. Он и без того знал, как враги ненавидят его и что думают о нём. Ему об этом постоянно докладывали. Отмыться от обвинения в бесовстве с такими пальцами он бы не смог никогда. Он знал свой суеверный народ...

Таким образом, с возрастом проблема стрижки ногтей стала для Сталина архиважной.

Когда подозрительность вождя зашкаливала и становилась невыносимой для него настолько, что лекарства из кремлёвской аптеки он выбрасывал в унитаз, а пузырьки от них заполнял купленными в деревенских аптеках таблетками, то начальник охраны Власик знал: вождю срочно требуется кровь. Знал не только он один. И выстрелы в подвалах НКВД по ночам звучали с новой силой.

Для стрижки ногтей на ногах Сталин присматривался к мужу сестры-хозяйки Валентины Истоминой, своей любовницы. Мужа ее Ивана уже давно пора было расстрелять. Иван был хитёр, прикидывался дурачком и делал вид, будто ничего за своей женой не замечает. Но Сталин не спешил. Никуда Иван от него не денется.

Конечно, Иван унесёт память о сросшихся пальцах с собою в могилу. Когда новые ногти вождя отрастут, можно будет подыскать другого «стригалея» из охраны. Потом и этого можно будет отправить на расстрельный полигон «Коммунарка». Так думал Сталин. Когда после смерти его будут обмывать, правда откроется всем... Но ему будет уже всё равно. И потом — когда это ещё будет...

«Après moi le deluge!» — после меня хоть потоп, — эту пословицу Людовика XV любил повторять про себя Сталин.

Пусть лукавые разговоры о том, что вождя заботило мнение потомков, останутся на совести партийных историков. Безжалостно уничтожавшему миллионы людей это было безразлично. В Бога он не верил и глупцом не был.

Поэтому, когда Сталин спросил мужа своей экономки: «Не мешают ли тебе ногти, Ванюшня? Целый день ходишь в сапогах. Тижало...», Истомин не на шутку всполошился. Он понимал, что вождь не начнёт такого разговора без причины. Сталин всегда начинал издалека. На военного партработника повеяло могильным холодом...

В России много лет назад сложились традиции такой обуви как сапоги. Поскольку грязь и отсутствие дорог в стране были явлением историческим, повсеместным и постоянным, сапоги, а вместе с ними

и портянки, стали при Петре Первом важнейшей частью одежды солдат, офицеров, генералов, вельмож и даже русского императора. А это значит, и всех, кто не носил онучи и лапти. Сегодня трудно представить императора, который наматывает на ноги портянки и ходит в них. Но фланелевые портянки — единственное, что можно носить с сапогами. Носки, которых, кстати, в России тогда не изготавливали, этого не выдерживали. В «Табели о Рангах» значилось, что вельможи могут ходить в сапогах из сафьяна или из кожи шевро, если им заблагорассудится, а офицерам полагалась хромовая кожа. Солдатам и простым людям — яловые сапоги. Позже эти сапоги для простолюдинов заменили на кирзовые, голенища которых вообще были не из кожи.

Приближенный к Сталину Карл Паукер знал о сапогах всё, поскольку в прошлом был бравым фельдфебелем австро-венгерской армии, обладал энергией, выправкой и сообразительностью в объёме, необходимом для исполнения желаний вождя. Сталин при его росте в 163 см всегда носил дополнительные набойки, чтобы казаться выше. Когда деятельный и смекалистый Паукер возвысился и ему было разрешено чистить сапоги вождя, он обратил особое внимание на эти набойки. Результатом явилась новая конструкция сапог — специально для Сталина, где каблук был выше на добрых три сантиметра не только снаружи под пяткой, но и внутри сапога. Высокие задники сапог прекрасно скрывали эту хитрость. В итоге на груди Карла Паукера в 1932 году появился второй орден Красного Знамени.

Ивану Истомину в то далёкое время было шестнадцать лет, и он всего этого не знал. Но много позже, в 1952 году, когда его супруга уже давно работала у Сталина, он был приглашён вместе с ней на предновогодний вечер. Там он познакомился с бывшим кунцевским сапожником, ныне пенсионером, младшим лейтенантом госбезопасности Рашупкиным. Сапожник хорошо знал некогда всесильного комиссара второго ранга Паукера и в свое время выполнил его заказ для Сталина. У Сталина была отличная память: на предновогоднем вечере он узнал сапожника и подошёл к нему с бокалом вина в руке.

Технология пошива сапог во всем мире одинакова и начинается она со снятия мерки. Тот, для кого тачают сапоги, становится на чистый лист бумаги, и сапожник обводит карандашом его ступни. С этого начинается процедура пошива любых сапог. Не избежал этого и Сталин. Но мерку с его босых ног снимал начальник охраны. Он знал о ногах вождя всё. А сапожнику передали только приказ вождя пошить сапо-



ги. Вышли они хоть куда! После этого Сталин распорядился арестовать Паукера. Оставлять его в живых было нельзя. 14 августа 1937 года Паукера расстреляли как английского шпиона или что-то в этом роде. Возможно, Хозяин поторопился. Угодливый Паукер был очень хорош на своём месте. Давно это было...

Теперь, на предновогоднем вечере, подойдя к сапожнику с бокалом вина «Хванчкара» в руке, Сталин тихо спросил:

— Ты для меня шил сапаги?

— Да, товарищ Сталин.

— Спасибо тебе. Я эти сапаги только на праздники адиваю и парад в них принимаю. Живёшь далеко от Кунцева? Приходи ко мне на День Красной Армии, дарагой. Ты афицер? Сколько лет тебе уже типерь?

— Скоро восемьдесят, товарищ Сталин.

— Приходи, дарагой, банкет будит.

Больше сапожника никто не видел...

Ушлый Иван Истомин стоял тогда в стороне, но крепко всё это запомнил. Теперь ему нужно было во что бы то ни стало избежать стрижки ногтей вождя, чтобы не попасть в число знающих страшную тайну, о которой под страшным секретом поведала ему жена Валентина...

Иначе думал об этом Сталин.

Тем временем ногти на его ногах росли, и наступило время, когда однажды, слегка утомлённый любовной возней с Валентиной, он, уже отходя ко сну, спросил у нее:

— Вальюшя, твой муж хароший мушчина. Не помог бы он мне на ногах ногти постричь? Старый я стал, спина не гнётся.

— Ой, что ты, Иосиф! — Валя не на шутку испугалась. — Да он прямую линию мелом провести не может! Куда ему твои ногти стричь?!

Одна стрижка ногтей — одна тайна, одна тайна — одна жизнь...

То, что Валентина спала с вождём, было семейным делом Истоминных. От Ивана требовалось только одно: притворяться, что он этого не знает и не понимает. Ему нужно было казаться идиотом.

— Как дела, Ваньюшя? — спрашивал его Сталин. — Как в отпуск съездил? Как жизнь в деревне? Старых подружек встречал?

— Встречал, товарищ Сталин, всех своих одноклассниц из клуба домой провожал и всех перецеловал! Только Валюше меня не выдавайте!

Сталин прекрасно понимал, что Иван врёт, чтобы казаться простаком, но пока злой ревности в его глазах не видно, пускай поживёт.

«Не иначе как с Вальюшей договорился. Хитрая семейка! Вот пострижёт мои ногти, тогда и посмотрю, что с ним делать, дать ему ещё один шанс или расстрелять», — думал вождь.

Но Иван Истомин увиливал от стрижки ногтей Сталина и по-прежнему делал это весьма хитро.

Последнее время Сталин справлялся:

— Когда Ванюшня в Кунцево приедет?

— Сейчас запой у него, Иосиф, — отвечала Валентина.

Запой был единственной причиной, которую вождь считал уважительной, поскольку запой не вызывал у него подозрений.

В это время Иван Истомин мучительно думал, как бы ему вернуться от следующего августейшего напоминания.

— Пачему Ванюшня так долго не приходит и тебя с дежурства не встречает? — сидя на постели и разглядывая свои орлиные ногти на ногах, спрашивал Сталин. В это время сестра-хозяйка растирала кремом «Нивея» его сухие бескровные ступни.

— А чёрт его ведает, почему он не приходит! Крёстная вроде у него померла в деревне, — безразлично отвечала Валентина.

В это время Иван Истомин с пустым чемоданом околачивался на Павелецком вокзале, будто бы ожидая поезда в деревню...

Ногти Вождя тем временем росли, и наступил день, когда он просто приказал Истоминой:

— Всё, Вальюшня, завтра пусть Иван будет здесь. Ногти уже портянки рвут.

На другой день Иван Истомин, только что остригший ногти вождя и охваченный неизбывной тоской, стоял у дверей зелёного особняка кунцевской дачи. Он ждал машину с водителем, который должен был отвезти его домой. Ему хотелось сесть в эту машину и ехать, ехать, ехать — всё равно куда... Куда глаза глядят... И потом забиться в землянку где-нибудь в медвежьем углу. Свежий вечерний январский морозец щипал его щёки и склеивал ноздри. Что будет теперь? Убьёт ли грузин его сразу или позволит остричь ногти ещё раз? Но если Валька вступится за него, грузин взревнует, и расстрела Ивану не миновать... Да! Велика Россия, а не скроешься никуда!

Вот уже целый месяц прошёл как дурной сон, а Иван ни разу не понадобился Сталину. Может, ему работа не понравилась? Но тогда бы

Ивана арестовали. А может, просто новые ногти на ногах Сталина ещё не выросли? А может, он нашёл другого «стригалья»? А может, Вальку жалеет?

Она тоже недоумевала...

Ожидание обернулось пыткой. Иногда Ивану казалось, что уж лучше пусть его арестуют, и будь что будет, но лишь бы всё уже разрешилось.

Он решил заявиться к супруге прямо на кухню, чтобы, возможно, попасться вождю на глаза. Пропуск у него был с красной полосой — постоянный. По дороге на кухню ему встретились полковник Новик и помощник коменданта Лузгачёв.

— Валентину ищешь? — спросил Лузгачёв.

— Да, ищу.

— Я её домой отпустил, — сказал начальник охраны Новик.

В это время из трапезной вышел вождь и молча прошёл мимо Новика, Лузгачева и Ивана. Новик и Лузгачёв вытянулись по стойке «смирно». Вдруг он обернулся и сказал им:

— Вольно, идите.

Те мгновенно исчезли.

— А ты, Ванюшя, 27 февраля вечером приходи в парилку, я буду там. Возьмёшь инструмент, ногти будем стричь.

Когда работа по очередной стрижке ногтей была закончена, Сталин опустил ноги в тазик и сказал:

— Хороший ты человек, Ванюшя, только зачем переводил с английского на русский Фультонскую речь Черчилля? С кем ты? С нами или с поджигателями войны?

— Помилуйте, товарищ Сталин! Я английского языка-то не знаю!

— Это будут решать органы. А теперь иди домой. Ты лучше всех ногти стрижёшь.

Вождь набросил на плечи влажную простыню и откинулся на кожаную спинку кресла, показав этим, что разговор окончен.

Весь следующий день Иван Истомин просидел в непонятном оцепенении. Лишь к вечеру он собрал на всякий случай необходимые вещи. Мыльницу с мылом, безопасную бритву, помазок, папиросы «Казбек» для вертухаев... Взял завернутый в марлю кусок сала. Он почему-то не верил, что его вот так просто можно взять и отвезти в Бутово или на «Коммунарку» и там расстрелять. Но Сталин ни с кем не шутил.

Ночью, под утро, с дежурства приехала Валентина и тихо запричитала:

— Вспомнил о тебе всё-таки!..

На рассвете в дверь позвонили:

— Открывайте, МВД!

Сердце Ивана остановилось.

— Входите. Я готов.

Когда конвоиры выводили его из квартиры, он остановился у дверей и оторвал листок от висящего на стене отрывного календаря.

На следующем листке была дата 1 марта 1953 года.

В тот момент он отчётливо понял, что стриг ногти Сталина в последний раз...

Но Сталин не знал, что Иван Истомин стриг его ногти в последний раз, потому что в это время лежал без движений в луже мочи на полу спальни кунцевской дачи...

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

*Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его художественных произведений — Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.*

*Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в нью-йоркском сабвее», «Encounter in the New York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.*

*Джейкоб Левин — постоянный автор журнала «Времена».*

Ольга КУЧКИНА  
**ВИШНЕВЫЙ САД**

---

**О**н больше не мог.  
Они его достали.  
Эти две тетки, две бывших любимых женщины, удобно расположившиеся на его шее. Тетки были полководцы. В бой они посылали свои войска, каковыми являлись их адвокаты. Усилиями последних бракоразводный процесс длился не первый год, а все конца-края не видать.

Накануне они страшно поссорились, он и его последняя жена.

Началось с пустяка. Она перемеривала наряды для завтрашнего концерта и ни на одном не могла остановиться.

— Видишь, милая, значит, не судьба, — мягко проговорил он, пытаясь застегнуть сзади молнию на последнем наряде, на котором она, кажется, остановилась.

Ее дико раздражало это его серьезное отношение к знакам судьбы, самым пустяшным, на которые нормальный мужик вовсе не должен был реагировать. Он не хотел, чтобы она шла на концерт, и подыскивал аргументы, чтобы она оставалась дома.

— Нервы ни к черту!.. — Не рассчитав сил, дрожащими руками он дернул за молнию, в молнию попал кусочек ткани — ткань порвалась.

Платье алого шелка, в пол по фигуре, на самом деле было очень красиво.

— Ну вот, теперь мне не в чем идти!.. — зарыдала она.

— Как будто у тебя оно одно-единственное!.. Надень другое!..

— Сволочь!.. Тебе ничего не жалко!.. Я хочу это, а не какое-то другое!..

Градус ссоры повышался с невероятной быстротой.

— Если бы у тебя были волосы на голове, я с удовольствием вцепился бы в них! — прошипел он.

— Видишь, как я была предусмотрительна!.. — с сатанинским смехом отвечала она.

— В смысле?

— В смысле, что обрила голову...

Она была не первая его жена. Первая была милая, трогательная, смотревшая ему в рот. Она умерла через два года после свадьбы. Вторая — родившая ему двоих детей, гордая грузинка, забрав мальчишек, ушла от него к известному артисту, когда узнала, что муж ей изменил. Сгодились как благородное отношение к ней артиста, так и наличие охраны, примерно такой же, к какой она привыкла. Третья жена была вот эта, умница, красавица, выдумщица, матерщинница, светская львица, скандалистка, профи. Ее интервью вызывали неизменный интерес как у широкого читателя, так и у интеллектуалов. Она пришла к нему брать интервью, на которое он долгое время не соглашался, говоря, что не собирается никому открывать свою душу, а ничто иное публику не интересует, но потом вдруг согласился, и она пришла в его московскую квартиру и осталась на ночь, в то время, как женщина, бывшая в то время его женой, проводила время с двумя мальчишками-погодками по соседству.

Дача была новенькая, с иголочки. Хоромы. Тогда все они понастроили себе хоромы, обустроиваясь всяк на свой манер, хотя манер выходил примерно такой же, как у соседа, поскольку опыта индивидуального строительства ни у кого из них не имелось.

Если бы нужно было сказать в одном слове, чем занимались эти умники в раннюю пору своей жизни, это слово было бы: *пили*. Они разом бросили свое увлекательное занятие, как только оказались востребованы в самых высоких кругах.

Их называли *гарвардские мальчики*. Не потому, что они отучились в Гарварде. Но они туда ездили. Еще у них было кодовое прозвище: *младореформаторы*. Архитектор перестройки посоветовал главному прорабу перестройки набрать молодых советников, американистов, японистов, китаистов, заменив ими бесплодное старичье, больше озабоченное состоянием предстательной железы, нежели состоянием гнивающей страны. По коридорам ЦК бродили люди не старше тридцати, со свежими мозгами, в джинсах и свитерах с растянутыми рукавами, ничуть не тушуясь перед важными стариками в одинаковых серых костюмах, вернувшиеся из зарубежных поездок, куда ездили — из

социалистического-то лагеря! — за капиталистическим опытом. Разница между тем и другим потрясала. Коротко говоря, тамошние люди жили по-человечески в то время, как наших голоштанников который десяток лет кормили обещаниями, что еще немного, еще чуть-чуть, и они станут жить при коммунизме.

Он не носил ни джинсов, ни свитеров с растянутыми рукавами. Его *фишка* заключалась в безупречных костюмах-тройках, по преимуществу темно-синего цвета, белоснежных рубашках, бабочках и шелковых платках в верхнем кармашке пиджака. Кто занимался его гардеробом, публика не ведала и была бы крайне изумлена, узнав, что он сам. То был его род хобби. Как бы поздно ни приходил он домой, он не ложился спать, пока не приготовит себе одежду для выхода назавтра. Его одежда была его способом закрыться от людей, контакты с которыми волей обстоятельств переполняли его существование. От вопросов, которые он решал, зависели не только частные судьбы — зависели направления, по которым пойдет медиа, а, в конечном, счете, страна. Надо было поднять и перевернуть этого чудовищно тяжелого Левиафана, чтобы поставить его на новые рельсы — политические, общественные, экономические, культурные, медийные, с подлинными, а не фальшивыми свободами.

Была и еще причина, заставлявшая его отдаваться такому, казалось бы, странному занятию. В это время он размышлял. Он размышлял над событиями минувшего дня, над допущенными ошибками, перебирал удачные и неудачные решения, анализировал сложившуюся ситуацию. А главное — обмозговывал план последующих действий, в чем был особенно силен.

А тогда утром, столкнувшись с ней в редакции перестроечного тонкого журнала, он, глянув на нее, тихо спросил, потрясенный:

— Зачем вы это сделали? У вас были такие роскошные волосы!..

— Должна же я была оповестить мир о моей победе над вами!..

Согласно мужской моде того времени, он ходил с бритой налысо головой. У него был хорошей лепки череп, и не одна засматривалась на него в мечтах ласково погладить этот череп. Кто-то ограничивался мечтами. Не она. Она взяла и обрилась сама. Они сделались как два приятеля-подростка. Особенно со спины, с их узкими бедрами и широкими плечами, они смотрелись классно. Ему льстило, что такая тетка, как он называл всех женщин, столь серьезно запала на него.

Они стали вместе бывать на разного рода вечеринках, именуемых тусовками. Новояз той эпохи, бурно развиваясь, обнимал все стороны жизни. *Андеграунд, братки, беспредельщики, бизнес, благотворительность, ваучеры, инвестбанкиры, либералы и радикалы, мигранты и эмигранты, заложники, иностранные агенты, мажоры и лузеры, инвесторы и спонсоры, олигархи, оппозиционеры, пипл хавает, информационные и гибридные войны, криптовалюта и просто валюта, блоги, лайки, твиттеры, посты и перепосты, черная икра для заключенного киллера Быкова и черные шары для решившего выйти из большой игры паренька по фамилии Белых.* У всех на слуху были фамилии *Абрамовича, Березовского, Гусинского, Ходорковского, Гайдара, Чубайса, Эрнста, Малащенко, Пугачевой, Киркорова,* составлявшие элиту.

До второй жены, гордой грузинки, новость дошла сразу. В этих кругах фигурантов не щадили. Обязательно появлялись доброхоты, бравшие на себя долг открыть глаза несчастному или несчастной.

Вторая собирала вещи, по ходу дела объясняя мальчишкам, что произошло. Тактика, ею избранная, была верной. Сыновья, в сущности малые дети, оценили искренность матери, ощутив себя ее защитниками, и с первого же дня встали на ее сторону.

Не всем нравился его новый брак. Во всяком случае врач-гинеколог, которого им рекомендовали, чтобы помог решить проблему выкидышей, сказал как отрезал: *первым вашим шагом должно быть возвращение вам вашей женственности.* Пациентка, нимало не тушуясь, покрутила пальцем у виска — в присутствии врача! — и второго шага делать не стала.

Между тем, народившаяся между ним и его страной трещина быстро разрасталась. Он и его белокурый шеф, *белокурая бестия,* казалось бы, еще вчерашний дружбан, казалось бы, на равных, все меньше соглашались друг с другом. И дело было не в разных чертах характера, а в разных взглядах на пути России. Хотя и в разных чертах характера тоже.

Камнем преткновения служили *бабки. Бабки, бабки, бабло,* утренняя и вечерняя молитва *бабломана!* *Бабки* стали знаменем, целью, мериллом успеха, маркером удачной карьеры.

Сидели и пили коньяк в кабинете белокурого шефа. Был один из последних, если не самый последний вечерок, когда откровенность между ними была еще возможна. Дело шло к завинчиванию гаек, на



котором настаивали силовики. Шеф, самоочевидно, уже сделавший свой выбор, говорил негромко и раздумчиво:

— Боливар не выдержит двоих... надеюсь, ты помнишь Джека Лондона?

— Помню, только это О'Генри, а не Джек Лондон!..

Поправка вырвалась сама собой, он не успел ее удержать.

Белесые глаза шефа слегка потемнели, тонкие губы растянулись в тонкую улыбку.

— Некогда перечитать. Ты, небось, живешь в свое удовольствие, особенно учитывая новенькую жену. А тут как раб на галерах... — Шутка была в ходу. — Короче, выбирай по-любому. Хочешь, отправляйся на вольные хлеба. Хочешь, поезжай за границу. Короче, хозяин — барин.

Шеф высосал остатки коньяка.

— Неужели ты всерьез веришь, что завинчиванием гаек ты добьешься нужного результата?

Он сделал последнюю попытку, уже без всякой надежды, что бывший друг его услышит, а так, для очистки совести.

— А вот скоро увидим. И скорее, чем ты думаешь.

Шеф поднялся. Было видно его секундное колебание: обнять ли бывшего дружка или обойтись рукопожатием. Опережая шефа, он протянул тому руку. Вышло: я начальник, ты дурак.

Отвальную устроили поздней осенью.

Уже была куплена квартира в Париже и взят в аренду особняк в Лондоне в паре шагов от Кенсингтонских садов, частью которых можно было считать окаймляющий здание вишневы сад. Когда риэлтор упомянул о последнем, все другие варианты отпали сами собой.

Уезжали не навсегда, как это было с диссидентами. Собирались бывать и даже по-прежнему принимать некое участие в деятельности на благо страны, хотя шеф недвусмысленно отсекал такое участие. Его блестящие мозги больше были не нужны его стране — нечего себя обманывать. Но сейчас не хотелось думать о плохом.

Позвали самых-самых близких. Самых-самых набралась сотня человек. Затягиваясь длинной сигаретой, его третья, собрав подле себя кружок смотревших ей в рот, рассказывала, как она, начитанная, книжная девочка, впервые встретилась с прекрасным, то есть встретилась с мужским хозяйством, и, помнится, подумала: неужели

на этой маленькой штучке возросла вся мировая женская любовная лирика!

Народ смеялся.

Он — громче всех.

Он не скрывал своей гордости за нее.

Они уехали.

Первый год был похож на медовый месяц. Медовая сладость наполняла их будни. С ними охотно общались, они умели нравиться.

Скрытная гордость за партнера, однако, все чаще уступала место тому, что можно назвать досадой. Знак плюс все отчаяннее менялся на знак минус. Эта простенькая арифметика выражала то, что можно назвать охлаждением.

Ей делалось скучным их времяпрепровождение. Его умственная энергия, которая раньше требовалась для решения самых сложных задач, нынче, оставаясь недовостребованной, перегорала попусту.

И тогда начались их безумные ссоры.

Впрочем, говорят, что не ссорятся, когда не любят. Нет одного — нет и другого. Милые бранятся — только тешатся. Где та граница, переходить за которую более чем опасно?

Платье не стоило тех оскорблений, что они себе позволили.

Рыдая, она выкрикнула:

— Лузер!.. Ничтожество!..

Слово прозвучало. Пока оно не было произнесено, а лишь подразумевалось, можно было продолжать делать вид, что ничего страшного еще не случилось. Оно было как печать, которой нотариус заверяет пусть хоть какую угодно ничтожную бумажку.

Нотариус — судьба.

Он развернулся и со всей силы ударил ее по лицу, так, что у нее пошла кровь.

Они оба переступили порог.

С утра у него сильно болела голова. Взял таблетку аспирина, залил перрье. Немного полегчало. В этом доме снова пили.

Взял смартфон, глянул на экран. Прочитал эсэмэску: *я у Ритки она обещала все поправить ланч с ней*. Рита — подруга и портниха. Судьба была благосклонна к нему.

Натянул старые домашние джинсы. Его третья неизменно проводила тщательные инспекции его гардероба, делая свои выводы. Послал ей эсэмеску: *пойду прогуляться башка раскалывается*. Обеспечив себе таким образом алиби, вышел на улицу.

Его мальчики, его принцы, его наследники были здесь.

Они были в Париже.

И был реальный шанс встретиться с ними.

Париж — большая деревня. Москва слишком велика, чтобы в ней не разминуться.

Его третья решительно возражала, чтобы дети виделись с отцом, и хитроумный адвокат заложил этот тезис условием развода, с которым талантливо тянул уже три года.

Прошел дождь, и нежные мельчайшие частицы воды странного лилового цвета висели в воздухе, создавая подобие лилового занавеса.

По Сене прошел кораблик, там играла музыка, хотя палубы были пусты в этот час. Обычно ему нравилась эта музыка воды — сейчас она показалась ему вульгарной и претенциозной.

Он двигался в сторону российского посольства, стараясь справиться с волнением, овладевавшим им все больше по мере приближения к цели.

Три дня назад из посольства пришло приглашение на концерт, который давал молодежный оркестр, приехавший на гастроли из Москвы. *ММ, Молодая Москва*. Его мальчики, его принцы, его наследники, которых он не видел три года, были в составе оркестра. Старший — скрипач, младший — флейтист.

Выступление в посольстве было назначено на завтра. На сегодня назначена репетиция, и так было даже лучше.

У него пересохло в горле. Он присел за столик в уличном кафе, попросил кофе и рюмку коньяка, подождал, когда спиртное начнет действовать. Спиртное подействовало моментально. И ему захорошело. Пришла эсэмеска: *Я знаю куда ты смылся*. Безобидная строчка содержала в себе скрытую угрозу. По крайней мере, он так ее воспринял и не был неправ. Попросил официанта повторить. Затем еще. И еще. Голова прошла. Он расплатился с официантом, оставив ему щедрые чаевые.

Лиловый туман рассеялся — он был у входа в посольство. И только миновав его, сообразил, что у него нет того, чем он всегда был силен: плана действий. Он растерялся, но не поворачивать же назад.

Он на цыпочках входил в зал, когда музыканты уже расселись по своим местам, а на авансцене стояли два мальчугана, два юных красавца, два принца, два его сына.

У него сильно забилося сердце.

Оркестр был в затрапезе. В праздничное черно-белое он переоденется завтра. Так полагается. Он обрадовался, что тоже был в затрапезе. Раньше он выеживался, желая быть не как все, и это у него получилось. Теперь он желал быть, как все, и это у него тоже получилось.

Он оглядел зал. Известный артист тоже был здесь. И конечно, она, мать его детей. Как она похудела! Темные очки скрывали опустившуюся кожу ее лица. Ну значит, и он постарел так же. Самому не видно. Но все это теперь не имело никакого значения.

— *Литературно-музыкальная композиция «Гамлет». Исполняется впервые*, — звонко проговорил скрипач.

Дирижер взмахнул палочкой и зазвучала увертюра-фантазия «Гамлет» Чайковского.

— *«Гул затих»*, — глухо проговорил флейтист. — *«Я вышел на подмости»*.

— *Я что-то не понял*, — сказал скрипач.

— *Борис Пастернак. «Гамлет»*, — сказал флейтист. — Или ты хочешь Шекспира? Хорошо. *«Вот флейта»*. — Он протянул инструмент скрипачу. — *«Сыграйте на ней что-нибудь»*.

Мальчики умело разыгрывали шекспировскую пьеску на двоих. Один читал за Гамлета, другой — за Гильденстерна.

— *Принц, я не умею.*

— *Пожалуйста.*

— *Уверяю вас, я не умею.*

— *Но я прошу вас.*

— *Но я не знаю, как за это взяться.*

— *Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдуйте ртом воздух, и из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны.*

Оркестр заиграл громче.

— *Но я не знаю, как ими пользоваться. У меня ничего не выйдет. Я не учился.*

— *Смотрите же, с какой грязью вы меня смешили. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто*

*все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж, вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя.*

Скрипки взмыли вверх.

Публика, присутствующая в зале и состоящая из пап и мам, захлопала в ладоши.

Слезы текли по его щекам, он их не замечал.

Он держал в дрожащих руках отксеренную программку: там, где должна была стоять фамилия его сыновей, читавших за Гамлета и Гильденстерна, стояла фамилия известного артиста.

Она лишила детей их родных фамилий.

Третья жена ворвалась на территорию посольства разъяренной фурией. Охранники рванулись за ней. Хорошо, культурный атташе, стоявший у входа, хорошо знал незваную гостью, — иначе был бы скандал. Мчавшаяся за ней Ритка наступила острым каблучком на подол собственного платья — материя затрещала, Ритка осталась как бы в шелковых шортах. Это ее не смутило. Она рассмеялась. Ее подруга тоже рассмеялась, схватилась за свой подол и с силой рванула на себя. Теперь одна была в шортах, вторая — в рваной мини-юбке.

«Эти богачки совсем с ума спятили!..» — негромко переговаривалась между собой добропорядочная публика, довольная тем, что довелось присутствовать при выходке этих хулиганок. Будет что рассказать друзьям и знакомым.

Известный артист поправлял джинсы и свитерки ребятишек, одновременно делая им какие-то замечания, вероятнее всего, по поводу только что исполненного фрагмента. Те рассеянно слушали его, не отрывая глаз от экстравагантных тетенок. Между тем, тетеньки решительно двигались в их сторону.

Та, что была в укороченной юбке, больно схватила старшего мальчика за руку.

— Ничего не бойся, — обратилась к нему тетенька. — Я не собираюсь причинять тебе вреда. Я только хочу, чтобы ты поздоровался с твоим папой. Ты хочешь поздороваться с папой?

Тот молчал.

— Повторяю: хочешь ли ты поздороваться с папой?

— Вы же видите, что нет, он не хочет, — сказал известный артист.

— Пусть он сам скажет, — потребовала тетенька.

— Не хочу, — низко опустив голову, произнес мальчик.

Эта же процедура была произведена с другим мальчиком.

— Не хочу, — помотал тот отрицательно головой и умчался за кулисы.

Был объявлен перерыв.

Третья жена пошла искать мужа. Он нигде не отыскивался.

Она нашла его почему-то в женском туалете, он смотрел пустым взглядом в пустое пространство перед собой. Это было какое-то запредельное одиночество, из которого не было выхода.

Она опустилась перед ним на колени и заговорила, яростно и сбивчиво:

— Прости!.. Прости!.. Я не хотела... Я хотела только... Прости!.. Ради Бога, прости!.. Я же люблю тебя!!!.. Прости!..

— Бог простит, — сказал он откуда-то издалека, где не было места для них двоих — только для него одного.

Чувство чужести жизни вытеснило в нем все остальное.

В этой уборной их и обнаружила Ритка.

— Что вы тут делаете?!.. Я ищу-ищу... Поехали, я вас подвезу. Вам тут нечего больше делать.

Она привезла друзей в их дом, смешно объяснив:

— Вас нельзя сейчас оставлять одних...

Она открыла шкафчик, достала три стакана и непочатую бутылку виски.

— Я пойду спать, — объявила третья жена, — а вы еще посидите.

Достав с полки свежий халат, она протянула его Ритке:— На... переоденься... Что ты в этой рванине...

Все ее движения были абсолютно точными, как будто она не была смертельно пьяна.

После этого она, держась за стенку, пробралась в спальню, было слышно, как она рухнула там на кровать, и все затихло.

— Рит, а полетели в Лондон со мной! — обратился он с предложением к подруге, откупоривая бутылку.

— Какой Лондон, ты посмотри на себя!.. — засмеялась Ритка.

— У меня там деловая встреча... Щас высвистим секретаршу Танечку и полетим.

Он нажал кнопку на смартфоне.

Там ответили: *слушаю*.

— Танечка, у меня нарисовалась деловая встреча в Лондоне, скажи, чтобы готовили самолет. Вылет через три часа.

Голос ответил: *будет сделано*.

Он отключился.

— Ну что, летишь со мной? — повторил он свое предложение.

— А ты представь себе, как твоя жена будет перегрызать нам глотки, когда до нее дойдут слухи о нашем полете!

Он засмеялся.

— Ладно, ты права. Значит не судьба. Пойду приму душ и переоденусь.

Он встал, сделал пару шагов к дверям, но в дверях остановился и медленно проговорил: — Береги себя, детка.

— А ты себя! — Ритка прощально помахала ему рукой.

Его нашли утром повесившимся в вишневом саду. Он был облачен в свой лучший костюм-тройку.

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

**Ольга Кучкина** — известный журналист, писатель. Многие годы была обозревателем газеты «Комсомольская правда».

Издала более 25 книг. Автор нескольких пьес, которые шли на сценах театров России, США, Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии.

Проза, пьесы, стихи публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Нева», «Континент», «Арион» и др. Отмечена рядом премий.

Недавно увидел свет «Трансатлантический @ роман, или Любовь на удаленке», написанный Ольгой Кучкиной совместно с мужем, известным переводчиком с итальянского Валерием Николаевым.

Постоянный автор нашего журнала.

Татьяна ШЕРЕМЕТЕВА  
**КРОЛИК, БЕГИ!**

---

*РУССКАЯ ВЕРСИЯ*

1

**Х**отелось спать, есть и в туалет одновременно. Так бывает. И обычно — в самый неподходящий момент. Но отлучиться было сложно: очередь в коридоре была здоровенная.

— Господи, ну, приходили бы они, эти сумасшедшие, днём, так нет, дружными рядами прутся в полночь.

Но сердиться некогда. То и дело в дверной проём просовывается чья-нибудь недовольная морда: или кошачья, или собачья. Физиономия же хозяина при входе в кабинет обычно имеет просительное выражение.

Хозяева, как их называет Рашида, присев на краешек стула, обнимают своё мохнатое сокровище, успокаивающе шепчут ему что-то в макушку и искательно заглядывают в глаза врачу.

Рашида работает в государственной ветеринарной лечебнице, или, как её называют, Станции по борьбе с болезнями животных — СББЖ.

С этими болезнями Рашида борется здесь уже двенадцать лет. Переманивали сто раз её в частные клиники, она там поработала недолго, а потом опять вернулась сюда, в эту дыру, где и поесть негде, и прилечь нельзя, и туалет такой, что лучше уж до дома дотерпеть, благо он рядом.

Здесь Рашида чувствует себя на своём, очень своём месте. Здесь ей не надо унижаться перед богатыми клиентами и работодателями. Здесь она самая главная, здесь её все слушаются — и звери, и люди. Даже главврач её побаивается. А когда идёт сложная операция, просит ему ассистировать.



Рашида людей не очень любит. Знает она им цену. Она любит вот этих: лохматых и ушастых, которые, поджав хвосты, приходят к ней по самым разным причинам. Кому прививка нужна, кому рану залечить, кому справка на выезд, кому — сделать самую грустную на свете операцию.

— И создал Бог каждой твари по паре, да ещё и сказал им, плодитесь, мол, и размножайтесь... Так, что ли... Они же действительно, дай им волю, будут так плодиться и размножаться, что мало не покажется.

Помнит Рашида операцию у «британки». Европейский призе́р, голубая красавица. А родить первый раз не смогла. Пришлось «кесарево» ей делать. Когда Рашида увидела, сколько там у неё, бедной, их в животе, глазам не поверила — девять. Розовые голые мышата.

«Британка» была обречена, она умирала. После операции Рашида всю ночь не отходила от неё, следила за сердцем, проверяла капельницу, колола ей лекарства из своего собственного НЗ. Государство о людях и то не думает, какие уж там кошки-собачки.

Сидела она тогда рядом с кошачьей капельницей, смотрела на истерзанное болью маленькое тельце, на полузакрытые умные кошачьи глаза и думала о себе. О своей жизни, о том, как несправедливо устроен мир.

Вот кошка: она измучена, и она умирает. Если умрёт, то умрут и котята. Все девять, Рашида это знает точно.

Для того, чтобы эти котята у неё появились, кошке просто понадобилось съездить в гости к котику. Пококетничать для порядка, потом подпустить к себе, потом — на десерт — треснуть ему лапой по большой простодушной морде.

А тот, мордатый, наверняка до сих пор не понимает, почему в самом конце вместо благодарности получает он каждый раз от своих дам лапой по физиономии.

— Это, — считает Рашида, — месть им, мужикам, за всех нас, женщин, и кошачьих, и человеческих.

И вот их целых девять. Если «британка» выживет, что вряд ли, будет она счастливой многодетной мамашей.

Вот если бы Рашиде Бог послал одного, только лишь одного ребёночка. Это было бы счастье. Но ребёночка нет. И счастья тоже нет. И уже не будет. Дома пусто и холодно. Есть работа, чужие кошки и собаки, а больше, в сущности, ничего.

У «британки» девять, а у неё — ни одного.

И всё же кошка выжила. Хозяйка плакала от радости и целовала Рашиду в плечо. Через три месяца подарила ей алиментного котёнка — самого лучшего. Котёнок был лобастый, с толстыми лапами и очень серьёзный. Рашида решила для приличия неделю подержать его у себя и вернуть по причине занятости и наличия соседей по коммунальной квартире.

Прошло полгода. Теперь Рашиде есть куда спешить, кого кормить, кого воспитывать. И спит она теперь тоже не одна: котёнка сколько угодно можно укладывать на его лежаночку, через пять минут он всё равно неслышно запрыгивает к ней на постель.

Громко сопя от переполняющих его чувств, он наступает лапами ей на грудь и начинает вылизывать ей лицо, потом шею. Язык у котёнка как наждак, Рашиде больно, она пытается увернуться и закрывается руками. Тогда котёнок начинает лизать её руки и от усердия всхлипывает. Рашида тихо смеётся, сотрясаясь всем своим большим, крепким телом.

Так происходит каждую ночь.

Рашида знает лучше, чем кто-либо, что это — баловство, что животное должно знать своё место, и она добросовестно пытается применить свои профессиональные знания в домашней обстановке, чего по-настоящему не удавалось сделать ещё ни одному врачу или педагогу.

Если котёнок не приходит к ней сразу, Рашида не засыпает и ждёт, когда же он запрыгнет. И когда он, наконец, приходит, чувствует такую радость, что тихо посылает все свои профессиональные знания куда подальше и начинает шептать котёнку самые нежные, неприличные для себя слова.

Всё, что накопилось за тридцать восемь лет её, несмотря на двух мужей, всегда одинокой жизни, что оказалось никому не нужным во взрослом человеческом мире, дарит она теперь котёнку. Ей стыдно в этом признаваться, она понимает, что так быть не должно, и поэтому никому об этом не рассказывает.

— Но ведь кто знает по-настоящему, что должно быть и как? А если она может сделать счастливым хотя бы это существо, а если она сама от этого счастлива?

Рашиде неудобно чувствовать себя в роли хозяев своих хвостатых пациентов, которых она всегда немного презирала за их глупую мни-

тельность и уязвимость. Теперь она понимает, что это любовь делает человека уязвимым. И мнительным.

Жизнь изменилась. Как эта малявка могла дарить ей столько тепла, Рашида не понимала. Но домой она теперь шла, торопясь и заранее радуясь.

Впереди ещё целая ночь на работе, и потом она вернётся к своему Бриташке-Чебурашке. Но это будет утром, а сейчас — разгар ночной смены.

— И сколько же в коридоре народу, черти их задери!

Это Рашида не со зла, она просто устала. Теперь граждане взяли моду своих козявок по всему миру с собой возить. А документы ведь не только за границу нужны, даже из города в город просто так не съездишь. Надо отдельный звериный билет брать, паспорт специальный иметь.

Вот и приходится кому шину на лапу накладывать, а для кого справку оформлять.

## 2

**Д**верь тихо зашевелилась, и послышался робкий полусшёпот:  
— Можно войти?  
— Можно. Ну, заходите же, чего стоите?

В ответ ещё тише:

— Спасибо...

На край исцарапанного многими когтями стула присело «существо». Аккуратно повесило на стул курточку, одёрнуло юбочку и положило на колени детскую котомочку с жёлтенькими цветочками по синенькому полю.

Всё, что касалось этой девушки, могло именоваться только с употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов. У неё был не рост, а росточек, не нос, а носик, не каблучки, а каблочки и т.д.

— Интересно, и как такие девушки на белом свете живут? Как они вот такими прозрачными ручками с детскими розовыми ноготками полы моют или картошку чистят? Как грядки на даче копают, как своего мужика, в конце концов, за толстую бурую шею обнимают? Бывают ведь такие бугаи, у которых шея аккурат как у неё талия.

Впрочем, такие не моют и не копают. И, скорее всего, никого не обнимают. Такие вот ничего лучшего придумать не могут, как припе-

реться глубокой ночью в кабинет к занятому человеку и разговоры ни о чём разговаривать.

У Рашиды пальцы короткие и сильные, ногти подстрижены в линеечку. И ноги её стройными тоже назвать нельзя. «Средние, в общем, ноги», как говорила всеми нелюбимая Людмила Прокофьевна. Зато сколько зверья Рашида этими неказистыми руками вылечила, выходила и к жизни вернула. Никакой маникюр в её работе невозможен, модельная обувь — тоже. Попробуй у операционного стола постоять на этих каблуках, попробуй с маникюром швы на кровавую рану наложить. Рашида давно уже с этим смирилась и любит себя такой, как есть.

Встала, сама закрыла за вошедшей девицей дверь. «Слава тебе, Господи, вроде никого уже нет, коридор пустой. Никто больше не тявкает, не мявкает, не мычит, не блеет».

— О чём говорить будем, а? Девушка? О странностях любви или как? Девушка, ау! С кем пришли, говорю? Я зверей лечу, а не людей, понятно говорю?

— Вот...

«Существо» осторожно погладило лежащую на коленях сумочку.

«Уйди, ну уйди поскорее! Поезжай домой или куда там ещё, только не сиди здесь!» — Рашида колдовать не умела, но сейчас, мысленно, старалась изо всех сил.

Хотелось поскорее выпроводить эту «ромашку» из кабинета и вернуть её куда-нибудь на ближайшее облако, по месту постоянной прописки.

Жёлтые цветочки по синему полю неожиданно зашевелились, из котомочки показался вздрагивающий нос и длинные уши.

Анечка была действительно «существо». Такое вот не очень счастливое существо тридцати восьми лет отроду. Рашида была неправа: с тяжёлой, в том числе и не женской, работой справлялась Анечка самостоятельно, поскольку помогать было уже некому.

Когда-то у неё были мама с папой и бабушка с бабушкой.

Когда-то отец работал в конструкторском бюро, мама преподавала русский язык для иностранных студентов, бабушка ходил в магазин за продуктами и, по выражению бабушки, «ругался с телевизором», а бабушка потихоньку вела их нехитрое хозяйство. Квартира была трёхкомнатная, но малогабаритная, с шестиметровой кухней, и в ней всегда было тесно.

Уже два года жила Аня вдвоём с бабушкой, и ровная тишина накрывала собой ставшие вдруг просторными комнаты.

Кровать, где спали родители, и дедушкин диванчик стояли, аккуратно застеленные уже раз и навсегда, и рвали сердце своей безупречной нетронутостью.

Жить было невозможно, но и умирать было нельзя, поэтому бабушка изо всех сил старалась если не жить, то хотя бы не умирать.

«Господи, как это тяжело...» — шепчет она по утрам, когда надо опять вставать и опять плести бесконечное кружево домашней работы.

Бабушка помнила войну, хоронила многократно и по-разному. Но не думала она, что напоследок жизнь её так придавит. Пережить дочку, мужа — за что это ей?

Болело сердце за Анечку. Она ведь так и осталась в своём, как называла это бабушка, «Детском мире». Книжки, книжки. Одни книжки кругом, ну теперь ещё эта чёртова машинка — компьютер. И работу нашла по себе: редактор в издательстве. Ещё корректором по совместительству подрабатывает. Вот так: всю жизнь про чужую жизнь читает и чужие ошибки исправляет. А на собственную жизнь и на собственные ошибки уже ни сил, ни времени не остаётся.

— Ань, ну что ты всё дома сидишь, как репа на грядке? Ну, пошла б хоть в театр, что ли... в галерею, или куда там вы сейчас ходите. На танцы... а? Ну в этот... ночной клуб?

Бабушке странно думать, что её внучка давно уже переросла и танцы, и даже ночные клубы.

— Бабуль, ну, какая я репа, я — морковка!

Анечка через силу улыбается. Настроение неважное, и больше всего хочется поскорее лечь спать и не думать о том, что было и что будет дальше — через два, четыре года или десять лет.

Почему у неё не получилось то, что легко и просто случается у любой хорошенькой восьмиклассницы? Почему её вежливо обходят стороной, почему она невидимкой идёт по улицам, мимо людей, которые, как те утки из старой песни на бабушкиной пластинке, «все парами»? И куда податься, как изменить свою жизнь?

На работе сплошь замужние женщины и пожилые отцы семейств, а молодые девчонки проводят время со своими «бойфрэндами», которые Ане от силы в племянники годятся.

## 3

Эти мысли мучают не только её. Бабушка специально уже и «Секс в большом городе» посмотрела. Всё вроде похоже, те же проблемы. Но у них худо-бедно хоть что-то получается, а у Ани жизнь между книжкой и компьютером завязла. Идти ей некуда и не с кем.

Бабушка вспоминает, как хорошо было в её молодости. По вечерам — обязательно музыка. После войны люди так радовались миру, так хотели заставить себя забыть всё. Как будто сговорились тогда: «У нас всё хорошо, а будет ещё лучше...»

До сих пор она не может спокойно слушать духовой оркестр. Как-то по-молодому начинает вспархивать сердце с «насиженного» за долгие годы жизни места, и перехватывает дыхание.

Она не умела танцевать. Не умела, но хорошо чувствовала музыку, и её всегда замечали. Никогда она не стояла у стенки, делая вид, что ей совершенно всё равно. Всегда танцевала и, если не приглашали мужчины, шла на круг, как все девчонки, с подружкой. С подружкой в паре вела всегда она, характер был такой. Но когда танцевала с мужчиной, была послушной и гибкой, мягко следовала за ним и с удовольствием ему подчинялась. И мужчины это чувствовали, ведь каждый из них хотел найти для себя именно такую: чтобы внимательно слушала их общую мелодию, чтобы с готовностью шла за ним, чтобы верила, что он всё делает правильно.

И с Анечкиным дедом они так познакомились. А через три недели сыграли свадьбу и уехали с её Вологодчины по месту его службы на Север.

Те пять лет были самыми счастливыми в их жизни. Никто сейчас понять этого не может. Не верят.

А как рассказать про то, как они вместе топчан себе сколотили, а потом он под ними рухнул, про то, как муж за яблоками для неё, беременной, за триста километров ездил, как ночью от голодных крыс кочергой отбивался, собой её прикрывал. Как она его, городского, учила коротким северным летом грядки копать да сорняки полоть. Как годовалая дочка однажды заболела и ничего уже не помогало, и как муж, молодой, сильный, с капитанскими погонами на плечах, закрыв лицо руками, плакал тогда на крыльце. Как потом сорвался в темноту, привёз на попутке с какого-то корабля военврача, старого и серди-

того дядьку, как тот велел прекратить давать лекарства и немедленно сварить простой кисель из клюквы.

На всю жизнь муж сохранил благодарность к тому врачу и бесконечную веру в силу клюквенного киселя.

— Да, а врачу-то тогда было лет пятьдесят, не больше. А мы про него всю жизнь вспоминали, что — старый...

И вот теперь ей самой уже под восемьдесят, и лежит она в пустой, ставшей вдруг такой большой комнате, уговаривая себя встать. Болят ноги, руки, каждый суставчик. Болит всё внутри. Но главное — душа болит неизбывной болью. Нет уже ни дочки, которую спас когда-то тот врач, ни мужа.

— Любимые мои, любимые, любимые...

По глубокой морщине медленно ползёт и прячется в складках шеи слеза.

Вот и Анечкин отец после смерти жены подался в дальние края дальше свою жизнь прожить. Уехал на свою родину в Таллинн, теперь это настоящая заграница. Ему бы внуков воспитывать, а он там женился и на старости лет ребёночка родил. Бабушка не в обиде: зять — человек хороший, что уж грешить против правды. Конечно, с Анечкиным дедушкой не сравнится — тот орёл был!

Но порядочный и деликатный, даже слишком. Всё скрывал свои планы насчёт переезда, пугать их не хотел. Тянул до последнего.

И жену когда-то любил, а в Анечке души не чаял. Только назвал её зачем-то чужим, нерусским именем — Анжела. В честь какой-то негритянки из Америки. Вот так: вместо того, чтобы свою жизнь обустроить, мы вечно всей страной за американских негров переживаем. Сначала «Хижину дяди Тома» до дыр зачитывали — бабушка это по себе помнит. Потом вот, пожалуйста, у неё, вологодской, внучка — Анжела. С ударением на первом слог.

Бабушка так и не приняла это имя и звала внучку Анечкой. Так это имя в семье и осталось. А Анжелой внучка была для посторонних людей.

Аня в ночные клубы не ходила и танцами интересовалась мало. Она-то хорошо понимала, что возраст у неё давно уже был для этих дел неподходящим. Это только выглядела она так — маленькая, худенькая, с русым хвостиком на голове.

— А как хорошо было раньше, — бабушка вспоминает свои локоны вдоль лица, подхваченные над ушами, и покрашенные тёмной пома-

дой губки сердечком. И носили тогда не драные джинсы, а красивые платья с плечиками и пальто с летящей спинкой, «волнующий зад» называлось, и ботики, ботики на меху...

## 4

Она что-то всё писала, звонко цокая тоненькими пальчиками по клавиатуре. Когда бабушка подходила к двери в её комнату, цоканье прекращалось. Бабушка подсматривать не любила, она и без того знала, что пишет Анечка стихи.

— Какие-какие... хорошие стихи!

Бабушка никому бы не позволила сомневаться в том, что их девочка — талант, Божий промысел.

Может, это имел в виду её отец, когда называл ребёнка таким странным именем? По-русски будет Ангелина, а по-английски, оканчивается, Анжела. Ангел, стало быть.

Да, умирать было нельзя, надо было сначала дожидаться, когда Анечка найдёт себе мужа. И не спросишь ведь её ни о чём, сразу слёзы на глазах, потом быстро к себе в комнату. И сидит, чужие тексты правит, деньги зарабатывает. Потому они пока и не нуждаются. Аня и кружева вместе с бабушкой пробует плести. Бабушка это с молодости делать умеет, и не раз это умение их выручало, лишние деньги в семью приносило. Вологодские кружева пока ещё никто не отменял. Аня плетение освоила, но только самое простое, базовое. На узоры всегда не хватает времени.

«Потом», — говорит Анечка. Бабушка только кивает головой, не спорит. У Анечки это любимое словечко. Не знает она ещё, как быстро это «потом» откатывается далеко-далеко в прошлое.

Жизнь сначала шла медленно, как бы раскачиваясь. Зима тянулась долго, весной не могли дожидаться лета. От Нового года до Восьмого марта был огромный промежуток. А потом время стало навёрстывать упущенное, бежать всё быстрее. После пятидесяти — вообще стало обваливаться глыбами, как подтаявшие ледники на Севере.

Умный Анечкин папа называл это «эффект туалетной бумаги». Пока рулон большой, он расходует не так, как в конце. А там — чем меньше остаётся, тем всё быстрее и быстрее сматывается... И скоро уже только остов на металлической перекладине болтается. Анечка



возмущалась: обидное, некрасивое сравнение. Она ещё не знала, как прав был её отец.

Сидит Аня дома, иногда, бывает, к подруге на дачу съездит. А вечерами рисует каких-то крылоподобных существ.

С детства она верила, что есть у неё тайный доброжелатель. И неслучайно у неё самой такое удивительное имя. Её собственный Ангел думает только о ней, он неслышно ей помогает и охраняет от бед.

## 5

**П**ришла ранняя весна: как всегда, первое солнце и одновременно заморозки. Аня шла по Арбату и удивлялась тому, что там ещё сохранился старый, известный на всю Москву зоомагазин.

Около стены сидел на корточках парень, на коленях у него лежала большая картонная коробка. В самом углу там сидел маленький зайчик. Беленький...

— Не зайчик, а кролик, — оборвал Аню парень, — ангорский.

— Как это «ангорский»? — Аня знала, что ангорскими бывают кофты, у мамы её раньше такая была. Теперь бабушка донашивает.

— Порода такая, — с ненавистью глядя на Аню, объяснил парень.

Больше спрашивать ей уже ни о чём не хотелось. На прощание посмотрела ещё раз на «зайчика», сжавшегося в самом углу коробки. Он был совсем ещё маленьким. Уши были прижаты, нос смешно дёргался. Было видно, что ему очень холодно.

— А если не продадите зайчика, что делать с ним будете? — Аня натянуто улыбнулась парню.

— Кролик это, кролик! Суп из него сварю! Идите, женщина, отсюда.

Договорились довольно быстро, поскольку парню смертельно надоело торчать возле магазина. Он сунул в руки Ане коробку, зажал деньги в кулак и быстро скрылся в подворотне.

Коробку она выбросила, кролика засунула себе под куртку, прикрыв его шарфом.

Когда приехала домой, с порога объявила бабушке: «Я не одна, а с мужчиной!» Бабушка, чуть помедлив, вышла в коридор.

— Вот он какой у нас, смотри!

— Ну что ж ты так шутишь? Мужчина...

— А-а, испугалась? То-то же...

Кролик был пушистый и очень тощий. Весь вечер он сидел на подушке у батареи, не прыгал и не ел. Даже не пил, только мелко дрожал и никак не мог согреться. То же самое было и на следующий день. Вечером у него началась рвота.

Аня решила везти его к врачу.

— Ты моя заюшка, ты моя хорошая, — бабушка, по старой памяти по-вологодски немного окая, как ребёнка, запеленала кролика в вязаный детский шарфик и усадила в свою котомочку — мешочек с двумя ручками, который когда-то сшила из весёлой дачной ткани с жёлтыми ромашками.

Аня нашла по Интернету ближайшую круглосуточную клинику, взяла деньги на такси, котомочку, и уже через десять минут бабушка осталась одна.

Кролик сидел в котомочке совсем тихо, спина его мелко тряслась. Лапы и уши у него были ледяные.

Клиника была очень старая, ещё довоенная. За решётчатым забором в глубине запущенного сада стояли два почти дачных домика. Площадка перед воротами была занята машинами. Очередь была большая: ночью принимал только один врач. Но те, кто его знал, говорили, что это очень хороший специалист.

Кошки тихо сидели в своих переносках, предпочтя личную безопасность боевым действиям и охотно смирившись с неволей. Собаки вели себя почти прилично.

Серьёзный случай был только один — старую колли уложили под капельницу в соседней комнате на металлическом столе. За приоткрытой дверью было видно, как пожилой дядька всё время гладил её по спине и громко шептал: «Ты наша красавица, ты наша умница...»

Колли, наверное, действительно была умная. Она не дёргалась, сидела, вытянув лапу, не пытаясь избавиться от иглы и бинтов.

Остальные приехали сюда ночью тоже не просто так: кто с клещом в собачьем ухе, кто с отравлением, кто за справкой для предъявления на ветконтроле утром в аэропорту.

Те, кто приехал просто за справкой, и те, кто привёз в клинику своего «страдальца», сильно отличались друг от друга. Пострадавших в боях или от зловредных насекомых хозяева из всех сил прижимали к себе и шептали им невозможно глупые, ласковые слова. Две семьи, несмотря на поздний час, приехали в полном составе: дети, мама с папой и собака.

«**Ч**удны дела твои, Господи», — сказала бы неверующая бабушка Анечки. Это был какой-то свой, особый мир, и Аня с удивлением обнаружила, что в этой очереди, несмотря на расцарапанный пол, жёсткие скамейки и ночное время, ей было хорошо. Никто не ругался, не качал права. Даже люди. Показывали друг другу своих кошечек в переносках, брали на руки маленьких собак, трепали по холке больших.

Рассказывали бесконечные истории о том, как: «Ну, наш за остановку меня чует», «А наша от тоски болеет, оставить ни с кем не можем».

Все терпеливо, как та старая колли, ждали своей очереди. Здесь было как-то неудобно говорить на повышенных тонах и выяснять, «кто पहले». И только подозрительно пахнущий дешёвым одеколоном мужик в похожих, но разных кроссовках, держа между колен драную облысевшую дворнягу с грязной повязкой на лапе, интимным шёпотом жаловался соседу на то, что нет им с гражданской супругой Люськой никакого житья от не менее гражданской тёщи:

— Слышь, ну ты сам подумай, только я Люську за жопу возьму, так эта сука сразу чувствует, свет бежит зажигать, лекарство ей, слышь, надо запить. Ну, жду. Потом опять к Люське поворачиваюсь, а эта — опять вскакивает. Ну разве это жизнь? Уйду я от них, слышь, правда уйду...»

Дядечка, сидевший рядом с ним, мученически закатывал глаза к потолку и, просунув руку в переноску, нервно гладил свою персидскую кошечку. Потом отсел подальше, но мужик пересел тоже, потому что он ещё не всё рассказал. К счастью, вскоре подошла очередь той самой кошечки, но тут мужик в разных кроссовках решил их опередить.

Просунув в кабинет свой когда-то «стройный стан» и усадив перед собой как главный аргумент смиренную дворнягу, он деловито предложил:

— Слышь, Сабантуевна, ты меня без очереди обслужи, а? По-соседски. У тебя ведь как: солдат сидит — служба идёт, а мне в утреннюю вставать — скоро уже.

— Я тебе покажу «Сабантуевну»! Давай, отчаливай домой, отравы жизни моей! Сейчас вот Люське твоей позвоню, врежет она тебе по полной. Давай, Манаенков, вали отсюда, быстро!

— На лечение нам дашь, тогда уйду. А то опять в очередь сяду, ты же знаешь. А из коридора ты меня права не имеешь гнать: у меня, может, собачка снова лапку поранила.

Рашида горела от стыда: её авторитет ветеринарного врача и добрую репутацию государственного лечебного учреждения подрывали на глазах у притихших пациентов и их хозяев. Быстро протянула полтинник.

— Всё, хватит с тебя. Уйди, Манаенков, ну, пожалуйста. Отвянь навсегда.

Как пробежало время, Аня и не заметила. Вокруг было так много интересного, все друг другу что-то рассказывали, давали посмотреть и погладить своих зверей. Только привычно кольнуло: все были парами и даже с детьми. Только она пришла одна — с маленькой котомочкой.

Кролик сидел тише тихого. Наконец дошла очередь и до них. Коридор уже опустел, Аня была последняя.

— Заходи-и-те!

В кабинете плотным облаком висела усталость врача и желание, чтобы Анечка тоже поскорее «отвяла». Как Манаенков.

Как могла, кратко рассказала, что кролик у неё только два дня, что с самого начала был как пришибленный, мёрз, что так ничего и не поел.

Рашида взяла его на руки, заметила, что он, скорее, напоминал белую, пушистую мышь.

«И зачем ей кролик? Завела бы себе собаку, выгуливала бы по вечерам, глядишь, с кем бы и познакомилась. И охрана опять же». Рашиде потребовалось две минуты, чтобы, как сканером, мысленно срисовать Анечкино семейное положение на сегодняшний день и ближайшее будущее.

— Как зовут?

— У него пока нет имени, я ещё не придумала.

— Вас как зовут?

— Анжела.

— Фамилия? Возраст?

А про возраст-то зачем она её спросила? Рашида сама не могла этого понять и потому злилась. Ну вот, к тому же выяснилось, что они ровесницы. Только в её собственную жизнь могло бы вместиться несколько жизней вот таких хороших, чистеньких ангелочков.

Ну, всё понятно: «папе-маме», «аспирантура-диссертация», «кушать подано» и т.д. Никаких тебе школ-интернатов, выкидышей в шестнадцать лет, общежитий, пьющих мужей, разводов, коммунальных квартир и прочего.

По всему, должна была бы эта Анжела кошечку пушистую, на помойке найденную, принести. Такие любят всех подбирать. А потом лечить их до посинения.

— Паспорт на животное имеется?

Зачем она вредничает? Рашида сама понимала, что ведёт себя глупо. Ну, какой там паспорт?

— Я его на улице купила, около зоомагазина.

— И что, даже не поинтересовались, откуда животное?

— Его парень продавал. Он сам ничего не знает. Он вообще хотел его на суп пустить, — неловко попыталась пошутить Анечка.

Шутку не приняли:

— Ну, знаете, крольчатина — это диетический продукт.

Анечка в ужасе закрыла ручками лицо:

— Да что вы, как можно! Он не «продукт», он — личность!

— С вашей «личностью» мне всё ясно. Заморозили несчастного зверя, Божью тварь. У него жар, придётся антибиотики назначать. А потом прививки, обязательно, милая моя, прививки.

## 7

**В** коридоре было пусто, только охранник Валерка, сцепив пальцы на животе, дремал в продавленном кресле. Сейчас Рашида быстренько сбегает домой, одна нога здесь, другая уже там... До конца работы ещё далеко, смена придёт только в восемь утра.

Аня в коридоре вызывала по телефону такси. Они вместе прошли вдоль чёрных зарослей кустарника. Главные ворота, как обычно, были закрыты, поэтому выходили через узкую калитку, которой пользовались в ночное время.

— Девушка, вы бы подождали лучше у дежурного, внутри. У нас райончик тот ещё, не забалуешь!

Сама Рашида ничего не боялась: здесь её каждая собака — в прямом и переносном смысле слова — знала в лицо. Она быстро пошла к себе: через улицу стоял её старый коммунальный дом.

Аня осмотрелась. Машины все разъехались, небольшая квадратная площадка перед входом в клинику была совершенно пустая. Она напонила коробку, в которой сидел её или зайчик, или кролик. С трёх сторон её окружал глухой бетонный забор, и только с четвёртой стороны был выезд на дорогу.

В дальнем углу на высокой стене метровыми зелёными буквами, видными даже при слабом свете фонаря, со всей страстью безнадёжного отчаяния было начертано: «НЕ СРАТЬ!!!» Но, судя по аромату фиалок и лаванды, доносившемуся оттуда, многочисленные ночные снайперы эту настоятельную просьбу общественности игнорировали.

Аня стояла, прижимая к себе котомочку, в которой билось ещё одно сердце и трепетала ещё одна жизнь. Из тени больших деревьев, перевесившихся через забор, вышли двое.

Ну вот, а говорят, ангелов не бывает. Анечка недаром верила в своего — доброго и заботливого.

...Всё произошло очень быстро, и больно было только сначала. Она даже не успела удивиться тому, как послушно её тело превращается во что-то бесчувственное и чужое.

Но память ещё сопротивлялась. Нужно было ещё сказать что-то очень важное. «Кролик, беги!!!» — крикнула она, как ей показалось, очень громко, а на самом деле — едва шевеля уже почерневшими губами. Когда-то она читала этот американский роман со смешным названием, и теперь именно эти слова выплыли на минуту из надвигающейся темноты.

Когда Рашида вернулась, на площадке по-прежнему было тихо и безлюдно. На асфальте лежала Анжела, а рядом с ней — бабушкина котомочка с весёлыми жёлтыми ромашками.

Бабушке принесли котомочку и кролика, потому что больше нести было нечего — ни кошелька, ни телефона при Ане не оказалось.

Хоронили Анечку всем издательством, говорили много хороших слов, и все женщины плакали.

И водителю такси удалось быстро забыть это страшное место, как будто ничего и не было. Он-то вообще был ни при чём.

Бабушку долго в больнице держать не стали, чтобы не портила статистику. Поэтому она лежит не в общей палате на восемь человек, а дома, в своей собственной кроватке.

Кролика Рашида вылечила, и теперь он живёт у неё. И вместе они дважды в неделю приходят навещать бабушку.

И белые ангелы машут крылами над свежей могилкой и тихо шепчут, что никто ни в чём не виноват. Просто так получилось.

---

---

**ОБ АВТОРЕ**

***Татьяна Шереметева** — москвичка, окончила филологический факультет МГУ. Сейчас живет в Нью-Йорке. Регулярно публикуется в литературных журналах США, России, Канады, Германии, Израиля, Украины и Беларуси.*

*Автор книг: «Грамерси-парк», «Посвящается дурам», «Жить легко», «Маленькая Луна», «Личная коллекция. Magnet Opus», «Шёлковый шёпот желаний».*

*Ведущая блогов и авторских колонок, литературный редактор журнала «Elegant New York», Лауреат и член жюри международных литературных конкурсов.*

*Член Американского ПЕН-центра и Национального союза писателей США.*

Илья ГАБАЙ  
«... Я В СОМКНУТОМ,  
Я В СДАВЛЕННОМ КОЛЬЦЕ...»

---

---

|| По просьбе читателей мы публикуем стихи Ильи Габая, не вошедшие в публикацию о его жизни и творчестве («Времена», № 3 (19) 2021)

**ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ<sup>1</sup>**  
(Из цикла «Еврейские мелодии»)

Был Крушеван.<sup>2</sup> И нету Крушевана.  
Он может снова быть или не быть,  
как могут вечно жить и — долго жить  
пруты дерев под вязью, кружевами  
снегов. Снегов...

Был, как команда, весок  
и был идейно объясним погром.  
С оглядкой — молитвенный, еврейский  
картавый ветер пробирался в дом,

и заклинал молитвенным наветом,  
и клял словами осторожных злоб...  
А Крушеван был твердый юдофоб,  
издателем и чуточку — поэтом.

---

<sup>1</sup> В № 3 (19) 2021 под этим названием ошибочно напечатано стихотворение Ильи Габая «Мелодия».

<sup>2</sup> «Крушеван — молдавский газетчик, организатор погромов...» (комментарий Ильи Габая в письме к другу)



И в дни погрома Каллиопы дух  
так прихотливо изменяет лица,  
что видел он не как летает пух —  
как оживают сказочные птицы.

В такие дни смещаются углы  
обычных зрений. И в кромешной пыли  
не полосы матрацные плыли  
— плыли подобья вымерших рептилий.

Он разглядел (так оживляют снег,  
так в миф преобразуют жалкий иней),  
что радуга купается в пенсне,  
как солнца луч в пролитом керосине.

В клоповнике узрел он: горячась,  
пьют кровь жида, в крови ж купая пейсы...  
... Дано немало видеть песнопевцу  
в такой, свободный от погрома, час...

Еврейский ветер, нагнетая жуть,  
пел: «Жили-были в гоевой Расее,  
а ныне не бытуют, не живут  
Арон с Рахиль и Сурка с Моисеем».

Он раскачал в молитве облака,  
он жалобой терзал чужие дали  
и трепетной рукой их облекал  
в невидимый и правоверный талес.

Он истерзал и эту даль, и дол,  
и всё вокруг своим картавым гудом.  
Он возвеличил скорбную юдоль  
и до времен иных оставил удаль.

Он вел подсчет скорбей, утрат и ран.  
Он счет сводил и с будущим, и с прошлым...  
... Но нищего жалеют не за рвань:  
за то, что он не борется, а просит.

Еврейский ветер звал потоки бед  
на головы неверных, славил бога;  
и в иступленьи  
позабыл пропеть,  
что жили-были Гоги и Магоги<sup>3</sup>...

1 июня 1963 г.

Две главы из лагерной поэмы «Выбранные места»

### БУДТО ЭЛЕГИЯ

Ю. Киму<sup>4</sup>

Какое столетье? Неужто *не наше* уже?  
Две тыщи такой-то — а мы не заметили это...  
Мне, правда, до тое, *не нашего*, дела  
ни малости нету,  
Совсем не о том я — о том, что и ты постарел,  
Беранже,  
Хоть так же смешлив и умен и всё так же сродни  
Аруэту.  
Всё то же? Всё так же? Но вправду ли  
честь высока

---

<sup>3</sup> «... гоги и магоги — древние народы, истребленные евреями...» (комментарий Ильи Габая в письме к другу)

<sup>4</sup> Ким Юлий Черсанович (Юлик) — институтский друг Ильи Габая, педагог, правозащитник, русский поэт, композитор, драматург, лауреат гос. премии им. Булата Окуджавы.



## НЕЛЬЗЯ НЕ ПРИЗНАТЬСЯ

*«И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу...»*

(А. Пушкин)

Тогда казалось: долгие года  
Не выветрить из памяти тоскливой,  
Урочный час в Совете Нечестивых:  
Шаманский срам Шемякина суда.

Тогда казалось: должно уберечь,  
Как юношам из очерков — мозоли,  
Победный знак еврея и масона:  
Последнюю, возвышенную речь.  
Сударыня! — Суда!.. в суде!.. судом!.. —  
Мы всё о нем — но пред лицом Содома,  
В который каждый втянут, — под судом мы  
Куда тяжеле.

Я стою на том,  
Что испытанье пагубой и порчей,  
Проверка униженьем и стыдом  
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.

Вот почему кружением не впрок  
Отмечен каждый божий миг кануна;  
Вот почему всё оказалось втуне:  
Любой — былой и небылой — порок  
Обозначал разрыв с собой и слома  
Конечность, и сегодня этот слом  
Подвиг меня на истинное слово,  
Последнее — и пусть оно не ново! —  
Виновен в чем-то — виноват во всём.

Уловленный недоброй хмурой тьмой,  
Я и впотьмах сыскал, как видно, тропку,  
И всё, что ныне, оказалось робкой  
И малой (не в грехи) епитимьей.

Сударыня! — такой веселый сон!  
Приснится же такое человеку!  
Но сон — лишь сон: в мечтах святой, как Мекка,  
Ты созидаешь в яви Вавилон.

Какие лес и дача? — не взыщите:  
Какая благодать? — Скверна и Содом!  
И нету сил! (И где мой утешитель!).  
И худо мне! (И чем утешит он!).

Утешусь ль тем, что с л о ж е н человек?  
Что много в нем намешано от века?  
Что мы, — когда Аврелий! И Сенека!  
Когда поэт! Философ! Имярек! —  
Вчитайтесь! Нуте-с: это ли не Мекка.

А если это вчуже и не впрок —  
Пример велик, но явственно обличье, —  
Утешит, может, тоже столь привычный,  
Священника спасительный урок?

(Роскошество ревнителей убожеств?  
Мздоимство, раболепие святош?  
Всё правильно, — однако вспомним, кто ж  
Низкопоклонник, но хулитель торжищ?)

Откуда что берется в этот час:  
Как мы мудры, как мы в суждениях тонки!  
Как тешат притчи нас и побасёнки!  
Как стыд житейский умиляет нас!

Коль истины удобны и просты!  
Подумайте! Так просто до сужденья,  
Что вы как раз достойны осужденья,  
Коль скоро вы достигли чистоты...

... Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.  
Мне остается пробавляться ныне  
Запавшей по случайности латынью:  
Memento mori. Помни о конце.

Какие сны и травы? — Не взыщите:  
Какая благодать: лживый, малый сон.  
И нету сил! (И где мой утешитель?)  
И худо мне! (И чем утешит он?)

*Кемерово, январь 1971 г.*

## Павел МАТВЕЕВ «ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ»

---

*Евтушенко о Кузнецове: ПРАВДА И ВРАНЬЕ  
«БАБИЙ ЯР» СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ*

«Самоцензура — самопродажа — писательская проституция. Это в Москве главная тема угрюмых разговоров авторов, которые не потеряли всю совесть, пытаются что-то донести до читателя через печать, идя на нечистоплотные сделки.

Знакомство, дружеские отношения с властью имущими (хотя, может, вы их в душе ненавидите) тоже используются <...> как один из видов самопродажи. <...> Это всегда очень помогало Евгению Евтушенко, и в большом числе случаев ему только и удавалась публикация потому, что срабатывали связи. <...> Потому что опубликовать талантливое стихотворение в СССР раз в пятьдесят труднее, чем его написать».

*Анатолий Кузнецов*

## РУССКИЙ КАК ЕВРЕЙ

**В** обращении к читателям, помещённом в первом бесцензурном издании романа-документа «Бабий Яр», выпущенном в 1970 году энтээсовским издательством «Possev-Verlag», рассказывая о том, с каким невероятным трудом ему пришлось добывать разрешение на публикацию этого сочинения в СССР, Анатолий Кузнецов писал:

---

Журнальный вариант

Решающим для «вышестоящих товарищей» оказался ловкий аргумент редакции (журнала «Юность»—*П.М.*), что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в своё время большой скандал и шум.<sup>1</sup>

Кузнецов имел в виду масштабный скандал, разразившийся в московских интеллектуальных кругах после того, как в сентябре 1961 года в «Литературной газете» было опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко, посвящённое памяти жертв «конвейера смерти», устроенного немецкими оккупантами в Бабьем Яре. После чего продолжал:

Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал своё стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет.

«Над Бабьим Яром памятника нет...» — задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении.<sup>2</sup>

Действительно, первая строка этого скандального — по советским партийно-идеологическим понятиям — стихотворения была именно такой. Вернее, почти такой: слово «памятник» в стихотворении Евтушенко было использовано во множественном числе — «памятников». Начинается оно так:

Над Бабьим Яром памятников нет.  
Крутой обрыв, как грубое надгробье.  
Мне страшно. Мне сегодня столько лет,  
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас — я иудей.  
Вот я брежу по древнему Египту.

<sup>1</sup> Анатолий А. (Кузнецов). Бабий Яр. Frankfurt am Main: Possev-Verlag, 1970. С. 5–6.

<sup>2</sup> Там же. С. 6.



А вот я, на кресте распятый, гибну,  
и до сих пор на мне — следы гвоздей.<sup>3</sup>

По-видимому, сравнения с Иешуа бен Пандирой, по крови являвшимся по крайней мере наполовину евреем, советскому поэту показались для произведения надлежащего эффекта недостаточным, и далее в том же стихотворении он уподобил себя всем погибшим в киевском овраге жертвам нацистского геноцида:

Над Бабьим Яром шелест диких трав.  
Деревья смотрят грозно, по-судейски.  
Всё молча здесь кричит, и, шапку сняв,  
я чувствую, как медленно седею.

И сам я, как сплошной беззвучный крик,  
над тысячами тысяч погребённых.  
Я — каждый здесь расстрелянный старик.  
Я — каждый здесь расстрелянный ребёнок.<sup>4</sup>

Завершалось стихотворение строками, которые не могли не вызвать в чёрных душонках советских юдофобов приступа самой лютой злобы:

Еврейской крови нет в крови моей.  
Но ненавистен злобой заскоружлой  
я всем антисемитам как еврей,  
и потому — я настоящий русский!

На что, по всей видимости, Евтушенко и рассчитывал. И, если это было действительно так, невозможно не признать, что расчёт его полностью оправдался.

Публикация «Бабьего Яра» в «Литгазете» вызвала крайне раздражённую реакцию со стороны окололитературных обскурантов, ретро-

---

<sup>3</sup> *Евтушенко Е.* Бабий Яр // Литературная газета (Москва). 1961. № 112. 19 сентября.

<sup>4</sup> Там же.

градов, мракобесов и сталинистов, подавляющее большинство которых было также и антисемитами — притом, что в телах некоторых из них струилась столь им ненавистная еврейская кровь.

Так, получивший в те времена одиозную известность литературный критик Дмитрий Стариков (1931–1979) — еврей-полукровка по рождению, но полноценный еврей по Галахе, женатый на дочери совписа-графомана и зоологического антисемита по призванию Анатолия Софронова и имевший репутацию цепного пса Агитпропа, — немедленно попытался вонзить клыки в евтушенковскую лодыжку. В клеветническом пасквиле, помещённом 27 сентября 1961 года во враждебном «либералам» печатном органе — газетке «Литература и жизнь» (главным редактором которой был другой кондовый сталинист и мракобес — Виктор Полторацкий), — Стариков обвинил Евтушенко в том, что тот сочинил «насквозь фальшивое» стихотворение, в котором «неправильно расставлены акценты», намеренно выпячивается тема антисемитизма и сознательно дискредитируется «ленинская национальная политика». Начал он, как и полагалось в подобных случаях, с постановки «жизненно важных» вопросов и с собственных же на них «единственно верных» ответов:

Зачем сейчас, в 1961 году, Евгений Евтушенко вернулся к этой теме?

Может быть, он вспомнил о Бабьем Яре, чтобы предостеречь мир от фашизма? Может быть, он не смог молчать, услышав истеричные вопли западногерманских реваншистских ублюдков? А может быть, он хочет напомнить некоторым своим сверстникам и сверстницам о доблестях, о подвиге, о славе и о великих жертвах отцов?..

Ничего подобного. Стоя над крутым обрывом Бабьего Яра, молодой советский литератор нашёл здесь лишь тему для стихов об антисемитизме! И думая сегодня о погибших людях — «расстрелянный старик», «расстрелянный ребёнок», — он думал лишь о том, что они — евреи. Это для него оказалось самым важным, самым главным, самым животрепещущим!..<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Стариков Д. Об одном стихотворении // Литература и жизнь (Москва). 1961. 27 сентября.

Далее, быстро входя в раж, Стариков формулировал пункты «обвинительного заключения». Трепля поэта за штанину, литкритик прямо-таки захлёбывался от возмущения:

Видеть в трагедии Бабьего Яра лишь один из исторических примеров проявления антисемитизма?! Против этого вопиют судьбы погибших там людей, неразрывно, сотнями зримых и незримых нитей связанные с судьбами и всех других павших в те страшные годы, и всех переживших их, и всех победивших. <...> Свободно и легко чувствует себя Евтушенко на незавидном поприще вольного или невольного разжигания угасающих националистических предрассудков. Это свобода от правдивости, от ответственности за свои слова.<sup>6</sup>

После чего переходил к тому, ради чего и начал — то есть к публичному доносу:

Сейчас дружба народов крепка и монолитна, как никогда. Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писательской газеты позволяет Евтушенко оскорблять торжество ленинской национальной политики такими сопоставлениями и «напоминаниями», которые иначе как провокационными расценить невозможно? Во имя чего надрывается сейчас Евтушенко, сиюсья перекричать победный гул нашей трудовой жизни <...>?<sup>7</sup>

В завершение следовали неизбежные для публикаций данного жанра «оргвыводы»:

<...> источник той нестерпимой фальши, которой пронизан <...> «Бабий Яр», — очевидное отступление от коммунистической идеологии на позиции идеологии буржуазного толка. Это неоспоримо.<sup>8</sup>

Разумеется, кликушествовал большевистский ублюдок Стариков не столько по собственному почину, сколько по понуждению к оному

---

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же.

«вышестоящих товарищей», главным из которых был его собственный тесть — Анатолий Софронов. В этой среде поэта Евтушенко ненавидели до дрожи в поджилках, именуя не иначе как «поджидком Гангнусом<sup>9</sup>», и считали, что, пользуясь попустительством руководства Идеологического отдела ЦК КПСС и персонально «нашего дорогого Никиты Сергеевича», тот совершенно распоясался.

К тому же лагерю принадлежал и стихотворец Алексей Марков (1920–1992), поспешивший ответить Евтушенко сразу же после того, как номер «Литературной газеты» с «Бабьим Яром» поступил в продажу. Стишок Маркова, озаглавленный бесхитростно — «Мой ответ», был помещён в той же самой газетке «Литература и жизнь» ещё раньше публикации пасквиля Старикова — 22 сентября 1961 года. В нём поэт-патриот Марков уподоблял поэта с сомнительным мировоззрением Евтушенко «пигмею» и сравнивал его с «космополитом, топчущимся на погостах». И, обращаясь к автору «Бабьего Яра» в привычной тому рифмованной форме, давал волю своему праведному негодованию:

Какой ты настоящий русский,  
Когда забыл про свой народ?  
Душа, что брюки, стала узкой,  
Пустой, что лестничный пролёт.<sup>10</sup>

После чего, обвинив Евтушенко в том, что он, выпячивая тему одного лишь Бабьего Яра, сознательно или бессознательно замалчивает подвиг советского народа, спасшего человечество от порабощения нацистами, утверждал, что его претензии на то, чтобы считаться русским, не имеют под собой никаких оснований. Поскольку, по мнению Маркова, настоящими русскими являются только такие, как он сам:

Пока топтать погосты будет  
Хотя б один космополит,—  
Я говорю:  
«Я русский, люди!»  
И пепел в сердце мне стучит.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Гангнус — подлинная фамилия (по метрике) Е. Евтушенко.

<sup>10</sup> Марков А. Мой ответ // Литература и жизнь. 1961. 22 сентября.

<sup>11</sup> Там же.

Публикация графоманского памфлета Маркова вызвала бурю негодования в сообществе «литературных либералов», значительная часть которых были евреями. А после того, как пять дней спустя прогремел залп из орудий главного калибра — каковым «либералами» был сочтён стариковский пасквиль, — страсти закипели не на шутку.

На следующий же день после появления газеты с опусом Маркова Лев Кассиль направил главреду «Литературы и жизни» Виктору Полторацкому заявление с требованием немедленно убрать своё имя из состава членов редколлегии этого издания.<sup>12</sup> Одновременно в редакцию «ЛиЖи» (как саркастически именовали эту газетку «либералы» — намекая на то, чем в действительности занимаются товарищ Полторацкий и его сталинистская гоп-компания) потоком хлынули письма от возмущённых читателей, число которых за первые три недели после начала скандала перевалило за три сотни.<sup>13</sup> Почти все их авторы на чём свет костерили Маркова и Старикова, вспоминали приснопамятную борьбу Сталина с «безродными космополитами», «дело врачей-отравителей» и интересовались, кто вообще позволил печатать в советской прессе такую мерзость. В поддержку патриотических виршей и публичного доноса пришло не то три, не то четыре письма.<sup>14</sup>

Между тем «патентованные либералы» развернули наступление, намереваясь задавить «антисемитскую гадину» в её мерзком логове.

Третьего октября Илья Эренбург отправил в редакцию «Литературной газеты» письмо, в котором высказывал решительное осуждение публикации опусов Маркова и Старикова в «Литературе и жизни» и просил его обнародовать. Однако когда главный редактор «Литгазеты» Валерий Косолапов, в тот момент уже осознавший — какую кашу он заварил, дав разрешение на публикацию стихотворения Евтушенко, обратился за советом — как следует поступать? — в Отдел культуры ЦК КПСС, оттуда ему было «настоятельно не рекомендовано» публиковать письмо Эренбурга, дабы не разжигать скандал далее. Узнав об этом, Эренбург 9 октября написал письмо в ЦК КПСС на имя Никиты

---

<sup>12</sup> См.: Письмо Л. Кассиля И. Эренбургу от 8 октября 1961 г. Опубликовано: *Эренбург И. На цоколе истории...: Письма 1931–1967.* М.: Аграф, 2004. С. 508.

<sup>13</sup> Об этом сообщалось в письме К. Поздняева А. Дымшицу от 15 октября 1961 г. См.: *Огрызко В. Охранители и либералы: В затянувшемся поиске компромисса.* М.: Изд. газеты «Литературная Россия», 2015. С. 246.

<sup>14</sup> Там же.

Хрущёва, в котором напоминал правителю Советского Союза о недавних временах разгула государственного антисемитизма в последние годы жизни Иосифа Сталина — тем самым явно намекая на то, что история иногда имеет тенденцию поворачивать вспять.

По-видимому, получив письмо Эренбурга, Хрущёв настолько обозлился, что приказал как можно быстрее прекратить разрастающийся с каждым днём скандал. У него совершенно не было времени на то, чтобы заниматься такой чепухой, как околотитературные склоки и дразги между «космополитами» и «патриотами». В тот момент оставалась всего одна неделя до открытия XXII съезда КПСС, на котором Никита Сергеевич намеревался окончательно расправиться со своим предшественником на кремлёвском троне, выкинуть его усатую мумию из зиккурата на Красной площади и провозгласить масштабную кампанию по десталинизации советского общества.

В соответствии с полученным распоряжением Секретариат ЦК КПСС 14 октября 1961 года принял постановление «Об ошибках редколлегий «Литературной газеты» и газеты «Литература и жизнь»». В этом документе оба стихотворения — и «Бабий Яр» Евгения Евтушенко и «Мой ответ» Алексея Маркова — именовались «идеологически вредными», а факт их публикации расценивался как «грубая политическая ошибка». То есть, переводя с парткомовской новоречи на русский язык, по морде поленом — или, если угодно, под зад коленом — получили обе враждующие стороны.

После чего последовали неизбежные «оргвыводы».

Главный редактор «Литгазеты» Валерий Косолапов сначала получил строгий выговор с занесением в личное дело, а затем был смещён с занимаемого поста. Та же участь постигла и главного редактора «Литературы и жизни» Виктора Полторацкого, заменённого на редакторском посту таким же мракобесом, хотя и более мелкого калибра — Константином Поздняевым. А год с небольшим спустя это издание вообще было ликвидировано — но не в прямом смысле этого слова, как, например, произошло в 1946 году с журналом «Ленинград»,<sup>15</sup> а посредством переименования: с 1963 года вместо трёхра-

---

<sup>15</sup> После издания постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», получившего в СССР широчайшую известность под названием «Дело Ахматовой и Зошенко».

зовой в неделю «Литературы и жизни» стала выходить еженедельная «Литературная Россия». Идейное направление — равно и текстовое наполнение — данного издания осталось неизменным, а именно — поливать помоями всё, что только появлялось в советской литературе мало-мальски талантливое, и гавкать из подворотни на каждого, кто не разделяет высказываемых в их печатном органе мнений и оценок.

Хрущёв, однако, этот скандал запомнил. И когда в начале 1963 года в Советском Союзе по инициативе его ближайших приспешников — секретаря ЦК КПСС по идеологии, начальника Агитпропа Леонида Ильичёва и секретаря ЦК и члена Президиума ЦК КПСС Фрола Козлова была развязана масштабная кампания травли молодого поколения советских писателей, правитель СССР вытащил уже подзабытый всеми сюжет, как шулер — припрятанного в рукаве бубнового туза. На получившей печальную известность «встрече руководителей партии и правительства с деятелями советского искусства и культуры», проходившей в Кремле 7-го и 8 марта 1963 года, первый секретарь ЦК КПСС посчитал необходимым уделить несколько минут и приснопамятному скандалу полуторагодовой давности. Наоравшись, брызгая слюной, и намахавшись сжатым кулаком на поэта Андрея Вознесенского и беллетриста Василия Аксёнова, Хрущёв вспомнил и об «идейно незрелом» стихотворении Евгения Евтушенко. И разъяснил участникам «культурно-политического мероприятия» ситуацию — так, как им следовало её понимать:

В ЦК поступают письма, в которых высказывается беспокойство по поводу того, что в иных произведениях в извращённом виде изображается положение евреев в нашей стране. <...> мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением поэта [Евтушенко] «Бабий Яр». <...> За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить фашистских — именно фашистских — преступников за совершённые ими массовые убийства в Бабьем Яру. В стихотворении дело изображено так, что жертвами фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей других национальностей. Из этого стихотворения видно, что автор не проявил политическую зрелость и обнаружил незнание исто-

рических фактов. <...> У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса.<sup>16</sup>

Что касается пресловутого «еврейского вопроса», якобы в Советской империи не существовавшего, — это Никита Сергеевич, выражаясь на привычном ему языке, сильно загнул. Вопрос этот в ней существовал всегда, с самого начала её собственного существования и до последних дней. В противном случае евреи не бежали бы из неё при первой возможности, как тараканы от дихлофоса — едва только им в 1971 году была предоставлена такая возможность. Они бы, разумеется, начали бежать и много раньше — ещё года с 1948-го, поскольку именно в том году на планете Земля образовалось место, куда можно было убежать, чтобы жить по-человечески, из тех мест, где жизни не было по определению, а было одно только выживание. Да вот незадача — слишком уж сложно было это сделать, тем более массово, принимая во внимание общеизвестную в СССР формулу «граница на замке». Поэтому пришлось дожидаться наступления времён, когда станут выпускать легально — пусть и с невероятным количеством нервотрепки и унижений, но всё-таки.

А вот насчёт того, что во время без малого двухлетней конвейерной бойни в Бабьем Яре, осуществлявшейся нацистскими оккупантами с 29 сентября 1941-го по середину августа 1943-го, от рук гитлеровских палачей там гибли не одни только евреи, но также нашло смерть немало русских, украинцев и советских граждан других национальностей, — с этим утверждением товарища Хрущёва полемизировать было невозможно, поскольку оно было чистой правдой. Беда была лишь в том, что Никита Сергеевич отчего-то забыл добавить, что русских, украинцев и советских людей других национальностей в Бабьем Яре расстреливали из пулемётов по обвинениям — неважно, реальным или же вымышленным — в пособничестве партизанам, осуществлении акций саботажа и диверсий, воровстве, торговле краденым и тому подобной «антигерманской деятельности». И лишь евреев и цыган там убивали только за то, что они были цыганами и евреями. За укрывательство евреев и цыган от уничтожения, кстати, нацисты убивали тоже — не глядя на национальность.

<sup>16</sup> Хрущёв Н. Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства. (Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 г.) // Правда (Москва). 1963. 10 марта.



## «БАБИЙ ЯР МСТИТ»

**К**аждое произведение искусства имеет свою историю. Не было исключением из этого правила и стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». О том, что предшествовало его сочинению, Евгений Александрович рассказал в вышедших в 1998 году мемуарах — книге под названием «Волчий паспорт». <sup>17</sup> История эта не противоречит краткому упоминанию обстоятельств, изложенных Анатолием Кузнецовым в предисловии к бесцензурному изданию его одноимённого романа-документа, но существенно их дополняет.

По утверждению Евтушенко, впервые он узнал о существовании страшного места с таким названием из стихотворения советского поэта Льва Озерова. Стихотворение было написано Озеровым ещё в 1944 году, то есть по горячим следам учинённого нацистскими оккупантами в Киеве геноцида. Однако подробности того, что это такое — Бабий Яр, Евтушенко привелось узнать лишь в 1952-м, когда он, в ту пору двадцатилетний, оказался на строительстве Каховской гидроэлектростанции и познакомился там с Анатолием Кузнецовым, который работал на стройке сотрудником местной газетки — так называемой «многотиражки». Молодой журналист Кузнецов и стал его персональным Вергилием по всем кругам этого ада, который и в кошмарном сне не мог привидеться авторам «Божественной комедии» и «Розы Мира». По версии Евтушенко, произошло это так:

— А ты что, правда был в Бабьем Яре? — спросил я.

— Нет, я там не был... — мрачно ответил Кузнецов, затравленно опустив глаза. — Но я видел, как это всё было...

Мы сидели на берегу, и Кузнецов рассказывал, рассказывал... Уже смеркалось, но мне казалось, что в тумане, медленно опускающемся на Днепр, я вижу бесконечные тени детей, женщин, стариков, идущие по воде, не прогибая её...

— Ты должен написать об этом, — сказал я Кузнецову.

— Кто это будет печатать... — пожал он плечами. — А кроме того я... я... боюсь... <sup>18</sup>

<sup>17</sup> См.: *Евтушенко Е.* Волчий паспорт. М.: Вагриус, 1998. С. 430 и след.

<sup>18</sup> Цит. по: *Евтушенко Е.* Волчий паспорт. Изд. 2-е, доп. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2015. С. 528.

Очень может быть, что именно так оно и было, как это описал Евтушенко. Однако рассказы — пусть и самые реалистически достоверные, не содержащие ни сознательного вымысла, ни бессознательного искажения («чтобы не так страшно было»), — это всё же эрзац события. Подлинный его масштаб, реальный объём и глубину можно осознать, лишь только увидев то, про что рассказано, собственными глазами. Для того, чтобы это произошло, Евтушенко потребовалось ещё девять лет. В 1961 году, оказавшись в Киеве, он встретился с Кузнецовым, и тот отвёл его к Бабьему Яру.

Это, вероятнее всего, произошло летом, то есть уже после жуткой катастрофы, случившейся 13 марта 1961-го и вошедшей в историю Киева под неофициальным, но прочно устоявшимся в сознании горожан названием — «Куренёвская трагедия».

В тот день под напором непрерывно закачиваемой в отгороженный от прилегающих к нему кварталов овраг Бабий Яр жидкой грязи рухнула халтурно возведённая земляная дамба — и огромная селевая волна высотой с четырёхэтажный дом, состоящая из грязной воды, камней, кусков дерева и различного мусора, мгновенно накрыла ту часть Кирилловской<sup>19</sup> улицы, где находился трамвайный парк и стояло множество жилых многоквартирных и частных домов и административных зданий. Сколько именно сгнуло в этом грязевом озере киевлян — неизвестно до сих пор. Согласно официальным данным, опубликованным в киевской прессе 31 марта 1961 года, во время катастрофы погибло 145 человек и пострадало, получив травмы различной степени тяжести, ещё 143.<sup>20</sup> Эти цифры с самого начала вызывали у жителей Киева серьёзные сомнения в их достоверности; согласно слухам, упорно циркулировавшим на протяжении многих последующих лет, число жертв прорыва дамбы у Бабьего Яра в действительности составило 2000 человек, а возможно и более. Столь же широкое распространение получила и inferнально-метафизическая версия произошедшего: «Бабий Яр мстит!» — шёпотом сообщали киевляне один другому, пугливо озираясь по сторонам — не подслушивает ли какой стукач.

Это было очередное преступление большевистского режима против порабощённого им народа — преступление, ставшее результатом

---

<sup>19</sup> Во время большевистской оккупации Киева была переименована и называлась улицей Фрунзе.

<sup>20</sup> См.: Вечерний Киев. 1961. 31 марта.

не намеренного злого умысла, а следствием тотального непрофессионализма и управленческой бездарности, но бывшее от этого ничуть не менее циничным и жестоким. Об его истоках и последствиях Анатолий Кузнецов написал в своём романе-документе «Бабий Яр», однако эти страницы были сразу же зарезаны идеологической цензурой и при первой публикации книги в Советском Союзе в 1966 году оказались читателям недоступны. В полном тексте, свободном от цензурного насилия, эта история рассказана следующим образом:

Украинским ЦК, который в 1957 году возглавил Николай Подгорный, <...> было принято соломоново решение: чтобы навсегда покончить с [нежелательными] разговорами — уничтожить Бабий Яр и забыть о нём. <...>

Засыпать такое огромное ущелье — титанический труд <...>. Было найдено остроумное инженерное решение: не засыпать, а замкнуть способом гидромеханизации.

Бабий Яр перегородили плотиной и стали в него качать по трубам пульпу с соседних карьеров кирпичного завода. Пульпа — это смесь воды и грязи. По оврагу разлилось озеро. <...> Вода в нём была гнилая, зелёная, неподвижная, и день и ночь шумели трубы, подающие пульпу. Это длилось несколько лет. Плотину подсыпáли, она росла, и к 1961 году стала высотой с шестизэтажный дом.

По идее грязь должна была отстаиваться, оседать, а вода стекать через плотину по желобам. Инженерные расчёты заключали в себе ошибку: грязь, которую качали долгие годы, не уплотнялась. Она так и оставалась жидкой, поскольку главной частью её была глина. Глинистые откосы Бабьего Яра, как водоупорные стены, надёжно сохраняли её в жидком состоянии. Бабий Яр, таким образом, был превращён в ванну грязи, такую же чудовищную, как и породившая её идея. Размытая внешними водами плотина рухнула, и ванна вылилась.<sup>21</sup>

В момент катастрофы Кузнецова в Киеве не было. О том, что произошло на его родной Куренёвке 13 марта 1961 года, ему рассказывали уцелевшие от гибели очевидцы — и он описал этот ужас с их слов:

<sup>21</sup> Анатолий А. (Кузнецов). Бабий Яр. С. 478–480 (компиляция).

Весенние талые воды устремились в Яр, переполнили озеро, жёлба не успевали пропускать поток, и вода пошла через гребень плотины. <...>

Сперва вода залила улицу, так что застряли трамваи и машины, а люди в это время спешили на работу, и по обе стороны наводнения собрались толпы, не могущие перебраться.

В 8 часов 45 минут утра раздался страшный рёв, из устья Бабьего Яра выкатился вал жидкой грязи высотой метров десять. Уцелевшие очевидцы, наблюдавшие издали, утверждают, что вал вылетел из оврага как курьерский поезд, никто убежать от него не мог, и крики сотен людей захлебнулись в полминуты.

Толпы людей вмиг были поглощены валом. Люди, бывшие в трамваях, машинах, — погибали, пожалуй, не успев сообразить, что случилось. Из движущейся вязкой трясины, вынырнуть или, как-либо барахтаясь, выкарабкаться было невозможно.

Дома по пути вала были снесены как картонные. Некоторые трамваи покатило и отнесло метров за двести, где и погребло. Погребены были трамвайный парк, больница, стадион, инструментальный завод, весь жилой район.<sup>22</sup>

Коммунисты отреагировали на учинённое преступление точно так же, как они реагировали на совершаемые ими злодеяния всегда:

Место катастрофы очень оперативно было обнесено высокими заборами, движение по улице Фрунзе закрыто, остатки трамваев накрыты железными листами, трассы гражданских авиалиний изменены, чтобы самолёты не пролетали над Куренёвкой и нельзя было сфотографировать. <...>

Раскопки длились два года. Было откопано множество трупов — в домах, в кроватях, в воздушных подушках, образовавшихся в комнатах под потолком. Кто-то звонил в телефонной будке — так и погиб с трубкой в руках. В трамвайном парке откопали группу кондукторов, как раз собравшихся там сдавать вырчку — и кассира, принимавшего её.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Там же. С. 479–480 (то же).

<sup>23</sup> Там же. С. 480–481.

Анатолий Кузнецов и Евгений Евтушенко стояли на краю Бабьего Яра, когда зловонного рукотворного озера в нём уже не было, и городская администрация лихорадочно готовилась к уничтожению проклятого оврага традиционным способом — засыпанием землёй с самосвалов. Дно и склоны были завалены всевозможным мусором и хламом, который не смогла унести с собой грязевая мартовская волна. Вспоминая, как он обозревал это отвратительное зрелище и слушал Кузнецова, который снова, как и девять лет назад, рассказывал ему о том, как нацисты убивали здесь жителей оккупированного ими Киева, — Евтушенко писал:

Тогда, впервые встав на обрыве перед Бабьим Яром рядом с Кузнецовым, вызвавшимся быть моим гидом, я потрясённо увидел, что там нет никакого памятника, ни даже какого-либо знака. Бабий Яр был превращён в свалку. Начало стихотворения выдохнулось само: «Над Бабьим Яром памятников нет...»<sup>24</sup>

По-видимому, рассказы о Куренёвской катастрофе 1961 года, услышанные Анатолием Кузнецовым во время пребывания в Киеве тем же летом, сыграли определённую роль в преодолении им внутреннего психологического барьера перед так долго мучившей его темой Бабьего Яра. Это — не более чем предположение, которое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако страшная и бессмысленная гибель множества киевлян, произошедшая без малого два десятилетия спустя после того, как запущенный нацистами в этом овраге конвейер смерти прекратил функционировать, но формальным виновником которой стал тот же самый Бабий Яр, не могла оставить его безучастным к свершившейся трагедии. Через три года, осенью 1964-го Кузнецов приехал в Киев из Тулы, где он тогда жил, и приступил к работе над рукописью своего «Бабьего Яра» — книги, которой было суждено стать главной в его не особенно обширной библиографии и которая кардинально изменила его собственную судьбу.

---

<sup>24</sup> *Евтушенко Е.* Волчий паспорт. С. 529–530.

## «ПРАВДА, ТОЛЬКО ПРАВДА...»

**П**убликация романа-документа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» в журнале «Юность» в 1966 году вызвала в Советском Союзе резонанс, ничуть не меньший, нежели тот, который сопутствовал пятью годами ранее появлению в «Литературной газете» одноимённого стихотворения Евгения Евтушенко. При этом никакого скандального флёра она за собой не имела, напротив — все рецензии были сугубо положительными, никто из потенциальных кузнецовских недоброжелателей не ставил под сомнение ни его происхождение, то есть национальность, ни тем более отсутствие у него «советского патриотизма». Оно и понятно: для того, чтобы на такое отважиться, нужно было быть по меньшей мере не в своём уме. Как следствие, желающих попробовать куснуть автора антифашистского произведения, публикация которого была одобрена на уровне ЦК КПСС, чуть ли не лично самим товарищем Сусловым, среди советских литкритиков невозможно было обнаружить, как говорится, и днём с огнём. Поэтому все отзывы были исключительно хвалебными.

Одной из получивших наибольшую известность стала рецензия под названием «Правда, только правда...», опубликованная в журнале «Новый мир» — в февральском номере за 1967 год.<sup>25</sup> Её автором была советская писательница-фантастка Ариадна Громова (1916–1981), которая благодаря фактам собственной биографии имела основания для того, чтобы высказываться на поднятую Анатолием Кузнецовым тему.<sup>26</sup>

В рецензии Громова называла «Бабий Яр» «вещью, насущно необходимой читателю и у нас, и за рубежом»,<sup>27</sup> и отмечала, что главным достоинством романа-документа является позиция его автора, который пишет только правду. Правда эта, разумеется, субъективна, но это вполне объяснимо — ведь Анатолий Кузнецов написал «не историю оккупированного Киева, а историю жизни простых советских людей,

<sup>25</sup> См.: Громова А. Правда, только правда... // Новый мир (Москва). 1967. № 2. С. 247–250.

<sup>26</sup> Во время нацистской оккупации Киева А. Громова была активисткой большевистского подполья, принимала участие в подготовке и осуществлении акций саботажа и диверсий. Была арестована гестапо, сумела бежать из эшелона при депортации в концлагерь и выжить.

<sup>27</sup> Громова А. Правда, только правда... // Новый мир. 1967. № 2. С. 249.

оказавшихся в сфере действия гитлеровского «нового порядка».<sup>28</sup> При этом рецензентка оговаривала, что книга Кузнецова «не претендует на то, чтобы рассказать «всё об оккупации»», поскольку «такая претензия вообще пагубна для искусства, а тем более когда речь идёт о таком громадном, сложном пласте жизни».<sup>29</sup> И утверждала:

Правда об этих людях, навсегда запечатлевшаяся в потрясённом сознании подростка, достойна того, чтобы о ней — пусть с опозданием на четверть века — узнал мир.<sup>30</sup>

Мир узнал, и довольно быстро. Произошло это в том же 1967 году, когда издания романа-документа Анатолия Кузнецова начали выходить в переводах на иностранные языки. Разумеется, за границей издавался тот же самый текст «Бабьего Яра», который был подвергнут жестокому цензурному насилию при первой публикации в журнале «Юность». В течение трёх лет (1967–1969) библиография переводных его изданий составила 33 наименования. Ещё год спустя в странах «свободного мира» был издан текст подлинный, освобождённый от цензурного насилия, — тот, который сам Анатолий Кузнецов просил своих читателей считать соответствующим его окончательной авторской воле.<sup>31</sup>

## ОДНИМ ЗАДОМ — НА ВСЕХ СТУЛЬЯХ

**О**ба «Бабьих Яра» — и стихотворение Евгения Евтушенко, и роман-документ Анатолия Кузнецова — после их публикации прозвучали очень громко — как в Советском Союзе, так и во всём мире. Их авторы стали всемирно известными советскими литераторами. И — что характерно — для них обоих эти произведения сыграли одинаковую роль — условного трамплина, с которого известность и началась. Поэт Евтушенко получил её именно в 1961–1962 годах — после публикации в советской печати его двух наиболее известных стихотворе-

<sup>28</sup> Там же. С. 248.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же. С. 250.

<sup>31</sup> См.: Анатолий А. (Кузнецов). Бабий Яр. Frankfurt am Main: Possev-Verlag, 1970. С. 13.



ний того времени: «Бабий Яр» и «Наследники Сталина» (второе было посвящено выносу мумии Генералиссимуса из зиккурата). Беллетрист Кузнецов удостоился того же позже — после того, как в 1966 году в трёх номерах журнала «Юность» был опубликован зверски изуродованный идеологической цензурой его роман «Бабий Яр». Однако на этом параллели в творческих биографиях и в судьбах этих литераторов закончились. А ещё через несколько лет их жизненные пути разошлись так далеко, что — используя донельзя затасканный штамп из арсенала всё того же Агитпропа — можно с полным основанием сказать, что Евтушенко и Кузнецов оказались по разные стороны баррикад. Или — если выразаться не столь воинственно — по обе стороны стены.

Поэт Евгений Евтушенко, чья деятельность и как литератора, и — шире — в качестве культурно-общественной персоны всегда диктовались только одним — невероятным, поистине безграничным, прямо-таки патологическим тщеславием, — в последующие годы превратился в то, что другой поэт — Иосиф Бродский — очень точно назвал «не человеком, а огромной фабрикой по воспроизводству самого себя».<sup>32</sup> Эта весьма саркастическая характеристика, данная Евтушенко будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе 1987 года, как нельзя лучше выражает подлинную сущность этого человека. Беда Евгения Александровича была в том, что по складу личности он принадлежал к той категории людей, про которых сложена общеизвестная русская народная присказка — «ради красного словца выпилит домино из костей родного отца». При переводе с языка образного, фольклорного на язык приземлённый, бытовой эта формула означает, что ради достижения мирской славы такой человек способен на любую подлость и не имеет никаких ограничений морального порядка, которые могли бы его от этого удержать. Собственно, вся вторая половина невероятно долгой земной жизни Евгения Евтушенко является лучшим доказательством справедливости данной характеристики его личности.

Можно привести великое множество примеров поступков, совершённых Евтушенко в качестве агента влияния тоталитарного режима СССР на Западе, где радикально-антикоммунистическая часть эмигрантской интеллектуальной элиты в 1970–1980-е годы воспринимала

---

<sup>32</sup> Иосиф Бродский: неизвестное интервью. [www.colta.ru/articles/literature/907-iosif-brodskiy-neizvestnoe-intervyu](http://www.colta.ru/articles/literature/907-iosif-brodskiy-neizvestnoe-intervyu) — 23 октября 2013 г.



его как персонального эмиссара Юрия Андропова, главы тайной политической полиции, в начале 1980-х ставшего на короткое время правителем Советского Союза. Такого мнения придерживался, в частности, литератор Василий Аксёнов, в 1960-е годы бывший одним из близких друзей Евтушенко. После резкого охлаждения отношений между ними, последовавшего в середине 1970-х вследствие непорядочного поведения Евгения Александровича, Аксёнов пришёл к выводу, что его бывший друг сознательно переметнулся на сторону ненавидимых им «коммуняк» и превратился из друга во врага, с которым более не может быть не только приятельских, но и никаких иных отношений.

Так на двурушничество автора «Наследников Сталина» реагировали его бывшие друзья. Что же касается его изначальных врагов, которых у Евгения Александровича всегда было с избытком, то они в выражениях по его адресу никогда себя не сдерживали. Например, антисоветский публицист и главный редактор эмигрантского журнала «Континент» Владимир Максимов называл Евтушенко «поэтическим фигляром», «литературным провокатором» и сравнивал его поведение с деятельностью российского писателя XIX века Фаддея Булгарина. Который, как было хорошо известно всем его коллегам по перу, являлся не только сочинителем популярных исторических романов и мишенью злой сатиры поэта А. С. Пушкина, но и сотрудником тогдашней тайной полиции — получившего печальную известность Третьего отделения личной Канцелярии императора Николая I. Пытаясь предупредить западное либеральное сообщество о том, какой это двуличный и лицемерный человек, Максимов с нескрываемым злорадством информировал плохо ориентирующихся в советских делах иностранцев:

Он, к примеру, пишет и печатает стихотворение «Бабий Яр», а затем в качестве члена редколлегии журнала «Юность» поддерживает резолюцию об «израильской агрессии».<sup>53</sup> Он посылает в адрес правительства широковещательную телеграмму против оккупации Чехословакии, но вслед за этим делает приватное заявление в партбюро Московского отделения Союза писателей с осуждением своей первоначальной позиции. Он громогласно

<sup>53</sup> Имеется в виду новая кампания государственного антисемитизма, связанная в Советском Союзе после арабо-израильской Шестидневной войны 1967 г., когда Израиль наголову разгромил советских сателлитов на Ближнем Востоке — Египет и Сирию.

защищает Солженицына — и тут же бежит в верхи извиняться и каяться <...>. <sup>34</sup>

Эти максимовские утверждения не были ни гиперболизацией фактов, столь свойственной жанру политического фельетона, ни тем паче намеренными злобными инсинуациями по адресу Евтушенко, обусловленными, как это частенько случается у творческих людей, чувством глубокой личной неприязни, имеющей иррациональный характер. Вовсе нет. Смесь презрения с ненавистью, которой пышут приведённые выше строки, была прямым следствием совершаемых Евтушенко поступков, благодаря чему он и приобрёл сомнительную репутацию человека-перевёртыша, способного с лёгкостью менять свои убеждения в зависимости от социально-политической конъюнктуры. Лучшим из известных мне образных определений сущности Евтушенко являются слова литератора Владимира Войновича:

Евтушенко — это человек, который всю жизнь стремился сидеть своей не самой выдающейся седалищной частью не на двух, не на трёх и даже не на четырёх, а — на всех стульях, какие только есть в поле его зрения, если до них можно было дотянуться его длинными руками. <sup>35</sup>

Точнее, ей-богу, не скажешь. Тем более что руки у Евгения Александровича и в самом деле были весьма длинные — из разряда тех, которые принято называть «загребущими».

## ПЕРСОНАЖИ И ПРОТОТИПЫ

**Т**акое поведение Евтушенко привело к тому, что сначала он стал объектом множества пародий и окололитературных баек, а затем и вовсе превратился из человека в персонажа — и не в одних лишь его собственных автобиографических опусах. Он поселился — под раз-

<sup>34</sup> Максимов В. Осторожно — Евтушенко! // Максимов В. Сага о носорогах. Frankfurt am Main: Possev-Verlag, 1981. С. 173.

<sup>35</sup> Личная информация.

ными, по большей части вполне прозрачными, псевдонимами — на страницах сочинений коллег по перу, в основном из числа тех, которые не спешили восхищаться его талантом, но не могли удержаться от того, чтобы не поиздеваться над тем, что он говорит, что пишет, как выглядит — ну и, разумеется, просто над ним самим как явлением культуры.

Кто только не выводил Евгения Александровича в своих сочинениях!.. Пожалуй, только ленивый. Или тот, кому это было неинтересно. Из тех же, кому интересно было, отметились, кажется, все — от незабвенного Эдички Лимонова (поэт Ефименков в романе «История его слуги» и нескольких рассказах) и Александра Зиновьева (поэт Распашонка в романе «Зияющие высоты») до Василия Аксёнова (поэт Ян Тушинский в романе «Таинственная страсть»). Персонажи, как правило, по сравнению с прототипом выглядели весьма шаржированно, чтобы не сказать — карикатурно. При этом некоторые литераторы не заморачивались даже насчёт того, чтобы снабдить персонажа намекающим на прототип псевдонимом и вставляли его в свои сочинения под подлинной фамилией. В этом сегменте одним из наиболее выпуклых оказался Евтушенко, несколько раз мелькающий, словно мелкий вертлявый бес, на страницах романа Сергея Юрьена «Нарушитель границы», действие в котором происходит в Москве в 1967 году:

За дальним столиком под балюстрадой сидел поэт Евтушенко. Оттуда доносились хлопки шампанского и выкрики:

— Это им с рук не сойдёт! Я ещё Юрию Владимировичу выражу!..

— Эдварду<sup>36</sup> буду звонить! Артуру Миллеру!..

— Плутократов подключу!..

<...>

Я расплатился.

<sup>36</sup> Имеется в виду Эдвард Кеннеди (1932–2009) — американский политический деятель, влиятельный член Демократической партии, младший брат 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди (1917–1963). Е. Евтушенко был знаком с Э. Кеннеди и постоянно спекулировал на этом факте для того, чтобы производить на окружающих впечатление большей собственной значимости в их глазах.

На лестнице две женщины помогали поэту Евтушенко сходить по ступенькам. Заплетающимся языком он рассказывал им притчу об отважном Кролике, который сходил в спящего с открытым ртом Удава, после чего вернулся, безнаказанный.

— Ты наш Калиостро, — невпопад повторяла одна дама.

— Нет, я — Кролик! — выкрикивал поэт. — Но для которого хождение в Удава стало образом жизни! Rabbit, run!..<sup>37</sup>

Его погрузили на заднее сиденье белой «Волги»-пикапа, запаркованной у входа в ресторан. Поэт открутил стекло и высунулся ко мне, прикуривающему из своих ладоней:

— Здравствуй, племя молодое-незнакомое!<sup>38</sup>

Ну и так далее.

Анатолию Кузнецову в этом смысле повезло (кавычки подразумеваются) существенно меньше. Он, насколько известно, в качестве прототипа в чьих-либо беллетристических произведениях был использован всего один раз. Этим единственным случаем стало появление в романе Василия Аксёнова «Ожог» персонажа по имени Игорь Серебро — скульптора, мелкого советского холуя и конформиста, который после бегства на Запад начинает выступать по «радиоголосам» с восторженными рассказами о том, как хорошо жить в свободном мире и как он всю жизнь тайно ненавидел коммунистический тоталитарный режим. Что, однако же, никоим образом не мешало ему сотрудничать с тайной полицией и строчить доносы на своих друзей.<sup>39</sup>

Персонаж получился весьма непривлекательным, если не сказать — мерзким. В том, как он себя ведёт, выразилось резкое изменение отношения Аксёнова к личности Кузнецова, произошедшее после того, как автор «Ожога» узнал о том, что этот его близкий друг являлся одновременно агентом-провокатором КГБ и написал на него же донос, чтобы получить возможность выехать в Лондон и там сбежать.

<sup>37</sup> Кролик, беги!.. (англ.) Аллюзия на название романа «Rabbit, run» (1960) американского писателя Джона Апдайка (1932–2009).

<sup>38</sup> Юрьенен С. Нарушитель границы. Париж — Нью-Йорк: Третья Волна, 1986. С. 131–132. В позднейшей редакции фамилия данного персонажа была заменена на иную — Петушенко.

<sup>39</sup> См.: Аксёнов В. Ожог. М.: Огонёк, 1990. С. 326–328.

Василий Аксёнов, известный всему «либеральному литературному лагерю» присущими его характеру терпимостью, незлобивостью и великодушием по отношению к недостаткам и даже порокам своих друзей и приятелей, на сей раз проявил не свойственную ему жёсткость и был категоричен в оценке признаний Кузнецова. По-видимому, именно этим обстоятельством и было обусловлено появление в главном аксёновском романе 1970-х годов малопривлекательного персонажа, прототипом которого стал автор «Бабьего Яра». Впрочем, если оценивать роман «Ожог» по пресловутому «гамбургскому счёту», то невозможно будет не согласиться с тем, что, если бы персонажа по имени Игорь Серебро в нём не было, произведение это ровным счётом ничего бы не потеряло — равно как и от его в нём присутствии оно ничего и не приобрело.

Что же касается «низменных жанров», то про Кузнецова после его бегства из Советского Союза в 1969 году там если и писали, то исключительно в жанре клеветона (клеветнического фельетона), столь популярном в советском официозе в брежневско-андроповские времена. Первым и наиболее известным образчиком которого стала похабная статейка под названием «Несколько слов о бывшем Анатолии Кузнецове», помещённая в «Литературной газете» через неделю после того, как автор «Бабьего Яра» объявил о своём нежелании возвращаться из Лондона в Москву.<sup>40</sup> Продолжалось это, правда, весьма недолго, после чего о существовании дефектора Кузнецова было приказано забыть — так, словно его и вовсе никогда не было. Когда же десять лет спустя Кузнецов умер, то единственными, кто о нём иногда вспоминал, были его коллеги по службе — сотрудники Русской службы американской радиостанции «Свобода», которые сначала к первой годовщине смерти, а затем по так называемым «круглым» и «полу-круглым» датам выпускали мемориальную передачу, посвящённую памяти своего безвременно скончавшегося сослуживца.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> См.: *Полевой Б.* Несколько слов о бывшем Анатолии Кузнецове // Литературная газета (Москва). 1969. № 32 (4214). 6 августа. С. 3.

<sup>41</sup> См., например: Радио «Свобода» — программа «Памяти Анатолия Кузнецова» (радиожурнал «С другого берега», выпуск от 19 июня 1980 г.); программа «Памяти Анатолия Кузнецова» (радиожурнал «Культура. Судьбы. Время», выпуск от 12 июня 1984 г.).

## СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК ОБЪЕКТИВНОСТЬ

**П**исать об Анатолии Кузнецове у него на родине начали только на рубеже 1980–1990-х годов — когда в эпоху горбачёвской Перестройки наконец сохла идеологическая цензура. В ту благоденственную пору стало возможным публиковать не только те литературные произведения, за чтение и распространение которых ещё недавно можно было нарваться на серьёзные неприятности, но и вообще всё, что только могло пользоваться читательским спросом. Началось, как водится, со всевозможных сопроводиловок — предисловий и послесловий — к републикациям сочинений Кузнецова в освободившейся от цензурного гнёта советской прессе.<sup>42</sup> Затем, в 1990-е, настал черёд мемуаристов — подлинных и тех, кто претендовал на то, чтобы выступать в данном качестве, не имея на то ни морального, ни какого бы то ни было иного права.<sup>43</sup>

В первые годы XXI века имя Анатолия Кузнецова также встречалось в мемуарной литературе, хотя и довольно редко. Так, литератор-эмигрант Анатолий Гладилин (1935–2018) уделил Кузнецову несколько страниц в вышедшей в 2008 году книге «Улица Генералов: Попытка мемуаров».<sup>44</sup> В этом сочинении один из со-основателей жанра так называемой «молодёжной исповедальной прозы», к тому времени уже три десятилетия как обосновавшийся на жительство в Париже, поведал своим читателям несколько баек про Анатолия Кузнецова, относящихся к 1950–1960-м годам. (С Кузнецовым Гладилин был знаком без малого четверть века — с 1954 года, когда они оба поступили на учёбу в Литературный институт имени Максима Горького, где на протяжении многих месяцев сидели за одной партой, то есть за одним столом; так что он имел полное право на то, чтобы писать воспоми-

<sup>42</sup> См., например: *Сарнов Б.* [Предисловие] / Кузнецов А. Артист миманса // Огонёк (Москва). 1990. № 30 (3288). 21–28 июля. С. 18–19.

<sup>43</sup> См.: *Минутко И.* Возвращение Анатолия Кузнецова // Вопросы литературы (Москва). 1995. Вып. IV (июль-август). С. 51–90; *Он же.* Возвращение Анатолия Кузнецова // Грани (Москва). 1997. № 184. С. 43–89; 1998. № 185. С. 62–111; 1998. № 186. С. 97–125; *Владимиров Л. и др.* Жизнь Номер Два // Время и мы (Москва — Нью-Йорк). 1999. № 144. С. 252–267.

<sup>44</sup> См.: *Гладилин А.* Улица Генералов: Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008. С. 118–133.

нания.) Из рассказов Гладилина все желающие могли узнать, например, о том, как Кузнецову впервые в жизни привелось попробовать чёрную икру,<sup>45</sup> о том, что он, учась в Литературном институте, пользовался услугами московских уличных проституток,<sup>46</sup> и о том, каким образом к нему пришла писательская слава.<sup>47</sup> А также о том, что после получения диплома Кузнецов уехал из Москвы, где ему негде было жить с женой и с только что родившимся ребёнком, в Тулу, соблазнившись посулами тамошнего обкомовского начальства, пообещавшего ему в случае согласия на членство в создававшемся тогда Тульском отделении Союза писателей РСФСР немедленно предоставить квартиру и прочие материальные блага.<sup>48</sup>

Поведал мемуарист Гладилин и о самом известном факте из биографии своего коллеги по перу — то есть о бегстве Кузнецова из Советского Союза в 1969 году, рассказав об этом так, как эта история запомнилась ему с внутренней стороны «железного занавеса».<sup>49</sup> Не стал умалчивать и о реакции на сенсационное известие, принесённое на самых коротких в мире радиоволнах, их с Кузнецовым общих друзей — всё того же Василия Аксёнова, отреагировавшего на то, что произошло с их товарищем, весьма болезненно.<sup>50</sup> Собственное отношение к сделанным Кузнецовым после бегства признаниям в сотрудничестве с КГБ Гладилин выразил следующим образом:

Сейчас может <...> показаться, что Анатолий Кузнецов был истерическим типом или несколько сошёл с ума. Но тогда никто не мог предположить, что откроется выезд по еврейской линии. Более того: что советское правительство будет торговать евреями, как нефтью <...>. Советский Союз был закрыт на замок надёжней, чем самая лучшая тюрьма. А узники тюрем мечтают о побеге, выискивая фантастические варианты. Вариант, выбранный Кузнецовым, был в то время единственным реальным. Так что, честное

<sup>45</sup> См.: *Гладилин А.* Улица Генералов: Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008 С. 121–122.

<sup>46</sup> Там же. С. 123.

<sup>47</sup> Там же. С. 120–121.

<sup>48</sup> Там же. С. 124.

<sup>49</sup> Там же. С. 128–130.

<sup>50</sup> Там же. С. 131.

слово, я на него не обиделся, тем более, когда услышал по Би-Би-Си, как на него насели тульские гэбэшники.<sup>51</sup>

Пожалуй, эта оценка принадлежит к разряду той самой субъективности, которая вполне может претендовать на объективность. Однако мемуарная история продолжилась, и на сей раз — стараниями того, кому лучше всего было бы просто промолчать.

## ЛОЖЬ НА КОНЧИКЕ ПЕРА

**В** уже цитировавшейся книге «Волчий паспорт», помимо рассказа о том, как в юную жизнь её автора вошла тема этого страшного преступления времён Второй мировой войны, имеется также несколько фраз, в которых Евгений Евтушенко выразил собственное отношение к тому, что произошло с Анатолием Кузнецовым после того как тот написал собственный «Бабий Яр». Это — текст настолько вопиющий и настолько же непристойный, что его не только невозможно обойти вниманием в контексте анализируемой темы, но совершенно необходимо привести — в полном виде, так, как он набран в первоисточнике. Рассуждая о причинах, которые подтолкнули Кузнецова к дефекторству, Евтушенко утверждал:

Кузнецова не убили в Бабьем Яру — его убил собственный роман о Бабьем Яре. Роман напечатали, но он был зверски искромсан цензурой.

По-моему, у Кузнецова в результате издевательства над его любимым детищем что-то случилось с головой. Аксёнов мне рассказал, что однажды он ночевал у Кузнецова и тот послал к нему с подносом, уставленным напитками, собственную жену, на высоких каблуках и в чём мать родила. Когда меня и Аксёнова вывели из редколлегии «Юности», туда почему-то спешно ввели Кузнецова и столь же спешно командировали для работы над романом об Энгельсе в Лондон, где он и сбежал, прихватив пару микрофильмов: один — с полным текстом романа «Бабий Яр», а другой — с какими-то эротическими доморощенными арабесками.

<sup>51</sup> Там же. С. 130.



Затем, видимо пытаясь вызвать жалость к своей судьбе, Кузнецов напечатал в «Обсёрвере» «Исповедь доносчика», где признался, что строчил доносы в КГБ на советских братьев-писателей — в том числе и на меня. Однако это вызвало не жалость, а презрение его западных коллег. Через несколько лет он трагически погиб в автокатастрофе. Жаль, что так некрасиво и нелепо закончилась жизнь этого талантливого писателя. Но я ему всё равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привёл меня к Бабьему Яру.<sup>52</sup>

Читаешь этакое — и не знаешь, как правильно реагировать: смеяться или плакать. Поскольку концентрация вранья в этом мизерном по объёму тексте такова, что ложь, образно выражаясь, сочится почти из каждой строки. Разоблачать евтушенковские бредни противно, но ничего не поделаешь — надо. Итак:

- в Лондон Кузнецов отправился не для работы над романом об Энгельсе, а для сбора материалов для написания романа о создании Российской социал-демократической рабочей партии и о её вожде — Ленине;
- микрофильмов, прихваченных Кузнецовым в эту поездку, была не «пара» — их было десятка полтора;
- статья, в которой Кузнецов признался в том, что он «строчил доносы на братьев-писателей», в том числе и на Евтушенко, называлась не «Исповедь доносчика», а «Русские писатели и тайная полиция», и была она опубликована не в газете «The Observer», а в газете «The Sunday Telegraph».
- самый этот факт (публичного саморазоблачения Кузнецова в качестве агента-провокатора КГБ) вызвал отнюдь не жалость и уж тем паче не презрение по отношению к советскому дефектору со стороны английских и прочих его западных коллег по перу (хотя и без отдельных проявлений этого, разумеется, не обошлось) — он вызвал в первую очередь сочувствие и стремление помочь Кузнецову в максимально безболезненной адаптации к жизни на Западе.

Ну и, разумеется, Анатолий Кузнецов вовсе не погиб ни в какой автомобильной катастрофе, как это на голубом глазу утверждал Евту-

<sup>52</sup> *Евтушенко Е.* Волчий паспорт. С. 529.

шенко, явно слышавший звон, но не запомнивший, откуда взялся он. В автомобильной катастрофе погиб совсем другой человек — писатель-диссидент Андрей Амальрик, тот самый, который ещё в 1969 году предрёк неизбежный крах и распад Советской империи,<sup>53</sup> хотя в то время его предсказание по почти единодушному мнению высокопоставленных интеллектуалов по обе стороны «железного занавеса» было расценено как эпатажное сочинение в жанре ненаучной фантастики.

Что же касается утверждения Евтушенко о том, что Анатолия Кузнецова убил его же собственный роман о Бабьем Яре — поскольку, дескать, у него от издевательства цензуры, зверски искромсавшей его любимое детище, «что-то случилось с головой», — это уже просто ни в какие ворота не лезет. Равно как и более чем толстый намёк автора «Автобиографии рано созревшего человека» на то, что вследствие пережитого эмоционального потрясения от баталий с цензурой Кузнецов стал предлагать своим друзьям по писательскому сообществу в качестве женщины для секса собственную жену. И не в том смысле, что такого не могло быть по определению, но именно по причине самого этого гнусного намёка — на психическое нездоровье автора изнасилованного цензурой романа «Бабий Яр».

Чтобы у читателя не возникло определённого недоумения, на этой последней теме придётся остановиться подробнее.

Существует несколько свидетельств мемуарного характера о том, что происходило в семье Анатолия Кузнецова и Ирины Марченко в плане сексуальных — выражаясь максимально сдержанно — экспериментов. Включая принадлежащее авторству того же литератора Анатолия Гладилина, который утверждал, что по крайней мере однажды имел возможность убедиться в этом на собственном примере. Дабы не заниматься пересказом «с русского на русский», считаю необходимым привести соответствующий пассаж из гладилинских мемуаров в том виде, в каком он в них опубликован:

Я приезжал к нему (Кузнецову. — П.М.) несколько раз, и как-то завернул, возвращаясь из Крыма, на «Запорожце» первого выпуска. <...> Я приехал совершенно измочаленный, еле-еле добрался до Кузнецова, а он под это дело — Гладилин приехал — собрал

<sup>53</sup> См.: Амальрик А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам: Фонд им. Герцена, 1969.

писателей, те пришли с жёнами, и начался загул. И Толя, не так уж много выпив, мне говорит: «Между прочим, у нас принято и жёнами меняться. Смотри, кто тебе понравится, можно и мою Ирку, не церемонься...» Мне показалось это пьяной ахинеей, и я ответил: «Толь, ты знаешь, я ехал четырнадцать часов за рулём, я сейчас в трупном состоянии, поэтому закрой меня где-нибудь в комнате, чтобы никто ко мне не входил, я просто валюсь от усталости». Но на следующий день я вспомнил эти разговоры и несколько озадачился. Интересные у них развлечения в тульской писательской организации...<sup>54</sup>

Вот, собственно, и всё. Никакого пикантного продолжения за многозначительным многоточием не следует. Что позволяет каждому читателю понимать прочитанное, как говорится, лишь в меру собственной испорченности — и не более того.

Тем не менее рассматривать вышеприведённый рассказ Гладилина как чистый вымысел не представляется возможным — хотя бы по той причине, что нечто подобное тому, о чём он написал, в семье автора «Бабьего Яра» и в самом деле происходило. В противном случае «аморальное бытовое поведение» коммуниста Кузнецова А. В. вряд ли рассматривалось бы на заседании руководства Тульского обкома КПСС. Что, в свою очередь, позднее нашло отражение в документах гораздо более высокого уровня — например, в докладной записке Юрия Андропова в ЦК КПСС, посвящённой «делу Кузнецова».

Вопрос о том, как, когда и при каких обстоятельствах писатель Анатолий Кузнецов стал агентом-провокатором КГБ, несомненно, требует отдельного исследования. Проведение которого в настоящий момент является практически невозможным, поскольку отсутствует возможность получения доступа к его агентурному досье, которое должно находиться в архиве Тульского областного управления ФСБ, и к личному делу члена коммунистической партии, пребывающему, по-видимому, в том месте, куда после краха и распада Советского Союза был передан на хранение архив Тульского обкома КПСС. Как только внутривнутриполитические реалии в России изменятся, и она начнёт трансформироваться из неосоветской, являющейся омерзительно-карикатурным подобием

<sup>54</sup> Гладилин А. Улица Генералов: Попытка мемуаров. С. 125.

СССР,— во что её за последние двадцать лет превратил путинский гэбистско-воровской режим,— в подлинную, свободную и демократическую Россию, эта работа непременно будет осуществлена, а её результаты опубликованы.

## И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛОВ

**В** русском языке существует общеизвестное идиоматическое выражение — «врёт как очевидец». Используется оно для характеристики человека, который обладает способностью не только убедительно выдавать желаемое за действительное, но и сознательно дезинформировать окружающих, преподнося вымышленные им события как подлинные факты. В случае, когда подобное враньё не приводит к каким-либо серьёзным последствиям, связанным с применением уголовного законодательства, окружающие именуют такого человека «выдумщиком», «фантазёром», «мудозвоном», «пиздоболом», «фуфлогоном» и тому подобными терминами, имеющими различный эмоциональный окрас — от неявно выраженного иронического до откровенно саркастического и презрительного — в зависимости от контекста. Если же контекст содержит признаки деяния, подпадающего под юридические нормы, то определения становятся существенно жёстче, и невинный «фантазёр» превращается — разумеется, в случае доказанного судом обвинения — в «клеветника». При этом дистанция, отделяющего первого от второго, определяется исключительно компетенцией судьи, качеством представленных истцом доказательств и способностью адвоката ответчика их дезавуировать.

Мемуарный жанр в этом отношении даёт возможности практически неограниченные. Ни одна подобная книга не остаётся без того, чтобы к написавшему её автору не были предъявлены претензии со стороны того или иного человека, который в этой книге упомянут под его подлинным именем, или же от его ближайших родственников, если сам он уже не имеет такой возможности вследствие, как говорится, естественных причин. При этом абсолютное большинство подобных претензий остаётся на уровне эмоционального возмущения и крайне редко трансформируется в судебные разбирательства по обвинению в намеренной клевете. Это совершенно естественно и легко объяснимо: любые претензии в диффамации мемуарист име-

ет возможность с лёгкостью парировать аргументом: «А я всё это *так* помню. И что вы мне сделаете?»

И в самом деле — что ему за это можно сделать, если он это *так* помнит? Разве что назвать каким-нибудь из ранее перечисленных терминов и сделать вид, что он всегда таковым и являлся. Ну так это ему — как слону дробина, поскольку, как гласит ещё одна общеизвестная русская народная присказка, «брань на вороту не виснет». Тогда как скандал — и это вам подтвердит любой директор по маркетингу любого издательства — является наилучшим из всех способов рекламы. Именно по этой причине таким высоким спросом у так называемой «широкой читательской аудитории» пользуются всевозможные сочинения из категории «жизнь примечательных людей», написанные в позиции стоя на коленях, с глазом, втиснутым в чужую замочную скважину.

Бороться с этим литературным жанром бесполезно, поскольку бессмысленно, и бессмысленно, поскольку — бесполезно. Его можно только игнорировать.

Вот, собственно, и всё, что можно сказать о воспоминаниях Евгения Евтушенко о его знакомстве с Анатолием Кузнецовым. Что, разумеется, никоим образом не отменяет значимости написанного им в 1961 году стихотворения под названием «Бабий Яр». А также того, что этот факт сыграл существенную роль во время борьбы Анатолия Кузнецова с советской идеологической цензурой, пытавшейся не допустить публикации его собственного одноимённого романа.

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

*Павел Матвеев* — литературовед, публицист, редактор. Основная тема интересов — история российской литературы двадцатого века в части эмигрантского её существования (так называемая «третья волна» 1970–1980-е годы) и взаимоотношения советских писателей-диссидентов с советской политической полицией внутри СССР. Ряд публикаций — в «толстых» российских литературных журналах («Знамя»), а также в зарубежных изданиях и в Интернете. Живет в России.

Юрий СОЛОДКИН  
СТИХИ

---

Лилит и Ева

1

Адам был первый и единственный  
В неведомых библейских кущах.  
Но тщетно замысел таинственный  
Понять во временах текущих.

Постичь Творца желанье вечное.  
Нет для людей важнее дела.  
Но и пространство бесконечное,  
И вглубь не видится предела.

Он плана не имел подробного,  
Но Богу быть хотелось Богом,  
И сотворил себе подобного  
Хоть частью, хоть каким-то боком.

Вселенной тайны непосильные,  
Непостижимые вовеки.  
Зачем на Землю мы посыльные?  
Что Богом скрыто в человеке?

Но вот он есть — венец творения,  
Живой, как рыба, зверь и птица.  
Ему не избежать старения,  
И должен он, как все, плодиться.

У Бога нет сомнений в способе,  
Всему живому способ ведом.  
И к сотворенью женской особи  
Создатель приступает следом.

Вот изменения немногие,  
И у Творца готова дама.  
По той же самой технологии  
Лилит создал Он для Адама.

## 2

Не знает Бог, что есть усталость,  
Конечный близится момент.  
Программу запустить осталось  
И начинать эксперимент.

Где поместить их — не проблема.  
Он Бог, и сам себе велит  
Расположить в садах Эдема  
Адама и его Лилит.

Есть в изобилии питанье,  
На бодрость день, и ночь на сон.  
Бог начинает испытанье,  
Что сотворил в итоге Он?

Едят и пьют себе в усладу,  
Лежат, наевшись, на траве.  
Весь день слоняются по саду,  
И только ветер в голове.

Разборкам нет конца и края.

— Я так хочу!

— Я так хочу!

— Ты кто такой?!

— Ты кто такая?!

— Да замолчи!

— Не замолчу!

Нет ни о чём у них заботы,  
Ничто не требует труда,  
А без усилий и работы  
Не стать людьми им никогда.

Короче, недочётов много  
В начальном варианте есть,  
И это снова дело Бога,  
Как их теперь Ему учесть.

### 3

Что изменить в Адаме новом?  
А может, изменить среду  
И поселить в краю суровом,  
Чтоб добывал себе еду?

Отвергнута идея с ходу.  
Какой ещё суровый край!  
Не выжить в нём Адаму сроду.  
Пока пусть остаётся рай.

Но в поведение Адама  
Ввести поправку есть резон.  
Иною быть должна программа,  
С которой жизнь продолжит он.



Жить беззаботно не годится,  
Работу надо дать уму,  
И стимул должен быть трудиться,  
Потребность мыслить самому.

Недюжинный включился Разум,  
Отличный ход придумал Он.  
Проблемы все решились разом —  
Включил Он мясо в рацион.

И даже если нет охоты,  
Добычу надо добывать.  
Ножи и копья для охоты  
Нужны, чтоб зверя убивать.

Пусть понимает понемногу,  
Что в жизни обретает вес.  
Представить трудно даже Богу,  
Где остановится прогресс.

#### 4

С Лилит сложней. Что делать с ней?  
С Адамом было всё ясней.  
Лилит чуть что, кричит «О Боже,  
Услышь меня! Я тоже, тоже!»

Что делать со строптивой бабой?  
Творец специалист не слабый,  
Но тут расстроился вконец.  
Как быть, задумался Творец.

Ходил с идеями по кругу  
И понял — новую подругу  
Творить Адаму должен Он.  
И погрузил Адама в сон.

## 5

Жена к Адаму быть должна добра  
И мужа почитать почти как Бога.  
От копчика, а может, от ребра,  
Творец для Евы отщепил немного.

Он плоть от плоти сотворил её  
И поселил их вместе на планете.  
И понеслось земное бытиё —  
Семья, очаг и дети, дети, дети...

История людская непроста.  
Менялись поколения, эпохи.  
К Тебе взывал распятый сын с креста.  
Дела казались нестерпимо плохи.

Казалось, что необратимо зло,  
Но свет добра пронзал победно тучи.  
И гибли те, кому не повезло,  
И жили те, которые везучи.

К Тебе, Творец, всё ближе мудрецы,  
Вникают в суть бердяевы и канты.  
В хайтеке чудеса творят спецы,  
Уже понятны гены, ядра, кванты.

Вот кто Ты есть, пока ещё разлад —  
Хашем, Аллах иль Троица святая?  
То тут, то там не жизнь, а сущий ад,  
И всем за верность обещанье рая.

А что Лилит? Чем завершилась драма?  
Казалось бы, ушла в небытие.  
Но ты ведь жизни не лишал её.  
Она детей имела от Адама.

Из века в век безропотные евы  
Детей рожали, стерегли очаг.  
Страх и печаль селились в их очах.  
Ау, лилиты, затерялись где вы?

Отозвались лилиты наконец.  
Пришла пора, и речь их зазвучала.  
Твоя Лилит не зря была, Творец,  
Она лишь не годилась для Начала.

Сейчас живём в иные времена.  
Чудны, Господь, Твои свершенья эти.  
В семье всё чаще трудится жена,  
А дома остаются муж и дети.

Приемлю мир, который есть как есть.  
В нём Божьей волей воедино слиты  
С адами и евы и лилиты.  
Любить друг друга выпала им честь.

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

*Юрий Солодкин* родился за год до войны в Новосибирске, где со временем прошёл все ступени научного сотрудника — от аспиранта до доктора технических наук, профессора. На 57-м году жизни эмигрировал в Америку, где проработал ещё 20 лет.

Немало времени Юрий Солодкин уделяет творчеству. За это время им опубликованы очерки, интервью и книги стихов «Библейские поэмы», «Если вкратце...», «Стихи по случаю», «Кто пишет в Книгу наши судьбы...», а также семь книжек для детей.

Владимир КОВНЕР

## ЭДВАРД ЛИР: ЛИМЕРИКИ

---

**В** 1988 г. в Лондоне, в Уголке Поэтов Вестминстерского Аббатства рядом с такими именами как Шекспир, Роберт Бёрнс, Лорд Байрон, Альфред Теннисон, Редьярд Киплинг и других классиков английской поэзии, был установлен мемориал Эдварду Лиру к столетию со дня его смерти — гранитный камень, на котором просто написано «Эдвард Лир, 1812–1888, художник и поэт, похоронен в Сан-Ремо».

Лир был блистательным представителем английской литературы «абсурда» XIX века, гениальным «шутком», создавшим мир, в котором все было вверх тормашками.



Но начнем с начала его жизни. Эдвард был 20-м ребенком в семье. Он был страшно близорук и страдал от астмы и бронхита, а к 5–6 годам у него развилась эпилепсия, что наложило глубокий отпечаток на всю его жизнь. В то время эпилепсия ассоциировалась с одержимостью дьяволом, что делало эту болезнь постыдной, а больного — обрекала на одиночество, и стало одной из причин, почему он никогда не женился.

Несмотря на болезни, Лир прожил до 76 лет и добился невероятно успеха во всем, чем занимался. Человек многих талантов, знающий несколько языков, он был поэтом, прозаиком, художником, композитором и исполнителем, орнитологом и ...неутомимым путешествен-

ником. Он не имел формального образования и был воспитан двумя старшими сестрами, которые научили его читать и писать, играть на фортепьяно, рисовать карандашом и красками. Фактически, старшая сестра Анна, на 21 год старше его, стала его матерью.

С 15 лет ему пришлось зарабатывать рисунками, как он говорил, «на хлеб и сыр». Когда Лиру было 18 лет, его рисунки попугаев в саду Лондонского Зоологического Общества были признаны одними из лучших орнитологических иллюстраций, когда-либо опубликованных в Англии, причем они были рисованы с живых птиц, а не с чучел, как было принято в то время. Президент зоологического общества лорд Стэнли, граф Дерби, пригласил Лира в свое поместье как художника-орнитолога, чтобы описать его внушительную коллекцию птиц. В доме лорда Стэнли кто-то подарил Лиру книгу лимериков *Приключения пятнадцати джентльменов*. Эта книга, особенно наиболее известный лимерик: «Жил большой старичок из Тобаго/ Лишь на рисовой каше и саго./ Врач пришел на подмогу:/ «На баранью ногу/ Перейди — не во вред, а во благо!» — дали Лиру идею использовать эту стихотворную форму для безграничного разнообразия абсурдных стишков и рисунков, которыми он в свободное время развлекал сначала многочисленных внуков, а затем и взрослых гостей графа. К стишкам прибавились и песенки, для которых он сам же писал и музыку. Лир утверждал, что в детстве практически никогда не чувствовал себя ребенком и думал, что странно, «как дети любят меня. Ничего я не жаждал даже наполовину так сильно, как счастливо хихикать и прыгать на одной ножке, но я не мог осмелиться».

Лир начал путешествовать и после публикации его иллюстраций к журналу путешествий по Италии в 1846 году, британская королева Виктория пригласила его как мастера-рисовальщика дать ей серию уроков. Лир провел с ней три недели, и королева с явным удовольствием отметила в своем дневнике, какими полезными были уроки и каким внимательным и подбадривающим был ее педагог.

В 1846 и 1855 годах под псевдонимом «Старый Дерри из Дерри» и в 1861 г. под своим именем Лир опубликовал первую *Книгу нонсенса* (чепухи, вздора, бессмыслицы, абсурда). После колоссального успеха первого издания, Лир продал права на книгу за 125 фунтов стерлингов, что тогда было такой огромной суммой для писателя и художника, что «вся дорога до Банка, куда я хотел положить деньги, была забита каретами и людьми, жаждущими взглянуть на виновника сен-

сации» (из письма к Леди Уолдерграйв, 1862). За первой последовали вторая, третья и четвертая *Книги нонсенса*, в которые вошли как новые лимерики (в третьей книге), так и абсурдные песни, поэмы, кулинария, ботаника, азбука и т.д. Всего Лир выпустил четыре *Книги нонсенса*, которые при его жизни были переизданы 25 раз в Англии и Америке.

Фактически он создал новый мир, без правил и законов пуританского общества, мир свободы и веселья, с выдуманными забавными растениями и животными, часто с бессмысленными, но похожими на настоящие словами. Пока литературные критики пытались расшифровать его бессмыслицы, дети радостно хихикали, смеялись, хохотали над каждой его абсурдной выдумкой. «Ничто не изумляло Лира больше, чем неспособность некоторых людей оценить по достоинству полное отсутствие смысла в его бессмыслицах», — писал его друг лорд Кромер. «Абсурд — это мое дыхание», — написал он позднее. (В оригинале — библейская фраза из книги Бытия: это дыхание моих ноздрей — «Господь Бог создал человека из праха и вдунул в его ноздри дыхание жизни...»).

Человек неистощимого юмора и щедрой души, вот как он подписал одно из писем: «Твой на три части чокнутый и целиком и полностью любящий дядя Эдвард». А путешествуя по Греции, он «хотел просить» у короля место при дворе с титулом Лорда Бессмыслиц и Корифея Чужесловения с правом носить шутовской колпак.

Известный биограф Джеки Вулшлейгер написала в 1996 г.: «Кто по той или иной причине когда-либо чувствовал, что туфли слишком жмут, и кто хотел бы вырваться из однообразной скучной реальности жизни, будет чувствовать себя как дома в мире нонсенса Эдварда Лира», т.е. в безумно веселом мире, где все перевернуто вверх ногами. Это замечательно определяет поэзию абсурда Эдварда Лира. В 1978 г. в Москве была опубликована книга, естественно названная *Мир вверх тормашками, Английский юмор в стихах* (составленная и с предисловием Н.М. Демуровой), где больше трети книги было отдано лимерикам Лира.

Эдвард Лир был человеком бешеной энергии, он писал: «Жизнь не может быть для меня более пугающей, чем сидеть без движения, как окаменевшая горилла — час за часом, в то время, как мои руки долбят, долбят, как дятел, миллиарды маленьких точек и линий, а мозг мучается и раздражается утомительной каждодневной работой».

Ему мало было поэзии и рисования, самоучкой он научился играть на фортепиано, аккордеоне, гитаре и флейте, писал музыку для романтических Викторианских поэм, и особенно музыкальное оформление на поэмы своего друга, знаменитого поэта Альфреда Теннисона, и сам же был исполнителем. Он же и иллюстрировал эти поэмы.

Несмотря на плохое здоровье, он всю жизнь путешествовал по всему миру, побывал кроме Европы в Индии, Египте, на Цейлоне и на Святой Земле, живя главным образом в Италии, которую он объездил вдоль и поперек, изредка возвращаясь в Англию. И представлял себя птицей, летящей над миром.

Путешествуя, он никогда не был простым созерцателем, он писал письма, часто веселые и чудаческие, с массой автошаржей, путевые заметки и делал массу зарисовок и картин маслом. В 1871 г. он, наконец, построил виллу, назвав ее виллой «Теннисон», и поселился в Сан-Ремо, на берегу Средиземного моря в Италии вместе со своим слугой-албанцем Джорджио Кокали и котом Фоссом. Будучи уже немолодым человеком, он мог ходить по 15 миль в день, одновременно делая зарисовки. Он так никогда и не женился, хотя пару раз в жизни был сильно влюблен, и умер в январе 1888 года, спустя четыре месяца после смерти кота Фосса, компаньона Лира с 1872 года.

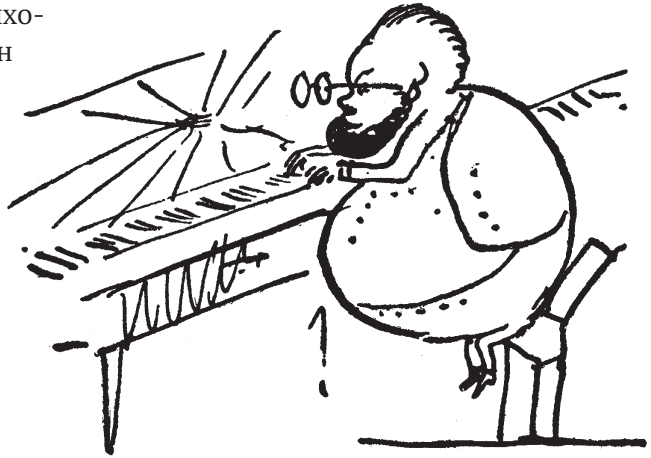
После смерти Лира его ближайший друг Франклин Лашингтон написал: «Я никогда не встречал более щедрой и бескорыстной души, человека, который заслужил бы больше любви, чем Лир, с его сердечной добротой и устремленностью жить по справедливости».

А Джон Раскин, влиятельный английский критик, философ и мыслитель написал в 1866 году:

Несомненно, самой благотворной и простодушной из всех книг, написанных для всей семьи, является Книга Нонсенса, неповторимая и освежающая, и ритмически совершенная. Я действительно не знаю другого автора, которому я был бы так благодарен... Что касается Эдварда Лира, я ставлю его первым в моем списке сотни авторов.

Заключительная строка стихотворения В.Х.Одена *Эдвард Лир* (1939) могла бы стать гениальной эпитафией Лиру: «Лир стал землей, к которой роem устремились дети, как переселенцы — обживать новую землю».

В 2014 г. опрос читателей Англии на самое любимое детское стихотворение всех времен дал первое место поэме Эдварда Лира *Kot и Сова/The Owl and the Pussy-cat*, на слова которой, кроме самого Лира, несколько композиторов, включая Стравинского, и уж совсем недавно рок-композитор Лори Андерсон, написали музыку.



\* \* \*

Несколько слов о моей «наркотической» привязанности к лимерикам Лира. В 2005 году я увлекся переводами детских стихов на русский язык, и когда в какой-то детской книжке мне попался на глаза лимерик неизвестного автора с припиской «Подражание Эдварду Лиру», я немедленно перевел его на русский язык.

Человек в ресторане в Лиможе  
 В супе мышь увидал. О, Боже!  
 Метрдотель шепнул: «Тишшшь...  
 Не крутите так мышь,  
 А то все захотят её тоже».

Продолжая поиск лимериков, я открыл для себя *Книги нонсенса* Эдварда Лира и не успокоился, пока не отыскал и не перевел на русский язык, насколько я знаю, абсолютно все его лимерики числом 267 и около 300 сопровождающих рисунков, не только больше, чем кто-либо до меня, но и больше, чем кто-либо собрал под одной обложкой на английском языке. К двухсотлетию со дня рождения Лира вместе с моей коллегой Лидией Разран Стоун мы сделали доклад о лимериках вообще и о Лире в частности на конференции Ассоциации американских переводчиков. И вот теперь (как в романе Дюма) десять



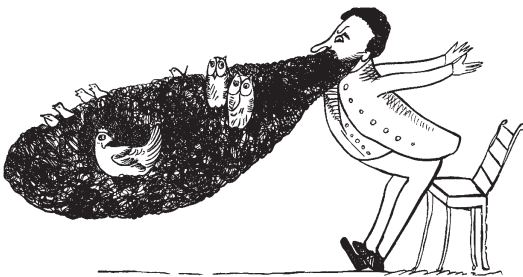
лет спустя я пишу это эссе — дань гению «абсурда». Происхождение названия «лимерики» и причина их невероятной популярности — это весьма занимательная, но совсем другая история, не для этой статьи.

В 2015 году издательством M•Graphics Publishing (Boston, MA) было опубликовано двуязычное издание *Эдвард Лир. Полное собрание абсурдных стихов-лимериков с рисунками Лира*. Макет книги (ландшафт) и расположение рисунков и лимериков на страницах сделан такими, какими они были в первых изданиях *Книг нонсенса*.



Ниже мы предлагаем несколько типичных примеров лимериков Эдварда Лира.

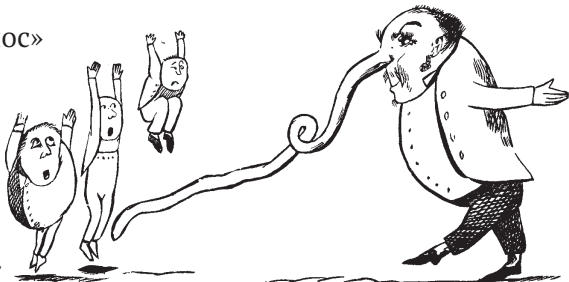
\* \* \*



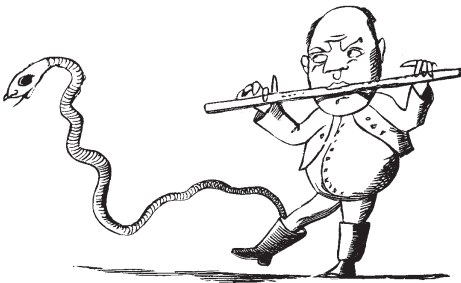
Жил старик с сединой  
в бороде,  
Он сказал:  
«Так и знал, быть беде! —  
Две совы, два стрижа  
И четыре чижа  
Свили гнёзда  
в моей бороде!»

Старичок по прозвищу «нос»  
Произнёс:

«Кого гложет вопрос —  
Длинноват ли мой нос?  
Тот ещё не дорос,  
Чтоб понять,  
как прекрасен мой нос».



Дед загадочный из Гваделупы  
Вел себя исключительно глупо;  
Груш купив на три пенни,  
Он, присев на ступени,  
Все их съел, отказавшись от супа.



Дед на флейте играл кое-как.  
Заползла ему кобра в башмак;  
Он играл день и ночь,  
Уползла она прочь,  
Больше слушать невмочь —  
ну, никак!



На девчонке, на острове Крит,  
Был костюм очень странный на вид;  
Ведь на ней был (о, шок!)  
Лишь в горошек мешок.  
Вот, что мода с девчонкой творит!

Один дед, по натуре — сердитый,  
Дверь оставил во двор  
приоткрытой,  
И проспал он, растяпа,  
Свою куртку и шляпу,  
Зато крысы теперь  
были сыты.





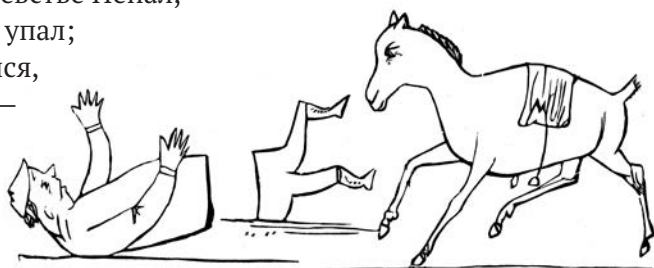
Жил старик  
в тихом городе Трели,  
Его туфли кошмарно скрипели;  
«Они что, не из кожи?  
Ни на что не похожи», —  
Все кричат  
старикашке из Трели.

Форма глаз и их цвет, и размеры  
Уникальными были у Веры;  
Бросит взгляд и тогда  
Все бегут, кто куда...  
Как найти для неё кавалера?

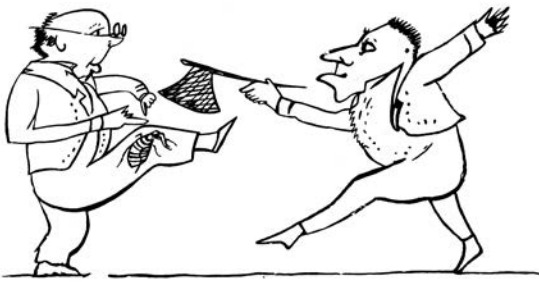
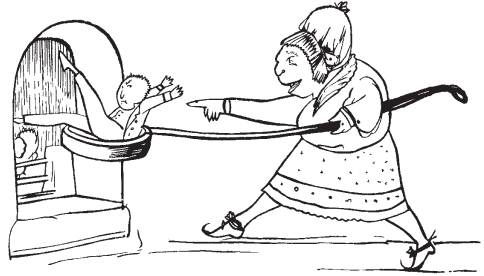


Старикан из посёлка Сумы  
Чуть не умер зимой от чумы;  
Он лишь маслом питался  
И, как грузчик, ругался,  
И избавился так от чумы.

Жил старик в королевстве Непал,  
Он с коня неудачно упал;  
На две части распался,  
Но клей отыскался —  
Чинят всех  
в королевстве  
Непал.

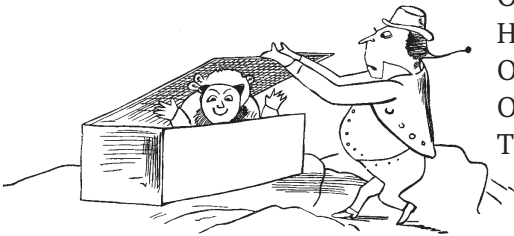


Любопытный старик из Канзаса  
 Наблюдал, как жена  
 тушит мясо;  
 По ошибке в ночи  
 Она в жаркой печи  
 Испекла муженька-лоботряса.

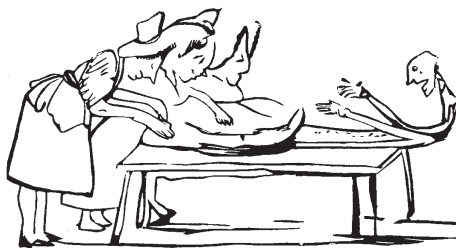


Старика по прозвищу Соха  
 Целый месяц кусала блоха;  
 Ему дали топор.  
 Он сказал: «Что за вздор!  
 Почешусь, вот и всё.  
 Чепуха!»

Старичок с вдохновенным лицом  
 Длинный нос свой украсил кольцом;  
 Весь июнь, ну и ну! —  
 Он глазел на луну,  
 Попивая то виски, то ром.



Один страшно ревнивый супруг  
 На ночь запер супругу в сундук;  
 Она просит: «Открой!»  
 Он ей: «Лучше не ной!  
 Ты совсем уж  
 отбилась от рук».

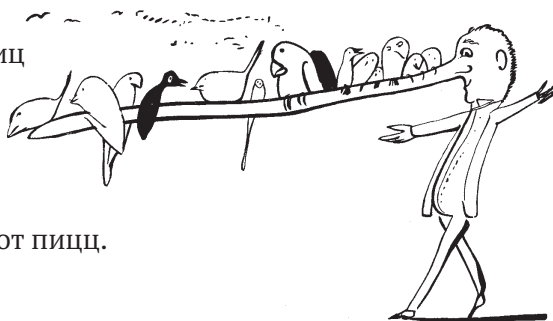


Худосочный старик из Берлина  
Был тонюсенький, как паутина;  
Он прилёт не на место,  
И замешенный в тесто,  
Испечён — без корицы и тмина.



О таланте арфистки из Чили,  
Всюду в мире легенды ходили;  
Музицируя мило,  
Она рыбу удила  
И варила вкуснейшее чили.

На носу старика из Биарриц  
Отдыхала весь день  
стая птиц;  
Но вся стая к закату  
Улетала куда-то,  
Где найти можно крошки от пицц.



Деду жутко блоха докучала,  
Злясь, он просто чесался сначала;  
Ему дали совет:  
«Матерись на чем свет!»  
И тотчас старик полегчало.

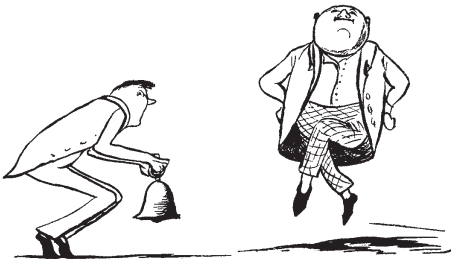
Дед спросил, отдышавшись едва:  
«Не огромна ль моя голова?»  
Бабка ахнула: «Боже,  
Как на тыкву похожа!»  
Дед обиделся: «Ты не права».

*Эдвард Лир написал только две первые строки.  
Затем В. Ковнер перевел эти строки  
на русский язык и дописал лимерик.*



Обожала девчонка из Ниццы  
На порог своей двери садиться;  
Но однажды девчонку  
Дверь расплющила тонко.  
Она в крик:  
«Что тут в Ницце творится?»

Одевал вредный старец из Стоуна,  
Воротник, ну, точь-в-точь,  
как у клоуна,  
Только больше раз в пять,  
Чтоб опять и опять  
Ошарашивать жителей Стоуна.



Жил старик в славном городе  
Лилле,  
Где его постоянно хвалили;  
Он под звон колокольный,  
Сам собою довольный,  
Танцевал к общей радости  
в Лилле.

## КАК ПРИЯТНО ЗНАТЬ МИСТЕРА ЛИРА

Как приятно знать мистера Лира,  
Написавшего множество книг!  
Для одних — он брюзга и задира,  
Для других — он милейший старик.

Он умен, многогранен и точен;  
Его нос — чрезвычайно велик;  
Он уродлив, но, впрочем, не очень,  
С бородой, как дешевый парик.

У него есть два глаза, два уха,  
Сильный голос — когда-то он пел.  
Но когда стало плохо со слухом,  
Он от страха почти онемел.

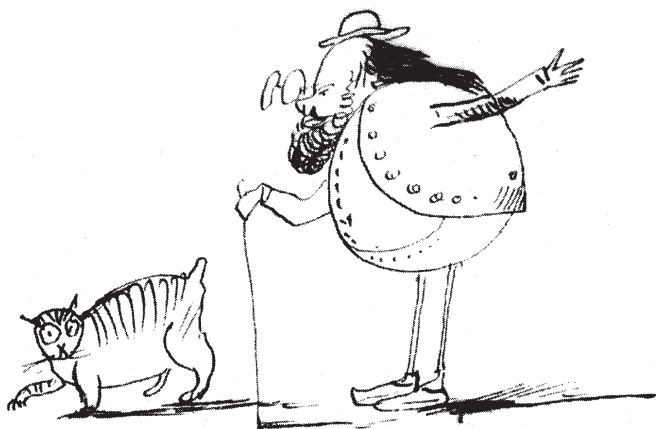
Он в роскошном сидит кабинете  
И читает какой-нибудь том;  
Пьет *Марсала* — и много, заметим!  
Никогда не пьянея притом.

У него круг друзей самых разных,  
Лучший друг его — кот, Старый Фосс;  
Лир — практически шарообразный,  
Все ж для шляпы местечко нашлось.

Если выйдет в плаще своем белом  
Погулять, отдыхая от дел,  
Дети следом бегут: «Обалдел он.  
Глянь! Ночную рубашку надел!»

Плачет он, видя мощь океана;  
Плачет, глядя с вершины холма,  
Обожает блины со сметаной,  
И от сладкого он без ума!

Говорить по-испански не может,  
Он не терпит имбирь для гарнира...  
Но пока еще жив он, «О, Боже!  
Как приятно знать мистера Лира!»



## ОБ АВТОРЕ

**Владимир Ковнер** родился в 1937 году в Ленинграде. С 1979 года живёт в США. Инженер-механик, журналист, англо-русский переводчик и редактор. Член Ассоциации американских переводчиков.

Публикуется в журналах и антологиях в США, России и Германии. В 1977 г. принимал участие в четырёхтомном издании «Песни русских бардов» (YMCA-Press, Paris). Начиная с 2005 года, имеет множество журнальных публикаций, часто, вместе с Лидией Разран-Стоун. Участник Антологии поэзии Новой Англии «Заполненные пустоты» (M•Graphics, Бостон, 2006) и «Жизни жгучие печали» (M•Graphics, Бостон, 2009).

Книжные публикации: две книги переводов поэзии с английского языка «Приласкайте Льва» (M•Graphics, Бостон, 2010)—детская поэзия и двуязычное издание «Эдвард Лир. Полное собрание абсурдных стихиков-лимериков с рисунками» (M•Graphics, Бостон, 2015). Две книги переводов с русского языка. Одна из последних публикаций—«Sports Idioms. English-Russian & Russian-English Dictionaries» by Vladimir Kovner and Lydia Razran Stone (M•Graphics, Бостон, 2018).



Яков ФРЕЙДИН

## РЫЦАРЬ НА СЛУЖБЕ ДЬЯВОЛА

---

**Н**а юге Франции в городке Альби, что в полусотне километров от Тулузы, без малого тысячу лет назад появился рыцарский орден альбигойцев — борцов за всеобщее равенство, братство и социальную справедливость. В стародавние времена призрак коммунизма стал там бродить задолго до основоположников марксизма. Действительно, нет ничего нового под луною — где только такие прогрессивные идеи не возникали? В древней Греции, и в античном Иерусалиме (Христос был одним из таких уравниателей), а поближе к нам по времени были Сен-Симон, Томас Мор, Маркс, Ленин и Мао, да и сегодня в Америке на виду социалист Берни Сандерс с миллионами одуроченных поклонников.

Как всегда, идеи всех уравниять и всё поделить очень нравились тем, у кого ничего не было, и совсем не нравились тем, у кого что-то было. Вот и с альбигойцами та же история. Поскольку власть и деньги были у церкви, их объявили еретиками и папа натравил на рыцарей инквизицию. Альбигойцев кидали в тюрьмы, рубили им головы, жарили на кострах и через несколько веков дело закончилось Варфоломеевской ночью, когда резали не только гугенотов, но и всех прочих еретиков. Вернее, не закончилось, так как идею убить нельзя, как говаривал киношный анархист Лёва Задов из советского фильма «Хождение по мукам».

Когда началась резня, альбигойцы поняли, что дело плохо, выбрали четырёх рыцарей, чтобы они спаслись и тем сохранили идею всеобщего равенства и братства для будущих поколений. Из четырёх красных рыцарей выжил лишь один по имени Theremin. От него и пошла долгая родословная, где появилось множество мыслителей, включая утописта Сен-Симона. Были там ещё ученые, поэты, врачи,

ремесленники, музыканты — что и говорить, талантливые гены шли от этого рыцаря. Ветви рода росли, множились, и одна веточка протянулась в Российскую Империю, где в Санкт-Петербурге в 1896 году родился мальчик Лёва, фамилия которого на русский лад писалась Термен. О нём и пойдёт рассказ.

\* \* \*

В нём смешались разные гены: французы и немцы по линии отца, поляки и русские по матери. Как часто бывает, такой коктейль выдал совсем неординарную личность. С юного возраста потомка альбигойского рыцаря потянуло к музыке — стал играть на виолончели. А ещё проявился у него недюжинный научный интерес. Увлёкся электричеством, за поем читал работы Фарадея и Теслы. Особенно привлекали его высокие частоты и большие напряжения. Он придумывал и ставил электрические опыты в своей домашней физической лаборатории. Там же имел маленькую обсерваторию, где через свой телескоп открыл новую не то комету, не то астероид. Когда ему было 14 лет, он собрал соучеников в зале гимназии для показа электрических опытов. У них над головами на высоте 3 м протянул провода с напряжением в 300 тысяч вольт от трансформатора Теслы. Потом взял в руку металлический стержень и стал подносить его к проводам. Возникал электрический разряд и гудящий звук, тон которого менялся в зависимости от расстояния до провода. Манипулируя стержнем, Лев, как на виолончели, сыграл мелодию «Эй ухнем!» и понял — электричество может превращаться в звук.



Родовой герб Терменов  
(надпись на ленте: *Ne Plus, ne Moins*)

Про него заговорили, появились хвалебные статьи в петербургской печати.

Окончив гимназию, Лев поступил в консерваторию по классу виолончели и одновременно в Петербургский Университет сразу на два факультета — физики и астрономии. Когда началась Первая Мировая война, из университета перешёл он в Военно-инженерное училище и параллельно учился в офицерской электротехнической школе. Так,

ещё до большевистского переворота, Термен получил три диплома о высшем образовании.

Играла в нём кровь его предков альбигойцев — революцию он принял с восторгом и до последних дней своей долгой жизни оставался верующим коммунистом. Именно верующим, а не думающим.

...Много лет спустя меня с Терменом познакомил цветомузыкант из Казани Булат Галеев, который впоследствии написал о нём книгу «Советский Фауст», имея в виду, что тот продал душу дьяволу. Я слышал от Булата о встречах Термена с Эйнштейном и попросил Льва Сергеевича рассказать об этом. Но он лишь отмахнулся: «Да что вы все заладили: Эйнштейн да Эйнштейн! Мне куда интереснее было разговаривать с Лениным».

Трудно понять, почему этот дворянин, великий изобретатель, всесторонне образованный человек всю жизнь верил в утопию своих предков? Может причина в том, что у него была натура новатора, который хочет отвергать старое, чтобы создавать новое? Возможно, видел он в революциях не зло, а механизм прогресса? Впрочем, это слишком поверхностное объяснение, поэтому вернёмся к нашей истории, может, потом станет яснее.

После революции он вплотную занялся радио — служил в радиотехническом батальоне, преподавал электротехнику, строил военную радиостанцию, какое-то время был начальником самой мощной в России радиостанции в Детском (Царском) Селе, а в 1920 году поступил на работу в Петроградский Рентгенологический и Радиологический Институт к крупнейшему в то время российскому физическому профессору А. Ф. Иоффе. Абрам Фёдорович давал Льву самые сложные проекты, на которых ломали зубы другие инженеры. Термен справлялся со всем.

Одним таким заданием было придумать прибор для измерения диэлектрической постоянной газов. В те времена электроника была в зачаточной стадии. Лишь 14 лет до того американец Ли ДеФорест изобрёл вакуумный триод — усилитель слабых сигналов. Как им пользоваться, ещё только учились, и потому для решения таких сложных задач требовались невероятная изобретательность и интуиция. Опыт у Термена с высокими частотами был уже большой, и он довольно быстро построил прибор с двумя пластинами, меж которых пропускался

газ. Пластины были частью электрического генератора высокой частоты на триоде.

Однажды вместо вольтметра Лев подключил к выходным клеммам прибора наушники и услышал звук, тон которого менялся от свойств газа. Но тут возникла проблема — когда его рука приближалась к пластинам, тон менялся и точность замеров падала. Другой инженер с этой помехой стал бы бороться, но Термен был настоящий изобретатель, который в каждом недостатке видел преимущество. Он понял, что движением руки можно менять тон звука. Стал делать опыты, подбирать мелодию и совсем скоро смог исполнить на этом лабораторном приборе «Элегию» Массне — всё же был он выпускником консерватории. В институте фурор: Термен играет музыку на вольтметре! Так зародился первый в мире электронный музыкальный инструмент, и Лев получил российский патент номер 780.

Ему пришла в голову идея использовать тот же принцип для охранной сигнализации — если пластины реагируют на руку, значит, будут реагировать и на всего человека. Надо их встроить, например, в стену и они будут чувствовать любого, проходящего около этой стены. Так появилось его второе изобретение.

\* \* \*

Первую демонстрацию нового музыкального инструмента устроили осенью 1920 года в Политехническом Институте. Лев исполнил «Элегию» Массне, «Лебеда» Сен-Санса и соло для виолончели из балета Минкуса. Звук напоминал человеческий голос и немного виолончель, хотя и без красивых обертонов, свойственных деревянным инструментам.

В октябре 1921 года Лев выступил с докладом и демонстрацией в Москве на электротехническом съезде в Политехническом музее. Кто-то из зала подсказал название — *Терменвокс*, то есть по-латыни «Голос Термена». Это название и закрепилось. Изобретатель стал выступать с концертами, а весной 1922 г. его разыскал председатель Радиосовета Николаев и сказал, что он про радиомызыку рассказал Ленину и тот очень заинтересовался и хочет познакомиться. Поехал Лев в Кремль и взял с собой оба изобретения — Терменвокс и охранную сигнализацию.

В одном из кабинетов Кремля был рояль, а ленинская секретарша Л. Фотиева тоже когда-то училась в консерватории, так что у Льва ока-

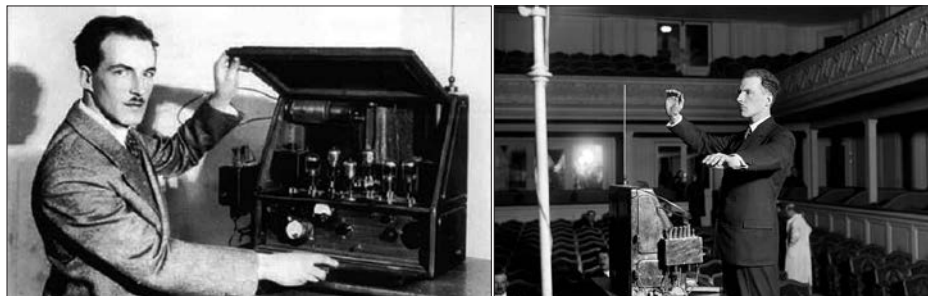
зался аккомпанемент. В кабинет набилось человек 15–20. Народ был весьма кондовый, революционный, и потому их интересовала охранная сигнализация, а не музыка. В технике никто из них не разбирался, и датчик, который чувствовал людей на расстоянии, казался чудом. Лев с Фотиевой всё же на Терменвоксе исполнил для них несколько произведений. А Ильич сам пытался на нём сыграть «Жаворонка» Глинки, без особого, впрочем, успеха. Но сказал фразу, которую Термен потом всю жизнь с любовью повторял: «Надо это повсеместно пропагандировать».

Однако больше всего Ленина привлекла бесконтактная сигнализация и он написал Троцкому: *«Обсудить, нельзя ли уменьшить караулы кремлевских курсантов посредством введения в Кремле электрической сигнализации? (один инженер, Термен, показывал в Кремле свои опыты: такая сигнализация, что звонок получается при одном приближении к проволоке, до прикосновения к ней...)»*.

Одну из первых охранных систем Термена установили в Гохране, куда свозили реквизированные (награбленные) ценности.

Ленин распорядился, чтобы Термену выдали мандат для беспрепятственного и бесплатного проезда по всем железным дорогам с лекциями и концертами «радиомузыки». Так он и делал с позволения Иоффе — ездил по городам России с концертами. Как прелестно в тот год писала одна газета: *«Изобретение Термена — музыкальный трактор, идущий на смену сохе...»*. Соха, это, наверное, виолончель.

Трёх дореволюционных дипломов Термену было мало, и в 1923 году он пишет ещё одну дипломную работу в Петроградском Политехническом Институте. Казалось, невыполнимую тему предложил его руководитель А. Ф. Иоффе: «Электрическое дальновидение», то есть «телевидение». Эту сложнейшую задачу Термен с блеском решил и построил камеру и проекционный телевизор с экраном 1 x 1.5 м. Качество изображения сначала было низкое — 16 строк, но в следующей модели уже 64. Устроил он демонстрацию своего дальновидения в Наркомате Обороны. В зале сидели Орджоникидзе, Ворошилов, Будённый и другие — та ещё «интеллектуальная» публика! Объектив телекамеры Термен выставил в окно на улицу и вдруг на экране все увидели, как по двору идёт Сталин. Это зрителям очень понравилось, и те выдали Термену похвальную грамоту, большую премию и пропуск в кормушку — спецмагазин, а дальновидение тут же засекретили и положили на полку. Лев Сергеевич пытался проект оживить, но



Термен демонстрирует Терменвокс (слева). На репетиции в 1927 г. (справа)

Ленин в то время уже сам был живой труп, поддержать не мог, и все попытки развернуть работы по телевидению в СССР провалились. Так это и умерло, пока ТВ не изобрели в Америке.

\* \* \*

В 1924 году он женится на двадцатилетней Кате Константиновой. Молодые поселились у его родителей на улице Марата. Вскоре после смерти его кумира Ленина Термен попадает в поле зрения советской секретной службы. Им заинтересовывается лично Ян Берзин, начальник Разведупра (разведывательного управления, позднее ГРУ) Красной Армии, и предлагает подумать о работе на Западе. Как первый шаг, он советует Льву запатентовать Терменвокс в Америке. Заявка подаётся в 1925 г. Приближается международная электротехническая конференция и выставка во Франкфурте. Музыка Термена оказывается единственным, чем Советы могли удивить Европу. Его доклад и концерт на конференции стали настоящим триумфом.

Термена отправляют на гастроли по крупнейшим городам Европы. Везде аншлаг — на его доклады и концерты невозможно достать билеты. «Радиомузыкой» восторгались Б. Шоу, М. Равель, О. Респиги, Б. Вальтер. Обычно концерт проходил так: выносили на сцену Терменвокс, Лев играл стоя, иногда с аккомпанементом — пианистом или даже симфоническим оркестром. Он двигал обеими руками около двух антенн: стержень менял высоту звука и управлялся приближением правой руки, а левая рука управляла громкостью через кольцевую антенну слева.

Его научный руководитель А. Ф. Иоффе писал в газете «Правда»: *«Совершенно исключительный успех имели везде за границей выступления сотрудника Физико-технического института Л. С. Термена*

*с радиомузыкой. В парижской Большой Опере за 35 лет не было такого наплыва и такого успеха». Одна берлинская газета в то время писала: «За три месяца гастролей Лев Термен превзошел самого Льва Троицкого: он совершил «мировую революцию» в музыке!».*

В 1927 году Берзин посылает Л. С. Термена с женой и секретарём (соглядатаем?) в длительную командировку в Америку на роскошном лайнере Majestic, с документами, которые ему подписал А. В. Луначарский. Дипломатических отношений между СССР и США тогда не было, и разведке нужна была легальная «крыша», которую Термен и должен был создать. На том же корабле в Америку плыл знаменитый скрипач Й. Сегеди, который сдружился с Терменом и потом в своих мемуарах писал, что Лев развлекался на палубе писанием стихов. От этого приятного занятия его отвлекали стюарды, приносившие телеграммы с предложениями огромных гонораров за выступления в Америке. Сегеди хорошо запомнил одно предложение в 5 тысяч долларов — сумасшедшие по тем временам деньги. Однако, Термен от всего отказывался. Может инструкции Берзина? Вряд ли, скорее играла в нём кровь бескорыстных альбигойцев.

Кроме Терменвокса, он привёз в Америку множество других своих изобретений — систему охраны, которую улучшил, добавив в неё оптические датчики, устройства радиосвязи с самолётами, детекторы инфразвука и другие. Но главный успех всё же был связан с радиомузыкой. Вот отрывок из газетной статьи: *«Лучшие музыканты Америки, слушая Терменвокс, этот изумительный инструмент, единодушно пришли к выводу, что изобретение Термена представляет собою величайшее достижение»* («Нью-Йорк Таймс», 27 дек. 1927).

Чарли Чаплин заказал у него для себя личный инструмент. Леопольд Стоковский дирижировал оркестром из 12 Терменвоксов. Лев Сергеевич сам давал концерты в лучших залах Америки. На его выступлениях в Карнеги Холл присутствовали С. Рахманинов, Д. Гершвин, Я. Хейфец, Ф. Крайслер. Некоторые журналисты даже ёрничали: *«Зачем оркестру нужен дирижёр? Вот поставьте Термена, он всё равно машет руками и будет музыка».*

Термен в Америке давал не только концерты, но постоянно совершенствовал своё изобретение, расширяя его возможности, придумывал «синтетические» искусства. Построил Терпситон, где музыка производилась ногами танцора, построил электронную виолончель, экс-



периментировал с цветомузыкой (сделал Люмивокс), запахомузыкой и другой экзотикой.

Году в 1935 или около того, у него с женой возникли трения, которые он объяснял тем, что Катерина будто бы спуталась с каким-то «белогвардейцем и фашистом», он боялся провокаций и это могло помешать его шпионской деятельности. Термен запросил у Берзина разрешения на развод, тот позволил и, поскольку Лев Сергеевич в США оставался советским гражданином, в советском посольстве их развели, выдав свидетельство о разводе за № 1.

В Нью-Йорке развернулся и его талант бизнесмена. Глава компании RCA, иммигрант из Белоруссии Давид Сарнов заключил с Терменом контракт и начал серийное производство Терменвоксов. Лев основал электронную компанию *Teletouch*, продавал системы охраны, стал довольно богатым, одевался в лучших магазинах, обедал в самых дорогих ресторанах. На улице 54 East арендовал на 99 лет шестиэтажный дом, где открыл музыкально-танцевальную студию. Студия служила «крышей» для шпионской работы Термена и других советских нелегалов. СССР ему не платил, а потому шпионскую работу он финансировал из своих доходов, собирал массу ценной информации и чуть ли не еженедельно встречался в маленьком кафе со связниками из другой «крыши» — Амторга.

Круг его знакомых был невероятно широк, включая финансиста Д. Рокфеллера, будущего президента Д. Эйзенхауэра, и будущего строителя Пентагона и руководителя Манхэттенского проекта генерала Л. Гровса. Иногда в своей студии он музицировал с Эйнштейном: физик — на скрипке, Термен — на Терменвоксе или виолончели. Появлялись новые изобретения, он подавал заявки на патенты, основывал новые компании, популярность его росла, был знаменит и деньги текли рекой.

На пике своего успеха он делает роковую ошибку, причину которой можно искать в старой французской поговорке «*Cherchez la femme*». Будучи человеком уже холостым, вёл он образ жизни плейбоя, имел большой успех у женщин и множество интрижек в высшем обществе. Однажды на свою беду положил он глаз на двадцатилетнюю чёрную танцовщицу Лавинию Вильямс из Американского Негритянского Балета. Она посещала его студию, показывала там чудеса соблазнительной грации, и Лев Сергеевич устоять не смог. В конце 1937-го он послал шифровку своему шефу Берзину с просьбой разрешить жениться



на Лавинии. Не знал он, что в те самые дни из его бывшего шефа на Лубянке зверски выбивали фантастические признания. В Разведупре было не до Термена, шла Большая Чистка, из-за границы отзывали резидентов и расстреливали. Ответа Лев Сергеевич не получил и решив, что молчанье есть знак согласия, отправился в советское посольство и там зарегистрировал брак с Лавинией, получив свидетельство о браке.

В те патриархальные времена политкорректность ещё не придумали, поэтому женитьба белого на негритянке в Америке считалась неслыханной дерзостью, а в высшем свете, где вращался наш герой, даже моральным преступлением. Перед ним закрылись многие двери, бывшие приятели и знакомые отказывались пожимать ему руку, не отвечали на звонки. Рвались контракты, дела покатились вниз, деньги кончились, росли долги. Новое начальство в Москве об этом узнало, обозлилось на него за такой идиотский поступок, решило, что шпионской карьере Термена пришёл конец, и его отозвали. Осенним утром 1938 года в его роскошной нью-йоркской квартире появились два дюжих молодца из Амторга, выдернули его из любящих лавининых объятий и увезли в порт. Под видом помощника капитана провели на советский пароход «Старый Большевик» и спрятали в потайном отсеке.

На этом и закончилась его десятилетняя американская эпопея.

\* \* \*

Пароход пришёл в Ленинград; там Термена никто не встретил, багажа с собой никакого у него не было. Хотел сразу пойти к своим родителям, что тогда жили в чудной пятикомнатной квартире на улице Марата, дом 50, кв. 4. Их не уплотняли. Но на подходе к дому к нему подошли три хмурых товарища и настоятельно «посоветовали» туда не ходить. Понял Лев Сергеевич, что дальше будет хуже, и попытался проникнуть на шведский пароход, чтобы уплыть в Европу — но не тут-то было! Клетка захлопнулась. Решил он тогда — надо ехать в Москву к своему начальству, может, там что-то прояснят. На Лубянке его не приняли, но дали направление на жильё в гостинице «Днепр» у Киевского вокзала, где он и поселился. Некоторое время перебивался случайными заработками, переводами с английского, пытался устроиться в какую-то студию грамзаписи. Пошёл на приём к своему старому знакомому маршалу Ворошилову, чтобы просить помощи и совета. Тот его принял, но от разговора ушёл.

В марте 1939 г. за ним, наконец, пришли, арестовали и отвезли в Бутырку.

Зэк он был всё же необычный, поэтому посадили Термена в какую-то привилегированную камеру с прекрасной библиотекой на иностранных языках. Прочие зэки в той камере были старые большевики и спорили



Л.С. Термен в Бутырской тюрьме

они до полуночи на политические темы. Термен в их споры не ввязывался, читал книжки и этим весьма злил идейных сокамерников. Через несколько дней ему выделили отдельную комнату и велели написать подробный отчёт о своей американской работе. Когда отчёт был написан, начались допросы, по тем меркам, довольно цивилизованные — 45 минут допрос, 15 минут отдых, но стоя, с утра до позднего вечера. Хорошо хоть не били — он говорил правду и со всем соглашался. И так несколько месяцев.

8 августа привели его в какой-то большой зал, там за столом сидели три человека (Особое совещание). Не понимая ещё до конца советских реалий, он думал — сейчас орден дадут за верную службу, но зачитали приговор: по 58-4 статье получил он 8 лет лагеря за «попытку убийства Кирова». Неважно, что он тогда в Америке жил, когда Кирова убили.

Отправили его по этапу на Колыму. Ехали долго, в плацкартном вагоне, по 9–10 человек в одном купе. Политические всё время спорили о чистоте идей, чем немало его раздражали. В Магадане его сначала отправили на общие работы возить тачку на каменоломне. Но всё же был он изобретатель и голова работала непрерывно. Придумал что-то вроде деревянного монорельса, чтобы тачку легче и быстрее возить, и стал выполнять по несколько норм. Награждали его за это повышенной пайкой и делился он ею с «социально близкими» — уголовниками, которые его за это опекали. Начальство узнало, что он радиоинженер, и перевело в «придурки» — чинил он радиоприёмники, сигнализацию, электрическое оборудование. За это позволили жить вне зоны, и он даже за грибами там ходил. А тут появилась на Колыме художественная самодеятельность, тогда Лев Сергеевич из деталей от старых

радиоприёмников соорудил Терменвокс и его в одну такую музыкальную бригаду включили. Начались концерты радиомузыки, в этот раз для эзков и вертухаев. Коронным номером его было «Болеро» Равеля.

Впрочем, на Колыме музицировать ему долго не пришлось. Незадолго до войны пришло из управления лагерей какое-то письмо, и Термена повезли назад, в Москву.

\* \* \*

В Москве определили его в знаменитую шарашку ЦКБ-29 на улице Радио, где уже работали авиаконструкторы Туполев, Петляков, Мясищев и Бартини. Там он занимался разработкой различного электронного оборудования для самолётов, радиомаяков, неконтактных взрывателей для авиабомб и других военных приборов. Когда началась война, туполевскую шарашку эвакуировали в Омск. В той шарашке Термен был начальником инженерной бригады. Работа его увлекала, а коллеги — о лучших и мечтать невозможно.

У него была феноменальная интуиция, и обычно он никаких расчётов не проводил, а сразу давал указания как сделать — и всё работало. Однажды понадобился ему хороший специалист — так состоялась его встреча с С.П. Королёвым. Будущий знаменитый конструктор у Термена работал некоторое время лаборантом, делал деревянные корпуса для приборов. Ведущим специалистам шарашки позволяли в Омске жить на воле, и Термена поселили в один дом с семьёй... Берии (!!).

Когда война развернулась к победе, Льва Сергеевича перевели в другую шарашку — НИИ под Ленинградом. Там он опять занимался всякими неконтактными системами. У него всё было неконтактное — Терменвокс, сигнализация, бомбы, радиомаяки. Самая удивительная была система подслушивания, за которую Берия в 1947 году представил Термена к секретной Сталинской Премии 2-й Степени.

Сталин, увидев имя Термена, зачеркнул «2-я Степень» и вписал: «1-я Степень». Это значило выход на свободу, премия в 100 тысяч рублей и квартира в престижном доме НКВД. Денег ему, впрочем, не выплатили — сказали, что хватит с него и квартиры.

Суть его системы подслушивания заключалась вот в чём. Летом 1952 года атташе американского посольства в Москве решил послушать радиопередачу из Вашингтона и стал крутить ручку своего коротковолнового приёмника. К своему изумлению и ужасу, на какой-то

волне он вдруг услышал голос своего босса — посла Джорджа Кеннана. Вслушался и понял: прямо сейчас идёт разговор в кабинете у посла и слышно каждое слово. Кинулся наверх к кабинету, оттолкнул секретаршу, вбежал и под ошарашенными взорами присутствующих прижал палец к губам — молчок! Все оцепенело замерли, атташе поманил посла пальцем, вышли они во двор посольства и он рассказал ему на ухо, что слышал каждое слово из его кабинета. У посла чуть сердечный приступ не случился. Кабинетом он пользоваться перестал, совещания стали проводить во дворе и срочно вызвали из Вашингтона специалистов. Прилетела бригада техников из контрразведки, разодрали в кабинете все стены, пол, потолок — ничего. А передачи продолжают — в приёмнике слышно. Проверили каждый предмет в кабинете — чернильницу, стол, телефоны, кресла — ничего. Наконец, обратили внимание на висевшую над письменным столом резную деревянную скульптуру, изображавшую герб Соединённых Штатов. Это был подарок послу от пионеров Артека.

В течение многих лет разведка НКВД пыталась проникнуть в посольство США, но это было невероятно сложно. Подсылали «ласточек» — симпатичных девочек из кордебалета Большого театра, чтобы соблазнять морских пехотинцев из охраны посольства, пытались подкупать и шантажировать сотрудников — не работало. Но была и техническая проблема: подслушивающие устройства (жучки) в те годы были громоздкие, требовали источников питания — ну как такую штуку втихаря упрятать в кабинете у посла, да ещё на долгое время? Берия запросил совета у академиков А. И. Берга и А. Ф. Иоффе, и те вспомнили об изобретателе Термене. Привезли его к Лаврентию Павловичу, и тот спросил: «Можете сделать маленький микрофон, чтобы он был без проводов, без питания, чтобы работал сколь угодно долго, чтобы разговор передавал на большое расстояние и который никакими средствами нельзя обнаружить?» Лев Сергеевич обещал подумать и через некоторое время нашёл решение, которое и сегодня поражает своей простотой, элегантностью и эффективностью.

Жучок Термена (код «Златоуст») представлял собой маленький металлический полый цилиндр. С одной стороны на нём была мембрана (диафрагма), как у обычного микрофона. Из цилиндра сбоку торчал хвост-антенна. Вот и всё. Внешне похоже на головастика. Ни проводов, ни батарей, никакой электроники. Работал прибор так. В соседнем здании через улицу от посольства на верхнем этаже осво-

бодили две квартиры. Одну слева, другую справа, но закамуфлировали их под жилые: на балконах развешивали бельё, в окнах горел свет, иногда играла музыка. В левой квартире установили мощный микроволновый передатчик с антенной-тарелкой, направленной на посольство. В правой квартире была такая же тарелка, но подключённая к чувствительному приёмнику. Получался треугольник: передатчик-жучок-приёмник. Антенна-хвост на жучке принимала микроволны от передатчика, которые в металлическом цилиндре резонировали. Настройка резонанса зависела от положения мембраны. Разговоры в комнате заставляли мембрану вибрировать, что модулировало амплитуду микроволн, излучаемых той же антенной-хвостом. Это слабое излучение принималось тарелкой в правой квартире напротив посольства, усиливалось, речь электронным образом выделялась, разговор записывали на плёнку и немедленно доставляли на Лубянку для перевода на русский.

Но встал вопрос — как секретно установить «Златоуст» в кабинете посла? С помощью «ласточек» организовали пожар в посольстве, но, когда прибыли «пожарные», посол их в кабинет не пустил — пусть всё сгорит, но никто не войдёт! Вот проблема — жучок есть, а установить его не получается. Тогда разработали операцию «Троянский Конь».

В феврале 1945 г. в Крыму проходила ялтинская конференция с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина. Её и решили использовать для внедрения «Златоуста». 8 февраля Молотов пригласил Рузвельта и Черчилля посетить пионерский лагерь Артек, которому как раз удачно исполнилось 20 лет. Там был праздник, и дети хотели отблагодарить Америку за помощь в войне. Расчёт был тонок — из Ялты дорога в Артек не длинная, но после бомбёжек ухабистая — больному президенту поехать будет тяжело. Скорее всего, чтобы не обидеть детей и Молотова, Рузвельт отправит туда посла. Так и случилось. Американский посол Аверелл Гарриман и английский сэр Арчибальд Керр в сопровождении Берию поехали в Артек. Там по этому поводу было много радости, цветов, танцев, а напоследок дети на английском языке спели американский гимн и поднесли американскому послу подарок — скульптуру герба США, выполненную с невероятным искусством из ценных пород дерева: самшита, секвойи, слоновой пальмы, чёрной ольхи, сандала. Гарриман был растроган, очарован, и сказал, что обязательно повесит этот чудный герб у себя в кабинете. Так и сделал.

В скульптуре ниже клюва орла дерево было утончено и под ним встроено жу-чок Термена. Всё было так мастерски закамуфлировано, что никакими приборами того времени обнаружить это было нельзя, ну разве что рентгеном, но до этого американцы не додумались. Посол повесил подарок у себя над рабочим столом и так более семи лет все разговоры в кабинете читались на Лубянке и в Кремле. Менялись послы, но герб висел в том же кабинете — уж больно был хорош!



Американские и английские специалисты никак не могли понять, как это работает, так и называли жучок «Это» (The Thing). Потом всё же разобрались, пытались даже скопировать, но ни дальности, ни качества звука, как у Термена, не добились.

Ну разве это не заслуживает Сталинской премии 1-й степени?

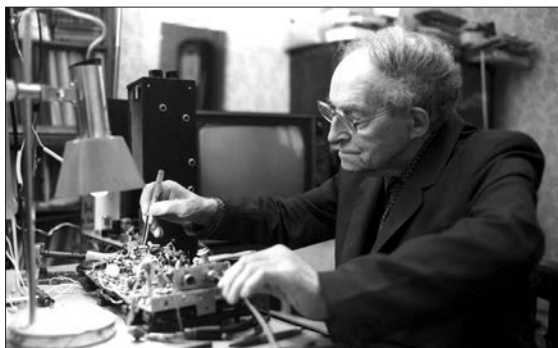
\* \* \*

На «свободе» Лев Сергеевич продолжал работать в той же конторе. Обеспечивали его всем необходимым, любыми заграничными приборами и деталями. Что он там делал — знать нам не дано, однако можно предположить, что не гладью вышивал. Но жил скучно, один в новой квартире. Держали его всё время под колпаком в строжайшей секретности. Как и в прошлый раз, испросил позволения начальства жениться. В этот раз ответили сразу: «Можно, но только невеста должна быть из нашего ведомства». В конторе подыскал себе невесту моложе его лет на 25, Марию Гушину, почти что из музыкальной семьи — брат её на гармошке играл. Родились двойняшки Наташа и Лена. Горевал, что нет у него сына.

Когда ему перевалило за 70, отправили на пенсию, но без дела он жить не мог. Одно время переводил на Лубянке техническую литературу и письма, потом сжалились и выделили ему там же под площадью Дзержинского маленькую лабораторию для экспериментов. Через несколько лет его окончательно уволили и даже рассекретили. Тогда устроился он на работу в лабораторию акустики Московской Консерватории.



Как-то раз Термен осмелился дать интервью американскому журналисту. Самый большой секрет, который он выдал, было то, что он жив и здоров — в Америке считали, что Термен погиб ещё в 1938 году. Начальству на Лубянке это не понравилось, лабораторию закрыли и его из консерватории выгнали. Так что свобода в СССР для него была хуже неволи.



Л.С. Термен в домашней лаборатории

Пришёл он в Московский Университет, и, на его счастье, зав. кафедрой акустики С.Н. Ржевкин был его бывший ученик ещё по давней работе на радиостанции в Детском Селе. Он Льва Сергеевича на работу принял на должность механика 6-го разряда с хорошей зарплатой, и стал наш герой изучать электрические излучения человеческого тела. Именно тогда я с ним и познакомился, так как сам писал диссертацию на похожую тему. Разговаривать с ним было сложно — я не понимал, говорит он правду или шутит. Всё время двусмысленные фразы, недомолвки, увёртки. Сказывалась долгая жизнь в двух плоскостях.

На кафедре было ему скучно. Жаловался, что там только и думают о публикациях, званиях, зарплате и хоздоговорах. Не то, что в КГБ — вот там была интересная творческая работа! Он постоянно ностальгировал. Нет, не по Америке. По шарашке. Появились новые технологии, на смену вакуумным лампам пришли транзисторы. Переучиться и угнаться за веком он не мог — возраст не тот. Но хотел изобретать. Наивно верил, что ему всё по плечу. Кинулся было в биологию и генетику, где мало что понимал. Непрерывно генерировал новые идеи, многие из которых мне казались тогда и сегодня кажутся сумасбродством и старческой болтовнёй.

В его голове постоянно мешался свет с тьмой. Так, в 86-летнем возрасте он хвастался, что получил пятый диплом — на этот раз закончил институт марксизма-ленинизма. Когда ему было уже 95, он вступил в КПСС перед самым её развалом. Говорил: «Я ведь Ленину обещал, но раньше вступить никак не получалось. В Америке не разрешали,

в лагере нельзя, в шарашке нельзя, а теперь вот можно». Он думал, что будет жить вечно, говорил даже, что, если читать его фамилию наоборот, получится «Не мрет».

Третья жена давно умерла, дочери ему внимания уделяли мало. Двухкомнатная квартирка стала тесна для разросшейся семьи. Бывшая его контора, то есть КГБ, на все просьбы помочь с жильём только отмахивалась. Помогла знаменитая лётчица В. Гризодубова, депутат Верховного Совета, и получил он комнатку в коммуналке.

Стал опять жить один, тоскливо. Всё просил нашего общего с ним приятеля Булата Галеева: «Заберите меня к себе в Казань, я вам много чего напридумываю». Ел он очень мало, но всю еду обильно посыпал сахарным песком, говорил, что это стимулирует мозг. Где-то под 90 надумал опять жениться — всё мечтал о сыне и надеялся, что в этот раз получится. Ну не рыцарь ли! И вот чудо — нашёл себе невесту почти на 60 (!) лет его моложе, дошли они даже до ЗАГСа, но молодуху её родители из-под венца вовремя увезли.

В 1991 смог он наконец побывать в Америке, мечтал с Лавинией увидеться, но она за два года до его приезда умерла на Гаити. Да и вообще, почти никого из его американской жизни в живых уже не было. Он всех пережил. С большими почестями его принимали в Стэнфорде и МИТ, даже сыграли для него концерт на Терменвоксе. Эти инструменты и поныне в Америке выпускают и на них иногда играют. Впрочем, популярным Терменвокс так и не стал. Дело в том, что играть на нём довольно трудно — нет для рук исполнителя опорных точек отсчёта, как, например, на рояле (клавиши) или струнных (струны и гриф). Можно, разумеется, в наш век цифровой техники этот чудный инструмент усовершенствовать, но никто пока за это не взялся.

Умер Л. С. Термен 4 ноября 1993 года в возрасте 97 лет.

Вот такие они, эти альбигойцы.

\* \* \*

Я не могу понять этого человека. Откуда у великого изобретателя было такое очарование злом? Допустим, что нечасто в жизни он имел свободу выбора, но даже то, что выбирал сам, всё равно было обращено к утопии. Конечно, можно его 5-й диплом и вступление в партию списать на старческий маразм, но ведь и в молодости он верил в коммунистическую идею и преклонялся перед Лениным. Пожив



в Америке и побывав на Колыме, ничего не понял и не разуверился. Так почему такой умный человек как Термен, да и многие другие его калибра и сходной судьбы соблазнились красным жупелом и были верны ему до конца? Почему этот потомок бесстрашных рыцарей охотно служил красному дьяволу? Может, это было желанием приобщиться к какой-то избранной группе?

Или это «стокгольмский синдром», когда жертва проникается симпатией к палачу? Или беспринципные люди, чтобы комфортно работать в своей профессиональной скорлупе, готовы служить любой нечисти? Или ум человеческий не универсален и можно быть мудрецом в чём-то одном, но дураком во всём остальном?

Не знаю ответа...

---

---

#### ОБ АВТОРЕ

**Яков Фрейдin** до эмиграции жил в Свердловске. Он — кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя — *Adventures of an Inventor*». Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Западной Европе, Австралии и России.

В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

В августе 2021-го в издательстве Franc Tireur (Нью-Йорк) вышла новая книга Якова Фрейдина «Работа дьявола и другие занимательные истории».

Постоянный автор журнала «Времена». Живёт в Южной Калифорнии. Вебсайт автора: [www.fraden.com](http://www.fraden.com)

Валерий БАЗАРОВ  
**БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВРЕМЕНИ**

---

\* \* \*

Поднимаюсь с натугой по лестнице лет —  
Лифта нет в этом чертовом здании.  
И чем выше, тусклее и дальше рассвет,  
А важнее всех чувств — осязание.

Мир открыткой пасхальной синеет вдали,  
Хоть примочкой прикладывай к ранам.  
Над землей растекается время Дали,  
Нас питая божественной праной.

Погребальный на небе зажегся костер,  
Разметался прощальными искрами.  
Будто кто-то навеки из памяти стер  
Все, что дорого было и искренне.

Вот уж Брайлевой азбукой стелится путь,  
Тот, что Млечным зовется у зрячих.  
И тогда, от земных отрешившийся пут,  
Прочитаю, что все это значит.

\* \* \*

Золотою пылью напитались пчелиные крылья,  
и Дюймовочка ринулась с эльфами в звездный поток.  
Ни к чему мне уродовать сказку скучною былью —  
мне милее из сора растущий волшебный цветок.  
Если кто-то родился по счастью под парусом алым,  
он под ним и уйдет на закате в последний поход.  
Шпагу нам не менять на осиное жалкое жало,  
мы по компасу мчим напрямик, не теряя минут на обход.  
Быть романтиком? Как сегодня смешно это слышать!  
Быть мужчиной? Помилуйте! Женщиной? Это хуже, чем тлѐй!  
Все смешалось в том доме под съехавшей полностью крышей,  
в нашем общем дурдоме, что зовем по привычке — Землей...

\* \* \*

Мгновения становятся мгновеннее  
И каждое, как радостный сюрприз,  
Пока не встретишь самое последнее —  
Дай бог, не угадать, какое из...

В потоке дней теряются детали,  
Все больше жизнь, как поезда окно.  
Под стук колес все чаще засыпаю,  
Где выходить, напомнят все одно.

В мой полусон слетает сладость вишен,  
Акаций опереточный настрой,  
И шорох волн, как шепот детства, слышу —  
Пьянящий до забвения настой.

Несется поезд. Тормоза все чаще  
Скрипят, стирая смазку на износ...  
И между полустанками все слаще  
И все короче перестук колес.

УШЕДШИМ...

Мне снятся те, кого давно уж нет...  
Отец и мать, ушедшие друзья —  
Все те, на ком сошелся клином свет,  
Все, без кого и дня прожить нельзя.  
Они ушли, а мне остались сны  
И солнечного счастья щедрый дар —  
Все годы, что не дожили они,  
Добавлены в земной мой календарь.  
Ну, что ж, долги платить мне не внове —  
Уйду в свой час, чтобы остаться в снах  
И в облаке, плывущем в синеве,  
И в плеске волн на дальних берегах.

\* \* \*

Послушай тишину и музыку холмов,  
Чуть слышных шорохов оркестрики повсюду.  
И череда лебяжьих облаков,  
Плывущих в никуда из ниоткуда.  
Ты не спеша на берег вниз сойди  
Через ручьев артерии и вены,  
Где зеркало небес и зеркало воды  
Сливаются у края Ойкумены.  
Вдохни дубовых листьев горький аромат  
И эвкалиптов пряных валерьяну,  
Послушай клекот ястреба, увидь гусей парад,  
Тяжелый взлет с воды седого пеликана.  
И, наконец, когда последний луч  
Зеленый знак зажжет в небесной круговерти,  
Почувствуешь, как из просвета среди туч  
К тебе сойдут блаженство и бессмертье.

## НЕ ЖАЛЕЙ...

*«Все проходит, и это пройдет...»*

Надпись на кольце царя Соломона (легенда)

Не жалея ни о чем...  
О случайно оброненном слове,  
Ни о жалящем жалостью взгляде  
Исподлобья предвестнике черным беды.  
Все проходит и все начинается снова...  
Все пройдет, как проходят круги на сверкающей глади  
Принимающей все, забывающей сразу воды.  
Если вспомнишь, и влага наполнит ресницы,  
Не жалея ни о чем,  
И не смей возвращаться по горькой обиды следам.  
Ты усни, как ребенок, и пусть до утра тебе снится  
Шелест легкий волшебной страницы  
Сказки, в детстве прочитанной нам.

## ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Знак восклицательный — лишь черточка да точка,  
Как будто до весеннего листочка  
Не дождалась,  
Поторопившись, почка,  
И сорвалась!  
Мы ловим счастье, словно луч из мглы,  
Не ведая, как ломко все и тонко...  
Стекает капля с ледяной иглы,  
Знак восклицательный заканчивая звонко.  
Когда ж со временем ты изогнешься в горб,  
Уже не так, как в молодости горд,  
Задумаешься, чем закончить строчку...  
Тогда поймешь, что переходишь мост,  
Что жизнь не восклицанье, а вопрос,  
Ответом на который служит точка.

ВОСПОМИНАНИЕ

*... последняя с морем разорвана связь*

Анна Ахматова

В ленивый полусон себя после полудня погрузив,  
К прошедшим дням я не искал возврата —  
Я там давно персоною non grata,  
И даже след затоптан той стези...  
Но узелок гамачного каната,  
Мне спину потревожив, воскресил  
Вдруг ощущений память — вот удача...  
Ту солнечную дачу, где я жил,  
И где ни в чем не видел недостатчу —  
Ни в море, ни в игре, ни в дружбе, ни в любви —  
Лишь лихорадка вечная в крови.  
Мы прыгали со скалок с эхом гулким,  
Влюблялись, жгли костры, сшибались стенка к стенке,  
Не в свой, в соседний нагло лезли сад...  
Не знали мы, что рядом в переулке  
Девчонка по фамилии Горенко  
Росла три поколения назад.

Ошиблась Анна. Связь осталась с морем.  
И через море с миром, с горем пополам.  
Стихи могла выращивать из сора,  
Но жемчуга — всегда дарила нам.

\* \* \*

Переходя из года в год,  
Благословляю время.  
Тяжел его для многих ход,  
Невыносимо бремя.

Смеюсь, иль катится слеза...  
Но каждым утром свежим  
Молюсь, что мог открыть глаза,  
Их накануне смежив.

Порога жизни не минуть,  
Но в том и совершенство,  
Чтоб из отпущенных минут  
Черпать нектар блаженства.

Когда утихнет шум и гам  
От високосной встряски,  
Дай Бог, не испугаться нам,  
Увидев мир без маски.

#### ОБ АВТОРЕ

---

---

---

*Валерий Базаров* вырос в Одессе. Окончил английское отделение Одесского государственного университета. Работал преподавателем, переводчиком, журналистом.

В США с 1988 года и с того же года начал работать в ХИАСе. Руководил отделом поиска и истории семей. Автор статей и книг по истории ХИАСа и еврейской генеалогии.

Увлекается поэзией. Выпустил несколько книг стихов, последняя по времени — «Третий звонок».

Дмитрий ГАРАНИН  
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

---

\* \* \*

Деревьев бьют зелёные фонтаны  
Сквозь неподвижный воздуха расплав  
И парит парк стоячей душной ванной  
Где процветает лилий терпкий нрав

И ты бредёшь как будто в жидком клее  
До затверденья несколько шагов  
Чтоб истуканом стать в конце аллеи  
Найдя акаций мелколистный кров

Дыша по-рыбьи наблюдать как в реку  
С террасы льётся жидкое стекло  
Искать в жаре сокрытую прореху  
В пространство стужи где белым-бело.

\* \* \*

Мы прибываем в парадиз —  
в сады и на песок под пальмами.  
Прыжок — и вот мы прижились,  
и страх с души свалился каменный.

Приветствует на глади вод  
нас ветерка благая клинопись...  
Заводим вечный хоровод,  
лишь по привычке дистанцируясь.



\* \* \*

Виноградников волны зелёные  
Панорамно сливаются с гор  
Здесь царит алкоголь и закон его  
Беспокойство кладёт под запор

Здесь побегов летучая пена  
Как шампанское среди синевы  
Дух витает в верхах неизменно  
Угрызения черви мертвы  
Городки под ногами опрятные  
Хоть и грешен, но ими прощён  
Посмотрю на лозу и приятно мне  
На душе хоть не выпил ещё

\* \* \*

Всё ещё нахожу без очков очки  
и могу ходить на своих ногах.  
Потихоньку прожитого клочки,  
каждый замысел и замах

пересматривать, подшивать  
к делу жизни, пока есть нить.  
В несгораемую тетрадь  
эти сведения вносить.

А потом, всех благословив,  
чтоб прибрали за мной разор,  
ту запись, в которой жив,  
в обновленья швырнуть костёр.

\* \* \*

Перемещённый силой обстоятельств  
в мир виртуальный, в нём и остаюсь,  
и нет нужды свиданий и объятий,  
и расставанья растворилась грусть

в потоках интернетного эфира,  
в невидимой ячейке сетевой,  
где образ мой очищен и отстиран  
от всей тщеты, и сам почти не свой.

Лишь интеллект, я на волнах вайфая  
легко общаюсь с духами друзей  
и сотни новых без труда узнаю  
на склонах гор, на утренней звезде.

Я становлюсь Алексой или Сири,  
незримой нитью присоединён  
к тому, что разум общий лишь осилит —  
огромных чисел брезжущий закон.

#### ОБ АВТОРЕ

*Дмитрий Гаранин* родился и вырос в Москве. Окончил МФТИ, защитил диссертацию по теоретической физике. Работал в Физическом Институте им. Лебедева АН СССР. В 1992 эмигрировал в Германию, работал по специальности. С 2005 года — профессор на физическом факультете Lehman College CUNY в Нью-Йорке.

Писал стихи в 1978–82 и 1988–89 годах, но не публиковал и в литературной жизни не участвовал. После многолетнего перерыва вновь увлекся поэзией.

Автор 20 книг, изданных под собственной маркой Arcus NY. Публикации: «Дети Ра», «Крещатик», «Слово/Word», «45-я параллель», «7 искусств», «Зарубежные задворки», «Черновик», «Золотое Руно», «Времена», «Asian Signature (Индия, на английском)».

Алексей ОРЛОВ  
**ОДИССЕЯ ВИКТОРА БЕЛЕНКО**  
**«МиГом» ДО ЯПОНИИ**

---

---

**В** понедельник, 6 сентября 1976 года, старший лейтенант Виктор Беленко поднялся рано утром в истребителе-перехватчике МиГ-25 с военного аэродрома и менее чем через час приземлился в Японии на острове Хоккайдо в гражданском аэропорту. Вскоре о бегстве Беленко из Советского Союза знал весь мир.

Я узнал об этом из «Программы для полуночников» радиостанции «Голос Америки». Едва передача закончилась, мне позвонил приятель, который находился, как и я, «в подаче», то есть подал заявление на отъезд из Советского Союза. Он надеялся, как и я, что не станет «отказником», то есть ему не откажут в просьбе. «Беленко ни у кого разрешения не спрашивал, — сказал он. — Нам тоже надо было учиться на летчиков».

О Беленко оповестило агентство ТАСС. Сначала оно объявило, что летчик был вынужден приземлиться в Японии из-за неполадок в самолете и японцы держат его насильно. Затем сообщило, что Беленко



насильно вывезен в Соединенные Штаты. Советское министерство иностранных дел устроило в Москве «пресс-конференцию» жены и матери Беленко. Приглашенным советским и иностранным журналистам его жена Людмила сказала, что никогда не поверит, что ее Виктор добровольно улетел на Запад. Мать со слезами на глазах говорила, что никто не может знать сына лучше, чем мать, и она знает, что сын ее патриот.

Журналистам не позволили задавать вопросы, и организаторы «пресс-конференции» не сказали им, что мать не видела сына с тех пор, как ему было два года. И журналисты не знали, что задолго до того, как Виктор совершил полет в Японию, жена объявила ему о разводе и о том, что родители будут рады принять ее с сыном... Я узнал об этом спустя четыре года, когда прочел в Америке книгу «Пилот МиГа», написанную Джоном Барроном. Книга отвечает на многие вопросы, связанные с решением Беленко навсегда покинуть Советский Союз...

Советский режим обычно замалчивал «исчезновение» своих граждан. Никогда не устраивались «пресс-конференции» с их родственниками. А на Западе оставались дипломаты, артисты балета, писатели, шахматисты, ученые, инженеры. За два года до перелета Беленко остался Михаил Барышников, но ни министерство иностранных дел, ни министерство культуры не представило в Москве журналистам родственников беглеца. И не было встреч журналистов с женой и сыном гроссмейстера Виктора Корчного, который остался на Западе в том же году, что и Беленко. Но вот встречу с женой и матерью Беленко советский МИД устроил. В чем дело?

Напрашивается ответ: летчик, сидевший за штурвалом сверхсекретного самолета, более важен режиму, чем «прогневившие интеллигенты» Барышников и Корчной. Такой ответ содержит только долю истины. Власть знала биографию Беленко, и она была уверена, что человек с такой биографией просто-напросто не мог — абсолютно не мог — бежать из Советского Союза. Вырос в рабочей семье, отличник в школе, рабочий-передовик на танковом заводе, отличник боевой и политической подготовки в высшем военном авиационном училище, уважаемый коммунист в авиаполку в Приморском крае...

И чтобы такой человек бежал на Запад!?

Следовало предпринять все возможное, чтобы вернуть его.

«Пресс-конференция» жены и матери была устроена после того, как Беленко объявил советскому «дипломату» в Японии, что его никто не похищал и что он не вернется в Советский Союз. Еще одна встреча Беленко с советским «дипломатом» была в Вашингтоне. «Я прилетел в Японию добровольно», — сказал ему Беленко... Предпринял попытку заполучить Беленко и находившийся в Америке глава советского МИДа Громыко...

Случай Беленко, в самом деле, уникальный, и не только потому, что он действительно был до мозга костей советским человеком: не слу-

шал «вражеских голосов», не читал Солженицына и запрещенной литературы, ничего не знал о диссидентах. А о Соединенных Штатах и вообще о Западе он знал лишь то, что внушала советская пропаганда. Искренне верил, что Америкой правят «темные силы» (это его слова), которые эксплуатируют трудовой народ и служат интересам капиталистов. Он не сомневался, что Америка готовится воевать с его страной. Но этот стопроцентно советский человек постепенно пришел к выводу, что страна, которой правят «темные силы», никак не может быть хуже той, что пропитана от «а» до «я» алкоголем и ложью, то есть страны, в которой он живет. Решение бежать созрело долго, на протяжении многих лет.

Виктор родился в 1947 году в Нальчике. Ему было два года, когда отец разошелся с матерью и отправил его к своей матери и сестре. Бабушка и тетка жили в Донбассе, обитали в крохотной комнатенке, работали с утра до вечера. Виктору исполнилось семь, когда отец дал о себе знать и попросил отправить сына ему. Бабушка и тетя посадили Виктора в поезд, и он поехал в Сибирь, в город Рубцовск. Встретив сына, отец, рабочий тракторного завода, тут же отвез его к другу в колхоз, потому что жил в общежитии и еще не получил обещанной начальством комнаты. Отцовский друг ютился вместе с женой и четырьмя детьми в маленькой избе. Жили они еще беднее, чем бабушка и тетя Виктора. Через год отцу выдали комнату в коммунальной квартире, и он воссоединился с сыном. Еще через три года отец женился на вдове с двумя детьми и переехал с сыном к ней.

В школе Виктор пристрастился к чтению, летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Ему было 10 лет, когда произошло событие, которое позволяет понять, что у него уже в этом возрасте был твердый характер.

В феврале 1958 года, после хоккейной игры, к Виктору подошли четыре парня — старше и сильнее его. Они потребовали деньги. Он сказал «нет», был избит и остался без денег — нескольких копеек. На следующий день он попросил в школьной библиотеке книги о боксе и физической подготовке. Читая, выяснил, что для укрепления мышц только упражнений недостаточно, нужен еще и протеин (белки), и он спросил у мачехи, возможно ли добавить в ежедневный рацион мясо, или рыбу, или яйца, или сыр. «Все это слишком дорого», — отрезала она.

Виктор решил добывать протеин самостоятельно. С наступлением летних каникул он начал жить в лесу, на берегу реки. Ловил птиц, удил рыбу, потом пошла ягода. В течение лета он окреп и прибавил в весе. В декабре он был готов к свиданию с избившими его. Первого он встретил неподалеку от хоккейной площадки. Вскоре настиг второго. Его бой с третьим на глазах нескольких десятков мальчишек убедил всех: с Виктором Беленко лучше не ссориться...

И еще один эпизод. Виктор был круглым отличником в выпускном классе. В Москве на выставке достижений школьников демонстрировался сконструированный им управляемый по радио трактор. Он получил бы золотую медаль, если бы не конфликт с учительницей литературы. На одном из уроков она сказала, что свет — это материя. «Никакая не материя», — заявил Виктор. Учительница настаивала, и тогда Виктор на глазах у всех учеников открыл учебник физики. После урока учительница потребовала, чтобы он извинился перед ней при всем классе. Он отказался и получил в аттестате зрелости четверку, а не пятерку.

После школы Беленко поехал в Омск, где жил дальний родственник отца. Серебряная медаль позволяла ему поступить в институт без вступительных экзаменов, но требовались деньги на жизнь, и он пошел работать. Сначала это был гараж в аэропорту, затем танковый завод. И всюду царили беспробудное пьянство и ложь. Отдушиной для Виктора стало небо.

Беленко мечтал о самолетах с тех пор, как прочитал в школе повесть Сент-Экзюпери «Ночной полет». В летной омской школе ДОСААФ мечта стала осуществляться. Он учился летать в свободные от работы дни и часы, а в 1967 году поступил в Высшее военное авиационное училище в Армавире. Через четыре года закончил училище на отлично и сам стал учителем — летчиком-инструктором в Ставропольском высшем военном авиационном училище.

В армии он столкнулся с тем же, что было и на гражданке — с повальным пьянством и ложью. Однажды стал соучастником мелкого преступления. Из-за непогоды был отменен учебный полет. Непосредственный начальник Виктора сказал: «Напишем: полет состоялся». Но как быть с топливом? Баки-то остались заправленными. Последовал приказ: «Слить в землю!»

Четыре года работы в училище убедили летчика-инструктора Беленко, что следует служить на военной базе, где, как он предполагал,

таких безобразий, как в училище, быть просто-напросто не может. Он подал соответствующий рапорт начальнику училища. Генерал принял лейтенанта и сказал, что он останется в училище, поскольку летчиков много, но не хватает инструкторов, которые их обучают. Лейтенант пытался возразить генералу. «Разговор окончен!» — сказал генерал. «Нет, не закончен!» — не согласился лейтенант и принялся докладывать генералу, что происходит в вверенном ему учебном заведении. Выслушав, генерал вызвал врача и приказал проверить, в своем ли уме лейтенант.

«Ты либо безумец, либо чертовски смел», — сказал Виктору врач после того, как мучил его несколько часов всевозможными вопросами, выясняя, в порядке ли его голова.

Столкновение с генералом помогло Беленко получить назначение в летную часть. Он также пришел к выводу: если его, летчика, могут упрятать в психбольницу, значит, туда могут посадить любого человека.

Летный полк Беленко находился в нескольких километрах от поселка Чугуевка, районного центра. По воскресеньям сюда приезжали офицеры из близлежащих воинских частей. Приезжали за спиртом. Его доставляли неизвестные лица с военно-воздушной базы, на которой были громадные запасы спирта, необходимого для тормозной и электронной систем самолета МиГ-25. Эти самолеты называли в Чугуевке «летающими гастрономами» — туда заливалось до 200 литров спирта. Пили, разумеется, и на военно-воздушной базе.

Солдаты срочной службы обитали в казармах, рассчитанных на 40 человек каждая, но в них теснилось от 180-ти до двухсот. В каждой казарме было по два рукомойника-умывальника. Туалеты — сортиры — находились на улице. Когда старший лейтенант Беленко был дежурным по части, ему приходилось бывать в казармах. От антисанитарии становилось дурно.

Беленко, его жене Людмиле и сыну предоставили комнату в двухкомнатной квартире: во второй жил другой офицер с женой и двумя детьми. Семье Беленко повезло. Обычно в двухкомнатную квартиру помещали три-четыре семьи. Людмила не переставала жаловаться. Избалованная родителями, которые ни в чем не отказывали единственной дочери, она выражала недовольство жизнью офицерской жены.

В офицерский клуб приезжали время от времени лекторы. Они рассказывали, что американские империалисты готовятся к войне.

Беленко привык к подобным лекциям, поскольку они преследовали его повсюду, начиная с Армавирского училища. Один лектор рассказывал, что в Америке отправили в тюрьму коммунистку Анджелу Дэвис, и Беленко понял, что в Америке не запрещена Коммунистическая партия. Лектор говорил, что Дэвис была уволена из университета, и он говорил себе: «Значит, в Америке коммунистам разрешают преподавать в университете»... Другой лектор сообщил, что президента Никсона обвинили во лжи и вынудили уйти в отставку. Беленко недоумевал: «Президент — ставленник большого капитала, разве можно его наказывать?» Да и разве начальникам запрещено лгать? Они все лгут и остаются на своих местах...

Учеба Беленко в советских «университетах» подходила к концу. Он все острее сознавал: жить в Советском Союзе становится невозможно. Куда податься? Такого вопроса не было. Он знал, конечно, что Америкой правят «темные силы». Но он также знал, что Америка доставила человека на Луну и что там строят боевые самолеты, ни в чем не уступающие советским и даже превосходящие их.

В понедельник, 6 сентября 1976 года, старший лейтенант Виктор Иванович Беленко покинул Советский Союз, чтобы жить в Америке. В этот день американцы отмечали День Труда. Беленко этого не знал, и он еще много чего не знал об Америке. Советские «университеты» остались позади. Впереди были американские...

7 сентября пресс-секретарь Белого дома Рон Нессен объявил: «Если Беленко попросит политического убежища, мы с радостью примем его». В этот же день правительство Японии уведомило посольство США в Токио, что «летчик изъявил желание жить в Америке». В этот же день с Беленко встретился хорошо говоривший по-русски сотрудник ЦРУ, назвавшийся Джимом. А 11 сентября в токийском аэропорту Беленко и Джим поехали на машине прямо к Боингу-747 и поднялись в салон. Они заняли места в общем классе, а когда самолет поднялся в воздух, Джим поздравил Беленко: «Вы на пути к цели».

«В то время у меня не было ясного представления об американском обществе. Когда я попал в Соединенные Штаты, я вел себя как пришелец из космоса», — вспоминал Беленко через двадцать лет.

Этому не следует удивляться. Советская пропаганда была единственным для Беленко источником сведений о Соединенных Штатах. Поэтому-то с первого дня — точнее, с первого же часа пребывания



в Америке — он с недоверием относился чуть ли не ко всему, что видел собственными глазами или слышал от находившихся с ним постоянно агентов ЦРУ, каждый из которых свободно говорил по-русски. .

Летевший из Токио «Боинг» приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Десятки журналистов надеялись увидеть Беленко. Их надежды оказались напрасными. Неподалеку от «Боинга» Джима и Беленко поджидала машина, и вскоре они уже были на частном аэродроме, где их ждал небольшой самолет. Как только самолет поднялся в воздух, были поданы сэндвичи, и сопровождавшие Беленко ЦРУшники начали что-то обсуждать. Все они были подтянуты, хорошо одеты, выглядели друзьями. Невозможно было распознать среди них начальника. Беленко не сомневался, что таких людей подобрали специально, чтобы произвести на него впечатление.

В вашингтонской аэропорт имени Даллеса самолет прилетел рано утром. Шел проливной дождь. Еще не рассвело. Усталого Беленко привезли в освещенный дом, отвели в приготовленную ему комнату и вскоре он спал как убитый. Проснулся, когда было уже светло. Дверь приоткрыл негр. «Что делает здесь черный?» — такой была первая реакция Беленко, который относился, как и все советские люди, с предубеждением к неграм, хотя, как и все советские, никогда не видел их. Негр улыбался, сказал что-то по-английски и передал Беленко написанную по-русски записку: «Завтрак приготовят, когда вы будете готовы»... На кресле рядом с кроватью были футболка, шорты, носки...

После завтрака Джим познакомил его с Питером, крупным мужчиной в годах, отлично говорившим по-русски. «Он будет с тобой все время», — сказал Джим. Питер начал знакомство с анекдота. Студент-армянин спросил профессора: «Можно ли построить коммунизм в Армении?» — «Конечно, — отвечал профессор. — Только пусть сначала построят в Грузии»...

После завтрака Беленко и Питер сели в машину и поехали на запад в горную Виргинию, где Беленко предстояло прожить несколько недель, отвечая на тысячи вопросов о самолете МиГ-25. С ними был и Ник, еще один американец, говоривший по-русски совсем как русский.

Дорога была узкой, машина не мчалась, и Беленко невольно сравнивал то, что видел, с поселком Чугуевка, неподалеку от которого

находился «его» военный аэродром. Ничто не напоминало здесь Чугуевку. Чистенькие дома, подстриженные газоны. Но больше всего поражало отсутствие дощатых уборных рядом с домами. «А где нужники?» — спросил Виктор, и Питер с Ником покатались со смеху. Перестав смеяться, Питер поведал Беленко о септике и автоматической подаче воды: «Водопровод и туалет есть во всех домах». «Неужели во всех?» — не поверил Беленко. «Наверное, есть дома без этого, но где, я не знаю», — сказал Питер.

Машина запарковалась у торгового центра в небольшом виргинском городе. Следовало купить Виктору костюм, и Питер направился с ним в магазин одежды. По дороге к этому магазину находился супермаркет и, увидев витрины, Беленко выразил желание посмотреть, что внутри, и... Вот что он рассказывал двадцать лет спустя:

«Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил, что магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, они могли меня разыграть... Это было красивое просторное место с непостижимым количеством товаров и без очередей. В России все привыкли к длинным очередям. Впоследствии я понял, что супермаркет был настоящий...»

Американцы с трудом увели Беленко из супермаркета, но на их пути к магазину одежды оказался магазин, в витринах которого красовались телевизоры, и Беленко направился к двери. Несколько цветных телевизоров были настроены на разные каналы, и качество изображения было превосходным. Беленко знал, что цветные телевизоры доступны только богатым людям, и решил не спрашивать, кто покупает такие телевизоры.

Магазин одежды тоже не мог не вызвать подозрения Беленко. Там оказалось несколько десятков разных костюмов его размера. Вне всякого сомнения, продавца оповестили, что он приедет. Правда, после примерки выяснилось, что следует кое-что ушить. «Потребуется полчаса», — сказал продавец. Чтобы не терять времени, Питер решил дозаправить машину, и они поехали на бензозаправочную станцию. И вот здесь-то Беленко окончательно решил, что стал участником заранее спланированного спектакля.

В прошлой жизни Беленко усвоил, что в очереди за бензином следует стоять несколько часов. Он также знал, что за рулем сидят только мужчины. Но на этой удивительной бензозаправочной станции,

во-первых, не было никаких очередей, и парнишка обслуживал три машины одновременно. Во-вторых, за рулем каждой из них была женщина!

«Поздравляю! Спектакль, который вы мне показали, превосходный!» — сказал Виктор американцам, когда они отъехали от торгового центра.

«О чем вы говорите?» — спросил Питер.

«Я говорю о месте, где мы только что были. Оно напоминает показательные колхозы, куда возят иностранцев».

Ник расхохотался, а Питер даже не улыбнулся. «Виктор, я даю тебе слово, что ты видел самый обычный торговый центр. Таких в Америке тысячи... Многие гораздо больше и привлекательнее».

Зачем спорить, подумал Виктор, Питер — хороший актер и исправно исполняет порученную ему роль...

Через несколько недель Беленко поинтересовался у Питера, есть ли возможность побывать на военно-воздушной базе. Он не сомневался, что услышит «нет». Однако Питер обещал устроить такой визит и выполнил обещание.

На базу с истребителями-«фантомами» Беленко и Ник летели на вертолете с военно-воздушной базы «Эндрюс», что поблизости от Вашингтона. На «Эндрюс» Беленко встречал улыбающийся генерал, и Виктор снова решил, что его разыгрывают. Генерал был чернокожим, а Беленко не сомневался, что негр не может быть генералом.

На базе ВВС Беленко не переставал удивляться всему, что видел: офицерский клуб и клуб для солдат, столовые, танцевальный зал, бассейн, теннисные корты, театр...

«А могу ли я посмотреть, как живет сержант?» — спросил Беленко у полковника-начальника базы, которого всюду сопровождал сержант. «Пожалуйста», — сказал полковник и направился вместе с Беленко, его переводчиком и сержантом к своей машине, и... Вот уже этого-то Беленко никак не мог представить: полковник сел за руль, а сержант занял место пассажира...

Сержант жил в двухэтажном доме. «У всех такой?» — спросил Беленко полковника. — «Зависит от размера семьи»... У дома стоял автомобиль. «Чей?» — поинтересовался Беленко. «Мой», — ответил сержант. Беленко своим ушам не поверил: машина сержанта была больше полковничьей... Как такое возможно!?

Еще в большее недоумение привел Беленко бар, куда его привели Питер и Ник, откликнувшись на просьбу «побывать в дешевом месте для настоящих рабочих». Найти такое место оказалось нетрудно, и как-то вечером они пришли в бар виргинского города Фоллс-Черч, что по соседству с Вашингтоном. Был понедельник, посетители смотрели телерепортаж матча по американскому футболу. Еда была вкусной, пиво превосходным, цена оказалась почти копеечная. Виктора поразило: нет пьяных. «Грустно признать, но алкоголизм — серьезная проблема в Соединенных Штатах. В стране от девяти до десяти миллионов алкоголиков», — сказал ему Питер. — «Кого вы считаете алкоголиком?» — спросил Беленко. — «Каждого, кто испытывает постоянную потребность в алкоголе, и чья жизнь нарушена из-за алкоголя». — «Это значит, что в Советском Союзе три четверти мужчин — алкоголики».

Урок на всю американскую жизнь Беленко получил, когда готовился к экзамену на автомобильные права. Он спросил Питера, не может ли тот помочь ему купить права. «У нас нет возможности сделать это. Мы можем выдать тебе документы с другим именем, но не права», — сказал Питер.

Беленко легко справился с письменным заданием, но требовался навык вождения. Питер выступал в роли учителя, показывал, как следует парковать машину, требовал, чтобы он сигнализировал при поворотах и при смене ряда. Но однажды Питер, сидя справа от Беленко во время езды по хайвею, о чем-то задумался, и ученик превысил допустимую скорость. Полицейская сирена не заставила себя ждать. «Сбавь скорость, — приказал Питер, — съезжай на обочину и опусти окно! Как только подойдет полицейский, дай ему документ и ни о чем не спрашивай! Он выпишет тебе штраф, и ты ему скажешь: “Thank you, officer!”»

Беленко ни о чем не беспокоился. Он знал, как нужно вести себя с «гаишниками», и был готов продемонстрировать это Питеру. «Сын, — обратился к Беленко полицейский, — знаешь ли ты, что ехал со скоростью восемьдесят пять миль в час?» Беленко расплылся в улыбке и протянул полицейскому две двадцатидолларовые купюры. «Нет, нет! — закричал Питер по-русски. — Немедленно убери деньги!» Затем он обратился на английском к полицейскому: «Я представитель Центрального разведывательного управления. Могу ли я поговорить

с вами в частном порядке?» Выйдя из машины, он объяснил полицейскому, кто его ученик. Через пару минут полицейский подошел к окну водителя: «Я хотел бы пожать вашу руку», — сказал он.

«Виктор, больше никогда не делай подобного. Взятка полицейскому или любому другому официальному лицу — преступление... Я не всегда буду рядом с тобой», — говорил, придя в себя, Питер.

Беленко открывал Америку не месяц и не два. Потребовалось несколько лет, чтобы он полностью избавился от советского представления о стране, где правят «темные силы». Он постигал Америку в кабинете дантиста, лечиться у которого наотрез отказывался, помня о мучениях в кабинетах советских зубных врачей. Он постигал Америку, выбрав для своей первой работы ферму. Он постигал Америку в колледже для ускоренного изучения английского...

У Беленко была возможность неплохо жить, никогда не работая. ЦРУ создало для него специальный фонд, позволяющий вообще не думать о зарплате, а ловить рыбу, охотиться, ездить по стране... Но так жить он не хотел, и он работал — и на себя как частный предприниматель, и на правительство, если требовались его знания и опыт.

В Советском Союзе Беленко заочно приговорили к смертной казни, распространили слухи о его гибели в автомобильной катастрофе. В 2000 году во время авиашоу в штате Висконсин с ним беседовали американские журналисты, и он рассказал о своей встрече с российским космонавтом Игорем Волком. «Ты вроде бы умер?» — изумился Волк. — «Как видишь, нет! КГБ пустил слух о моей смерти, чтобы отбить охоту бежать у других».

После развала «империи зла» Беленко побывал в связи со своим бизнесом в России, правда, не под своим именем.

#### ||| ОТ РЕДАКЦИИ:

||| По итогам анализа самолёта американские технические специалисты пришли к заключению, что МиГ-25 не годится для перехвата высотных разведчиков SR-71, в первую очередь, уступая ему по целому ряду лётно-технических характеристик, а скоростные параметры самолёта были в большей степени пропагандистским штампом для повышения его экспортной привлекательности.

Кроме того, американцам удалось ознакомиться с системой управления и вооружением самолёта и получить достоверные технические данные о его реальных боевых возможностях.

В Америке Беленко женился, у супругов родилось трое детей.

15 февраля 2022 года американскому пенсионеру Виктору Ивановичу Беленко исполнится 75 лет.

### ОБ АВТОРЕ

---

---

---

*Алексей Орлов* — журналист, эссеист. Окончил географический факультет и факультет журналистики Ленинградского университета. Эмигрировал в США в 1976 году. Работал почти четверть века в ежедневной газете «Новое Русское Слово».

Ведет на Дэвидзон-радио еженедельную часовую передачу «Моя Америка» и ежедневный утренний выпуск спортивных новостей. Продолжает писать исключительно об Америке — истории, политике, спорте.

Автор нескольких книг.

Любовь СТЕРЛИКОВА  
**ВЛАДИМИР ДЖУЛУХАДЗЕ:  
50 ЛЕТ В БАЛЕТЕ**

---

---

**Т**ёплый октябрьский вечер. Город уже немного сбавил темп, но всё еще оживлённо движется. Праздная публика заполняет проспект Руставели. Перед театром оперы и балета начинают толпиться зрители, пришедшие на спектакль. С одной стороны, привычная картина, но с другой — наполненная новыми реалиями и звуками. В родном Тбилиси, где народный артист Грузии Владимир Джулухадзе не был долгие годы, поменялось многое.

Он останавливается перед афишей. Сколько раз его имя было объявлено на этой театральной тумбе! Его охватывают чувства и волнение, которые он испытывал перед каждым спектаклем. Перед мысленным взором проходят люди и события, успехи и трудности, так знакомые каждому артисту. Он физически ощущает атмосферу гримёрной, ожидание в кулисах, пространство сцены, на которой прошли самые яркие моменты его творческой жизни. В этот вечер дают «Дон Кихота» — балет, ставший для Джулухадзе знаковым. Базиля танцует его ученик, американец Бруклин Мак, приглашённый на эту роль. Круг замкнулся.

Всё началось с желания родителей чем-то занять ребёнка, пока они на работе. Мама любила балет, и выбор пал на танцевальный кружок в Доме культуры ткацкой фабрики. Это решение встретило сопротивление ребёнка, но воля родителей была непреклонна. «Будешь танцевать», — гласил вердикт. Занятия оказались не такими уж тяжёлыми. Мальчик любил прыгать, бегать и скакать и вскоре стал солистом. Его заметил педагог хореографического училища Юрий Зарецкий и предложил продолжить занятия профессионально.

Родители с радостью согласились — ребёнок был бы в училище с утра до вечера. В этот раз они прибегли к политике пряника: согласие на хореографическое училище вознаграждалось велосипедом. Так что это вождеденное десятилетним мальчиком транспортное средство можно назвать тем мощным рычагом, который определил дальнейшую судьбу Владимира Джулухадзе.

Восемь лет в Тбилисском хореографическом училище заложили основы фундамента его творческой жизни — дисциплину, чёткость, требовательность, огромную работоспособность, желание узнавать новое и быть первым. В начальных классах учеников разделили на две группы. В одной педагогом была молодая и красивая женщина, в другой — дама весьма почтенного возраста. Каково же было огорчение Володи, когда он узнал, что попадает именно к ней. И только позже пришло понимание важности этих первых шагов в балете. «Как педагог она не срывала звёзд с неба и не претендовала на титулы или новшества в преподавании. Но она прекрасно знала свою, в чём-то рутинную, работу и требования, предъявляемые к начальному уровню, который был чрезвычайно важен для закладки фундамента профессии. Она воспитывала учеников в чётко очерченных рамках. В любом бизнесе именно такие люди делают большое дело, создавая основы будущего здания. Нужны рабочие, чтобы замешать цемент для фундамента, а потом архитекторы уже могут претворять в жизнь свои идеи. Без таких людей невозможно возведение здания», — с теплотой вспоминает Джулухадзе о Тамаре Михайловне Выходцевой.

Последние два года в училище Владимир занимался у легендарного Вахтанга Чабукиани. Этот гениальный танцовщик от Бога имел огромное влияние на публику. То же можно сказать и о его занятиях со студентами, которые были буквально заморожены своим педагогом. Вахтанг Михайлович не был искущён в методологии преподавания. Он очень много показывал, давая свои оригинальные объяснения того, как надо делать тот или иной элемент. Учеников больше всего поражало, что казавшиеся нелогичными и даже несколько странными объяснения работали, давали результат. Особое внимание Чабукиани уделял выразительности рук и говорил, переходя на грузинский, «джохеби», то есть, руки не должны быть как палки.

Извечная нехватка мальчиков позволила отличнику Владимиру Джулухадзе танцевать выпускные спектакли два года подряд —



в 1969 году «Тщетную предосторожность» Л. Гертеля и на следующий год «Коппелию» Лео Делиба. Репетиции проводила Маргарита Гришкевич, ученица Агриппины Вагановой, а «шлифовкой» занимался Чабукиани. Эта серьёзная работа с большими мастерами была первым шагом на творческом пути будущего народного артиста Грузии.

И вот долгожданная сцена Театра оперы и балета им. З. Палиашвили, которая станет для артиста родной на долгие двадцать лет. Пришлось пройти необходимые стадии сценического опыта — кордебалет и участие в оперных постановках. Но очень скоро Владимиру начали давать небольшие роли, а вскоре доверили станцевать ведущую партию в поставленной Алексеем Чичинидзе «Поэме» Сулхана Цинцадзе вместе с народной артисткой Грузии Лилианой Митаишвили. Затем Лаэрт в «Гамлете» В. Чабукиани на музыку Реваза Габичвадзе.

Но хотелось двигаться вперёд еще быстрее. И Джулухадзе решает отправиться в Ленинград на класс усовершенствования. Претенденты на две вакансии приехали из всех союзных республик. Отбор комиссии, в которую вошли педагоги Вагановского училища, был очень жёстким. «Борис Бреговдзе провёл мужской класс. Нас было человек 14. На мне единственном — белое трико и красная майка. Наверное, поэтому меня и выбрали», — смеётся Джулухадзе. Это счастливое красно-белое сочетание на всю жизнь останется любимым, и артист даже сам сделает костюм в этих тонах для роли Базиля в «Дон Кихоте» Л. Минкуса.

В то же лето неизбывная энергия молодого танцовщика толкает его принять участие в конкурсе артистов балета в Москве. Ему хочется продемонстрировать что-то необыкновенное, и он вновь и вновь репетирует сложный дубль тур анлер с приземлением в арабеск с растяжкой. Всё заканчивается перетруженными ногами и крепатурой. «Я теперь понимаю, — говорит Джулухадзе, — как важно иметь опытного репетитора, который может тебя направить, подсказать и даже вовремя остановить. У меня же в то время совсем не было опыта, а только неуёмное желание танцевать».

Несмотря на неудачу в конкурсе, это желание танцевать было замечено, и вскоре Джулухадзе приглашают принять участие в международных гастролях группы ведущих танцовщиков «Звёзды советского балета». «Мне невероятно повезло, — вспоминает Джулухадзе, — я встретился с замечательными артистами — Майей Плисецкой, Марисом Лиепой, Мариной Кондратьевой, Маликой Сабировой. Это

был необыкновенный опыт». В течение последующих лет Джулухадзе гастролирует в 20 странах Европы, Америки, Азии и Африки.

Приглашение Джулухадзе в Ленинград не было встречено руководством тбилисского театра с большим энтузиазмом, ведь на артиста имелись вполне определённые виды. Как раз в это время художественным руководителем театра становится балетмейстер Георгий Алексидзе. Молодому артисту запомнились его слова: «Танцовщик растёт сначала в зале, а потом на сцене. Нужна сценическая практика. И я предоставлю тебе такую возможность. Советую остаться». Джулухадзе решил последовать этому совету и не ошибся.



Джулухадзе танцует премьеры балетов Георгия Алексидзе, хореография которого явилась неожиданностью не только для широкой публики, но и для профессионалов. «Хореография Алексидзе была очень тяжела для исполнителей — новые эстетические зарисовки, связки, другая пластика. Этот переход давался нелегко. И, особенно, очень тяжело танцевать физически. Естественно, что такие нагрузки мог выдержать только молодой здоровый организм», — вспоминает Джулухадзе.

Как из рога изобилия, премьеры следуют одна за одной — «Орфей и Эвридика» Зураба Кикалейшвили, балеты Алексидзе «Берикаоба», «Орестея», «Вариации на тему Моцарта», «Античные эскизы», «Безделушки», «Времена года», «Туонельский лебедь».

Особое место в творчестве артиста занимает балет, а впоследствии кинофильм, «Медея», поставленный Алексидзе на музыку Реваза Габичвадзе. В роли Ясона соединились все качества Джулухадзе-танцовщика, умеющего передать и лирические, и мужественные грани своего героя, демонстрируя великолепную технику и свободное владение языком классического и современного танца.

Известный деятель балета Владимир Преображенский писал:

Прекрасен Ясон — В. Джулухадзе. Мужественная манера его танца, резкость и энергичность сопротивления уговорам и призывам Медеи производят впечатление сильное. Но ещё сильнее

впечатляет тот монолог, где Ясон словно всматривается в ужасы содеянного, предчувствует грядущую расплату и ...оказывается не в силах отказаться от Креусы.

В дальнейшем репертуар артиста обогатится работами западных хореографов — «Серенадой» и «Темой с вариациями» Джорджа Баланчина, «Кармен-сюитой» Альберто Алонсо, «Собором Парижской богоматери» Ролана Пети, «Паваной Мавра» Хосе Лимона. Последняя роль заслужила особо высокую оценку критики и публики. Балетный критик Нелли Шургая писала:

Вот это была неожиданность. Артист был в роли Мавра неузнаваем. Он, сугубо классический танцовщик, в жанре модерн чувствовал себя так, как будто всю жизнь работал в этом своеобразном стиле. Искренность его исполнения порождала наивную мысль о том, что он вкладывает в танец своего героя какие-то личные переживания. Страдальческий взор его Мавра здесь легко сменялся гневным, темпераментность — расслабленностью, нежность и любовь соседствовали с неистовством и ненавистью...

Несомненно, основное место в творчестве Владимира Джулухадзе занимали ведущие партии классического репертуара: полный огня и страсти Базиль в «Дон Кихоте», задумчивый Зигфрид в «Лебедином озере», мечтательный поэт в «Шопениане», мужественный Актеон в па-де-де с Дианой, и многие-многие другие созданные им образы, отличавшиеся высокой техникой исполнения и необыкновенной искренностью и эмоциональностью.

Вершиной своего творчества танцовщик считает Альберта в «Жизели» А. Адана. Он преднамеренно откладывал эту роль, считая, что только зрелый артист в состоянии передать все сложные душевные переживания героя. Партия Альберта, не изобилующая сложными техническими построениями, вместе с тем требует невероятных физических, а, главное, эмоциональных сил.

Критика писала:

Он изображает своего героя пылко влюблённым, увлечённым. Его Альберт изыскан и нежен в вариации второго акта и особенно в коде, где в россыпи мелких движений по диагонали как бы вы-

плескивается вся взволнованность героя, и поэтому В. Джулухадзе искренен и убедителен. В дуэте второго действия между партнёрами, столь разными по сценическому характеру, возникали гармония и согласие.

Качества Джулухадзе как партнёра завоевали высокую похвалу не только критики, но и блестящих балерин, с которыми ему довелось танцевать. Среди них Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Цискари Баланчивадзе (племянница Д. Баланчина), Нина Ананиашвили, Алла Ханиашвили, Любовь Кунакова, Ирма Ниорадзе.

Заслуженная артистка Грузии Мака Махарадзе вспоминает о работе над спектаклем «Кармен-сюита»:

Владимир Джулухадзе, по моему мнению, один из наиболее уважаемых людей в профессии. Для меня было высокой честью работать над своей первой ведущей партией с премьером, танцовщиком высочайшего профессионализма. Вообще, можно сказать, что он был какой-то особенный, очень понимающий и помогающий. Я не имела большого опыта партнёрства, и полагаю, что он со мной намучился в сложных поддержках, но Владимир проявил большую чуткость и такт. Я чувствовала себя уютно, удобно и надёжно.

Особый творческий союз сложился буквально с первых шагов танцовщика в театре с народной артисткой Грузии Ириной Джандиери. Более опытная, она очень много помогала Владимиру, который был её партнёром как на сцене родного театра, так и в многочисленных гастролях. Особенно запомнилась работа над «Лауренсией» А. Крейна, новую постановку которой сделал Вахтанг Чабукиани в 1979 году, доверив танцевать премьеру Джандиери и Джулухадзе. Дружба с Ириной и её братом Никой Джандиери, известным театральным режиссёром, сохранится на всю жизнь.

Значительно обогатила молодого танцовщика работа с легендарными мастерами — Константином Сергеевым, Натальей Дудинской, Феей Балабиной, Татьяной Вечесловой, Владимиром Васильевым, Александром Плисецким, Раисой Стручковой, Михаилом Лавровским. Особенно его поразила неиссякаемая энергия, с которой заслуженные мастера отдавались работе даже в преклонном возрасте. Вспомни-

ная о репетициях «Лебединого озера» с Сергеевым и Дудинской, он отмечает: «Удивительно, откуда у людей старой закалки были силы. Они могли работать 24 часа в сутки, в то время как мы уже не могли стоять на ногах. В своё время Сергеев танцевал созданную им версию вариации с дубль тур анлер. До сих пор мало кто это делает. Я был полон духа соревнования, азарта, спортивного интереса и решил сделать так же». Джулухадзе выполнил задуманное и произвёл впечатление на мастера.

Балетный спектакль — это сложный организм, который оживает только перед зрителем, когда магия искусства исполнителей объединяет все составляющие его элементы — музыку, хореографию, декорации, костюмы. Джулухадзе довелось работать с замечательными самобытными художниками, создававшими гармоничное сценическое единство. Он не перестаёт восторгаться красотой «Щелкунчика», оформленного Георгием Месхишвили. Оригинальностью поражали «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» (редакция Михаила Лавровского), созданные ломающим стереотипы выдающимся театральным художником Теймуразом Мурванидзе. По-современному звучал спектакль «Берикаоба» в сценографии Николая Игнатова. Трудно представить «Медю» без костюмов Юрия Гогешидзе. Костюм по эскизам Татьяны Бруни в виде туники с фактурой, напоминающей шкуру оленя, помог Джулухадзе создать один из наиболее любимых им образов — Актеона, превращённого в оленя богиней Дианой в знаменитом па-де-де. Джулухадзе сравнивает значение костюма для танцовщика с ролью дирижёра, задающего правильный темп для успешного проведения спектакля:

Костюм помогает войти в образ уже на стадии примерки. Ты с ним постепенно сживаешься. Он становится твоим. И это чрезвычайно важно, так как костюм, помимо эстетической функции, несёт и чисто утилитарную: он должен быть удобным, не стеснять движений танцовщика. Я работал с удивительными мастерами, для которых не существовало незначительных деталей, каждый шов и складочка имели значение. Мне всегда доставляло удовольствие видеть, насколько они скрупулёзно подходили к своему делу. Эти художники по духу, по образу мысли, по отношению к своей работе были мне очень близки, что, как я полагаю,

и давало прекрасный результат — спектакль, где все компоненты дополняли друг друга.

Жизнь артиста балета коротка, и наступает момент, когда встаёт вопрос: а что же дальше? Джулухадзе занимается преподаванием, как хореограф ставит спектакли в театрах Тбилиси. По совету Евгения Валукина, декана ГИТИСа, получает высшее образование и становится дипломированным педагогом балета и хореографом. Он вспоминает:

Мне казалось, что я всё знаю о балете, но, начав серьёзно заниматься педагогикой, понял, что ничего не знаю. Танцовщик и педагог — это совершенно разные профессии. Одно дело — танцевать самому, и совсем другое — научить этому других.

Завершил Джулухадзе свою сценическую карьеру в 1991 году, выступив в роли педагога и танцовщика одновременно. Он помог Ирме Ниорадзе, будущей ведущей солистке балета Мариинского театра, в подготовке к Международному балетному конкурсу в Джексоне, США, где был её внеконкурсным партнёром. Выступление оказалось успешным. Оно явилось поворотным моментом в судьбе артиста. Получив приглашение стать артистическим директором Балета Миссисипи и его балетной школы, Джулухадзе переезжает в Америку.



Первые шаги оказались трудными. Незнание языка, обычаев, совершенно иной системы построения труппы и школьного обучения были проверкой качеств, приобретённых ещё в хореографическом училище — целеустремлённости, работоспособности, упорства. Важным явилось приглашение известного балетмейстера Олега Виноградова в Кировскую балетную академию в Вашингтоне, созданную по образцу Вагановского училища. Здесь дар Джулухадзе-педагога проявился в полной мере. Его ученики стали ведущими танцовщиками в престижных балетных компаниях, международными звёздами, победителями таких значительных балетных конкурсов, как Варна и Джексон. Любителям балета известны имена Мэтью

Голдинга (Matthew Golding), Бруклина Мака (Brooklyn Mack), Мишель Уайлс (Michele Wiles), Расты Томаса (Rasta Thomas), Дэнни Тидвелла (Danny Tidwell), Мелиссы Хоу (Melissa Hough).

И как в своё время зрители видели частичку Чабукиани в Джулухадзе-танцовщике, так и в его учениках можно видеть частичку Джулухадзе-педагога. «Наверное, счастье, — говорит Джулухадзе, — это когда ты любишь своё дело, свою профессию и видишь, как дело твоей жизни живёт в учениках. Звучит банально, но это истинная правда. Балет дал мне всё, сформировал меня как человека, и сейчас, спустя 50 лет после моих первых шагов на сцене, я каждый раз испытываю такое же волнение, когда на сцену выходят мои ученики. Это держит меня, даёт энергию, и я надеюсь, что смогу воспитать ещё не одно поколение танцовщиков, которые по-настоящему любят и понимают балет».

5 января 2022 года Владимир Джулухадзе отмечает 70-летие.

#### ОБ АВТОРЕ

---

---

*Любовь Стерликова* — российско-американский художник, автор и арт-куратор. Основные направления — живопись, плакат.

*Родилась в Москве. Училась в МГИМО. Член ряда творческих союзов, Участвовала более чем в 80 выставках в России, США, Европе и Азии. Ее работы представлены в многочисленных публикациях и телепередачах и находятся в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и Китае. Арт-критики отмечают в работах художницы чувственность и эмоциональность, сравнивая её полотна с сочными поэмами Джона Китса.*

Алишер Киямов  
**ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ**

---

*ПЕРЕВОДЫ*

**ПАУЛЬ ЦЕЛАН (1920–1970)**

**Дали**

С глазу на глаз, в прохладе,  
дозволь нам тоже такое начать:  
вместе  
дозволь нам дышать дымкой,  
что нас друг от друга скрывает,  
раз вечер намерен уже измерять,  
как далеко ещё  
от каждого облика, который он принимает,  
до каждого облика,  
который он нам обоим дал напрокат.

---

Написание названий, имён и фамилий приближено к их звучанию на немецком языке.



## ФУГА СМЕРТИ

Смоль предрасветного млека мы пьем её вечерами  
мы пьем её днём пьем утром по ночам  
пьем и пьем  
мы роём в воздухе яму  
могилу там будет не так тесно  
нам всем вместе лежать  
Жилец проживает в доме играет со змеями пишет  
когда темнеет в Германию пишет  
прядь золотая твоих Маргарита волос  
он пишет выходит из дома и звёзды сияют  
он свистом своих подзывает собак  
он свистом своих подзывает евреев  
начать в земле могилу копать  
он даёт нам приказ одни копают  
другие для танцев теперь начинают играть

Смоль предрасветного млека мы тебя пьем ночами  
мы пьем тебя утром и днём по вечерам  
пьем и пьем  
Жилец проживает в доме играет со змеями пишет  
когда темнеет в Германию пишет  
прядь золотая твоих Маргарита волос  
мы роём в воздухе яму могилу  
там будет не так тесно всем вместе  
Твоих волос Суламифь пепельна прядь

Он кричит одним вгрызаться глубже в царство земное  
другим петь и играть  
он берётся за воронённую сталь за ремнём португепи  
машет ею у него глаза голубые  
лопаты глубже втыкают эти  
другие для танцев дальше продолжают играть

Смоль предрассветного млека мы тебя пьём ночами  
 мы пьём тебя днём и утром по вечерам  
 пьём и пьём  
 Жилец проживает в доме прядь золотая  
 твоих волос Маргарита  
 он играет со змеями  
 твоих волос Суламифь пепельна прядь

Он орёт сладострастней играть для смерти  
 в своём деле мастер из Германии смерть  
 он орёт смычками касаться скрипок темнее  
 тогда вы подниметесь в воздух клубами  
 тогда в облаках вам найдется могила  
 там будет не так тесно всем вместе лежать

Смоль предрассветного млека мы тебя пьём ночами  
 мы пьём тебя днём  
 в своём деле мастер из Германии смерть  
 мы пьём тебя вечерами и утром мы пьём тебя  
 пьём и пьём  
 в своём деле мастер из Германии смерть  
 у него глаза голубые  
 он найдёт тебя свинцовою пулей  
 он найдет тебя наверняка  
 жилец проживает в доме прядь золотая  
 твоих волос Маргарита  
 он травит нас псами своими  
 он дарит нам в воздухе яму могилу  
 он играет со змеями грезит  
 в своём деле мастер из Германии смерть

прядь золотая твоих волос Маргарита  
 твоих волос Суламифь пепельна прядь

## РЕШЁТКА ДЛЯ РЕЧИ

Круглооко между прутами.

Мерцающий зверь веко  
отгребает наверх,  
даёт взгляду свободу.

Iris,<sup>1</sup> пловчиха, сумрачна и безгрёзна:  
должно быть низко серосердая твердь.

Наискосок,  
в железной розетке светильника,  
чадная щепка.  
По свету  
тобой узнаётся душа.

(Был бы я как ты. Была б ты как я.  
Стояли мы  
не под пассатом?  
Мы — чужаки.)

Плиты. На них,  
плотно друг к дружке, обе  
серосердые лужи:  
два,  
молчания полные, рта.

---

<sup>1</sup> *Iris* (мед. латынь) — радужная оболочка глаза. В других значениях: женское имя и название цветка.

## ДВОЯКИЙ ОБРАЗ

Дозволь твоему оку быть в каморке свечой,  
взгляду быть фитилём,  
дозволь мне быть достаточно ослеплённым,  
чтобы его зажечь.

Нет.  
Дозволь быть другому.

Встань перед домом,  
запряги пегую грёзу свою,  
дозволь копытам её говорить  
снегу, что ты сдуваешь  
с конька крыши у меня на душе.

\* \* \*

Близко, в дуге аорты,  
в светлой крови:  
светлое слово.

Мать Рахиль  
больше не плачет.  
Всё оплаканное  
сюда уже вынесено.

Тихо, в венечных артериях,  
незашнуровано:  
Ziw,<sup>2</sup> тот свет.

<sup>2</sup> Ziw (иврит.) — изначальная ипостась божественного света.

\* \* \*

Древеснолицый,  
шлаковнеротый  
шут над ходовым колесом:

на мочке уха  
повис себе глаз  
и подпрыгивает,  
озеленив.

\* \* \*

По вечерам,  
в Хамбурге,  
нескончаемый туфельный ремешок —  
с ним  
возьтятся духи —  
воедино связывает два,  
до крови стертые, пальца ноги  
преддорожную клятвой.

## НЭЛЛИ ЗАХС (1891–1970)

## ХОР СПАСЁННЫХ

Мы, Спасённые,  
из хрупких остовов чьих,  
смерть свои уже режет флейты,  
к чьей тоске смерть уже  
своим смычком прикоснулась —  
хотя в наших плотях, все ещё вопия,  
звучит увечная музыка Плача...  
Мы, Спасённые,  
хотя перед нами, крутятся,  
в синеве петли для наших вый всё ещё виснут,  
всё ещё заполняются колбы часов  
каплями нашей крови...  
Мы, Спасённые,  
хотя всё ещё на нас жрущие черви страха,  
и погребено во прахе наше светило...  
Мы, Спасённые,  
просим вас —  
не торопясь, покажите нам ваше солнце,  
от звезды к звезде ведите нас шаг за шагом,  
дайте нам тихо вновь жить научиться...  
Ведь может стать — песнь птицы,  
вода, наполняя ведро у ручья,  
даст взломать печати, что ветхи,  
в нас опечатанной боли,  
и, пенясь, нас смочет...  
Мы просим вас —  
пока, всё ещё, не показывать нам  
загрызающих насмерть собак —  
это может случиться, может случиться,  
что мы иссыпимся прахом,  
иссыпимся прахом у вас пред глазами...

Что же держит плоть нашу вместе?  
Мы — бездыханны,  
чьи души к Нему в полночь бежали,  
задолго ещё до того как наши плоти спасутся  
в ковчеге мгновенья.  
Мы сжимаем ваши ладони,  
мы узнаём ваши глаза —  
но вместе с вами нас держит только прощанье,  
прощанье во прахе  
держит нас с вами вместе.

\* \* \*

Всегда  
там, где умирают дети,  
становятся самые тихие вещи бездомны.  
Покров из боли заката,  
в котором, темнея, плачет  
ночью душа дрозда,  
ветерки, над дрожащей травой вея,  
осколки света, потухнув  
и умирание сея...

Всегда  
там, где умирают дети,  
сжигают ночь  
лики огня — в своей одинокие тайне...  
И кто знает о проводниках,  
которых смерть высылает:  
запах дерева жизни,  
крик петуха, что день сокращает,  
колдовские часы осенних ненастий,  
детскую заколдовав, внутрь прокравшись,  
подступившие воды у берега тьмы,  
шуршаще сквозящие времени сновиденья...

Всегда  
там, где умирают дети,  
зеркала в домиках кукол  
завешиваются дыханьем,  
больше не видится танец  
напальчников-лилипутов,  
в атлас детской крови одетых,  
танец, что стих —  
как в бинокль  
до луны отодвинутый мир.

Всегда  
становятся там,  
где умирают дети,  
звезда, и камень,  
и столь много грёз  
бездомны.

### ДА НЕ СТАНУТ ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯМИ

Шаги —  
в каких гротах эха  
вы остаётесь хранимы,  
вы, что когда-то  
предвещали грядущую смерть?

Шаги —  
ни птицы полет, ни гадание по потрохам,  
ни кровавость испарины Марса  
лучше не подтверждали оракула — вести о смерти —  
только шаги —



Шаги —  
с древних времён игра палача и жертвы,  
тех, кто преследует, и тех, кто преследуем,  
травящего и травимого —

Шаги,  
что несут, разрывая время,  
часы, обвешанные волками,  
которые обрывают побег беглеца  
в крови.

Шаги,  
время высчитывая по воплям, по стонам,  
по истеканиям крови, пока она стынет,  
капли предсмертного пота складывая в часы —

Шаги палачей  
над шагами жертв —  
в движеньи земли секундная стрелка,

что пугающе двигалась от какой чёрной луны?

В музыке сфер  
где теперь резкий ваш звук?

## РОЗЭ АУСЛЭНДЭР (1901–1988)

Я возлагаю слов твоих кораллы  
себе на шею ожерельем — и сквозь темноту  
влекут меня твоих глазниц высокие порталы,  
струя потоком свет полей в цвету.

Здесь мы иные в жизни новой,  
здесь красок цвет иной в прозрачности разлит,  
и всё, что здесь дано, своей основой  
восходит к Красоте, что нам принадлежит.

И всё течёт, и ширится, и длится,  
как дымка тая, и в пространства новизне  
лишь ты — Твердыня, и вокруг тебя обвиться  
всё существо моё в тоске стремится  
пред тем как замереть в глубоком сне.

\* \* \*

В твоих очах запечатлелось Слово,  
что сам Господь в Начале произнёс.  
Ты выгнул радугой Любовь в полнеба грозового —  
подобно нимбу вокруг моих волос.

Я чувствую тебя — как мотылёк порхая  
в тоске — под радугу тобой заключена,  
и птицы, что во мне поют — трепещут, затихая,  
и улететь хотят в далёкий лес из сна.

А мог бы ты меня хоть на мгновенье  
на радугу поднять, чтоб из-под ног  
ушла земля? Или привить мне в душу черенок

от своего горячего цветенья?  
Чтобы от Света твоего пошёл росток  
из затаённых робких строк?!

\* \* \*

Они так долго парком шли, и, замирая,  
её душа ловила каждый звук,  
а он молчал, молчал, галантно начиная  
всё тот же пройденный уж ими прежде круг.

Лучи сквозили в купах, и, взирая  
сквозь лёгкий флёр тоски и слёз,  
она следила, как к губам его, играя,  
свет льётся золотом по завиткам волос.

А полдень в парке золотил тропинки,  
лучи слепили в зеркале пруда,  
и вдруг лицо бледней кувшинки  
в нём отразила тихая вода.

И кутаясь от света в дымку шали,  
пред смыслом двери затворив и не ища вину,  
она, кружа, спускалась по спирали,  
её влекущей в раны глубину.

\* \* \*

Обнажено моё шло сердце кругом  
тех одиночеством обледенелых дней.  
Ты был за той игрой теней, что над моим недугом  
кружились стаяй воронья, смыкаясь всё тесней.

И жизнь стояла у окна — утратившей надежды,  
седой, горбатой и слепой, и, как молва,  
ярилось воронье на ней лохмотьями одежды,  
и замерли, оглохли все мои слова.

Но жар волною вдруг прошёл по коже,  
и пепел перьев снегом пал за ним вослед.  
Тогда мои я собрала все песни и их тоже  
ввысь бросила — тебе наградою в ответ.

## ХАНС КОЭН

## ДЕТСТВО

В комнатах детства меня  
встретит безлюдье.  
Стул и окно  
кровать и часы —  
мои безглазые судьи.

Голос дядиной смерти — его я не знал —  
чьи слова хорошо мне знакомы.  
Вечный вечер, где плыть  
через страха моря,  
оцепенев, как от комы.

Побелка, ребёнок которую вскрыл —  
крик стен с их явной виной.  
Мать ушла.  
И от чёрных рук  
защищён я цепочкой дверною.

## КОННИ ХАННЭС МАЙЭР

### НОЯБРЬ

ноябрь  
девочки синие тени  
на веки кладут и выпячивая играют  
своей грудью  
одинокие собираются в театрах подвалов  
спектакль провести не удастся  
всем вокруг будет об этом объявлено  
и непримиримо влюбленные мальчики  
начнут кусать себе локти  
затем те кто купили билеты согнут свои спины  
и расстегнут ремни на туфлях  
очень опасливо  
молитвенно  
по переулкам люди станут показывать на луну  
так как большие грядут перемены  
евреи об этом знают уже и прервут  
колокола свой звон  
много стягов падёт с флагштоков и даже  
тюльпаны вспомнят свои ночи в голландии  
теперь будут флейты разломаны и хлеба  
перед людьми раскиданы  
можно будет увидеть как на глазах  
станут темны двory

**О СНЕ**

ты пришёл ко мне полная рос ладонь  
и откинул вуаль мою что была темна  
на волосы и на шею мою сверху взглянул  
и забрал меня в глубь своего сна  
там мы цвели вместе как чёрная бузина  
на красной ветви но обломили нас дети оттуда  
вот так мы и стали указующим тихо перстом  
ангела смерти за маленькое чудо

## ЭЛИЗАБЭТ ЛАНГГЭССЭР (1899–1950)

### ДАФНА НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Да удастся ли спастись беглянке,  
Коли жаром страсти пышет он?  
Знаком милости, как дивные приманки,  
Цепи из репья и дымянки  
Пóд ноги ей бросил Аполлон.

Вся в жару его безумной страсти,  
В сад она бежит от пут судьбы,  
Львиный зев пред ней ощерил пасти,  
Ах, и огненным драконом ярой власти,  
Спутавшись, цветут кругом бобы.

Яблоками ранними среди лета  
Тяжесть персей чувствует она —  
Тут Деметра из ветвей просвета,  
Маки сжав перстами, видя это,  
Умеряет страсть дыханьем сна.

Есть ли ей укрытьев сада лоне?  
Вспыхнет ей чертог, чья сень оплот?  
Тут, меж страстью и надеждой в стоне,  
Тронут измененьем, уж в разгоне  
Замедляет бег внезапно год.

И как с плети высохшей гороха  
Без опор, стручков чьих не спасти,  
Перлами от ветра вздоха  
Лета длань, зардев среди зорь всполоха,  
Дни теряет из своей горсти.

## КОНЕЦ ЛЕТА

В ржави по слив позолоте  
Сладок личинке полон —  
В мякоти мёд своей плоти  
Пить, что стрелой на излёте  
Тут поразил Аполлон.

Белочка хочет орехи,  
Ядер чьих слышится сон,  
В купах лущить, где прорехи —  
Пламя ль в её жарком мехе,  
То, что возжёт Аполлон.

Слива, орех — в благостыне,  
Ах, что за стук был и звон!  
Тонет ладонь в паутине,  
Сладость теряется в стыни —  
Там, где царил Аполлон.



## ПЭТЭР ХУХЕЛЬ (1903–1981)

### СИБИЛЛА ЛЕТА

Сентябрь забрасывает соты света  
Далёко, за наскальные сады.  
Ещё не хочет умирать Сибилла лета.  
В тумане стопы, и с застывшим ликом  
Она хранит огонь в жилище из листвы,  
Где как осколки урн от миндаля скорлупки  
Лежат средь жёсткой,  
в землю втопанной травы.  
Лист камыша склоняется к воде,  
оставить чтоб на ней зарубки.  
Витают паутины,  
в странствия пустились пауки.  
Ещё не хочет умирать Сибилла лета.  
Среди дерев она на прядях вяжет крепкие узлы.  
Разъятая гниеньем льдисто светит смоква.  
И белая и круглая, точно яйцо совы,  
Блестит луна по вечерам на истончённых ветках.

## ОФЕЛИЯ

Поздней, под утро,  
в сумеречной дымке,  
туда по броду,  
шлепанье сапог,  
жердей удары,  
хриплая команда,  
от тины склизкую они  
поднимут из колючей проволоки вершу.

Нет королевства,  
Офелия,  
где крик  
смог продолбить бы воду,  
чары,  
что пулю  
у листка ракиты позволила бы распылить.

## ХРИСТИНЭ ЛАВАНТ (1915–1973)

### СТРАХ

Во мне восставший страх.  
Как женщина, которой  
что-то страшное пришло на ум, и коя  
затем — коли имеет пару комнатушек —  
всё ходит из одной в другую,  
так ходит страх взад и вперёд теперь во мне.  
Я часто обращаюсь к ней,  
пою и за неё молюсь часами  
или читаю вслух ей тихо  
из книг святых и очень умных.  
Но для неё ничто всё это.  
Она становится всё тяжелее,  
пока любое место, тут, куда ни ступит,  
не начинает сотрясаться в дрожи.  
И всё уже во мне дрожит,  
колени, губы и ладони,  
и, может быть, ещё сильнее веки.  
Но и при этом не найдёт она покоя  
и, через двери моего рассудка  
вломившись, в бедную проходит душу.  
Однако, там всё так же в содроганье.  
Картины неба и картины ада  
грудами пали друг на друга  
и на трясущуюся жертву.  
О бедняжка эта!  
Ведь больше никогда уж не заснуть ей,  
и никогда мне спать ей больше не позволить,  
поскольку кто-то ей сказал всего лишь слово,  
кое как меч у нитей  
уже единственной надежды  
теперь висит над нами.

## СКАЖИ МНЕ СЛОВО

Скажи мне слово, и, кроша цемент,  
я из него тебе явлю цветок снаружи,  
поскольку стала я от слабости могучей  
и от бессмысленного ожиданья,  
всё, как магнит, притягивая в каждом смысле.  
Ты непременно появишься будешь должен!  
Трепещет воздух над вокзалом  
и голубей тут ожидают стаи  
великой радости впезапного прорыва.  
Свет нежно лёг уже на рельсы,  
сойдя у девушки с волос  
и из открытых глаз мужчины.  
Я перестала плакать,  
и также чуда ждать я перестала,  
так как оно случается всё время  
при росте слабости моей, что всходит  
над голубями выше всё и выше  
и сходит ниже в чёрные колодцы,  
где так же днём ещё видны  
сокрывшиеся звёзды.  
Там день внизу не сменит ночи,  
там жаждешь ты ещё, внизу, не прерван в речи,  
цветка нежнейшего моей ослабшей воли.

## ФРИДРИХ РАШЭ

### ОСЕНЬ

Прогоркло пахнет осень прелостью ореха  
и в травах сладко яблонь палыми плодами.  
От выстрела висеть осталось эхо  
пугающе над жёлтыми кустами.

Кого он бросил в смерть?  
Не спрашивай средь стыни!  
У умирания столь велико соседство.  
Был хлеб сокрыт – кто ест хлеб мёртвых ныне?  
Те, поседевшие, вступившие в наследство.

**САРА КИРШ (1935–2013)****САМОУБИЙСТВО**

Правда у той лежало всё в семье  
Они ведь жили у болота раньше  
Вновь падало тогда там со стены  
Бабушке фото и когда  
Был сын уж павшим

**ШАГАЛ В ВИТЕБСКЕ**

Ещё горели керосиновые лампы а в ночи  
рабочие вздымали накрахмаленные флаги  
и в стойке на руке стыл на столе на сквозняке  
мужчина с бородою Ленина и шапкой

Стакан слетает, подтекает, немолодой еврей  
схож с Ильичом в его последний год  
ребёнка держит на коленях в красных полотенцах  
В воздухе звери больше не живут

Горят девять свечей и замков нежно  
торгаш берёт мешок, одет в зелёное пальто  
он вспрыгивает на корабль,  
дабы покинуть местность

Матросов батальоны ружьями трясут  
готовит свой мольберт художник  
чтоб нам удавшееся предъявить свержение

## ЛЕТНИЙ ДОМ

Тут гусь летел вытягивая шею  
Бутылка красного вина по небу  
Поднявшись с той поры как солнце прочь ушло  
Так поздно — жарки дни и длинны  
Я пью я режу розы

### ОБ АВТОРЕ

---

---

*Алишер Киямов* родился в 1958 году в Ленинграде. Окончил Литинститут (1981). С 1999-го года живет в Рюссельхайме, Германия.

Автор нескольких книг стихов. Публиковался в журналах, включая «Литературный европеец», «Памир», «Аврора», «Арион», «Зарубежные записки».

Трудно найти другого переводчика немецкой лирики, который раскинул бы сеть так широко, как Киямов. В огромном поэтическом потоке, от Хёльдерлина до наших дней, он чувствует себя, как дома.

Эльза МОРАНТЕ  
**ЗАБЫТЫЕ РАССКАЗЫ**

---

## ДУША

**О**дин старый синьор свел дружбу с Душой. Как-то раз ночью, возвращаясь домой, как обычно, нетрезвым и в тяжком одиночестве, он обнаружил ее сидящей на ступенях церкви и поначалу принял за попрошайку. А поскольку был человеком сострадательным, тотчас сунул руку в кошелек, однако, заметив, как рука ее вздрогнула, не спеша потянуться к монете, а пальцы затрепетали, словно язычки пламени или травинки под ветром, догадался: перед ним была, точно, Душа, только что родившаяся и еще не обретшая тела. Какая неожиданная и счастливая встреча!

Редкие прохожие, видя, как синьор размахивает руками и разговаривает сам с собой (так им казалось), понимали, что он пьян, и шли мимо. Впрочем, если бы кто-то из прохожих посмеялся над ним, сочтя его поведение нелепым, он знал бы, как им ответить. «Ах, — сказал бы он, — в конце концов, я целых шестьдесят лет стараюсь быть любезным с вами, угождать вам, но никто из вас не желает знать со мной. Вы считаете меня отвратительным типом с противным голосом и скверным дыханием и шарахаетесь от меня, как от прокаженного. Никто из вас не желает исполнять мои симфонические поэмы, никто никогда не остановился перебраться со мной парой слов. Я почти ослеп. И теперь я имею право сам решать, с кем мне дружить. Это не ваше дело».

Поскольку Душа была невидимой, ни один человек, к счастью, не подозревал о ее существовании и по этой причине не мог вмешаться в происходящее, так что на долю старого синьора выпала удача насладиться привилегией тайного общения с ней. Не познав-



шая покуда мучительного веса тела, Душа легко носила целомудренную прелесть своей наготы, свободная и счастливая. В то время как старый синьор одевался, Душа, не ведающая ни стыда, ни лукавства, составляла ему компанию, присев на краешек кровати подобно дивной райской птице. С легкомыслием, присущим ее младенческому возрасту, подвижная, прозрачная, она то и дело улетала, неизвестно за кем и неизвестно куда, но старый синьор, хорошо зная, до чего крепко она к нему привязана, уповал на ее возвращение. И действительно, всегда непредсказуемая, она являлась перед ним из ниоткуда как чудо, созданное игрой чистых красок.

Чтобы доставить ему радость, она усаживалась за фортепьяно и, покачивая головкой с мягкими серебряными прядями волос, играла сочиненную им музыку, и ее пальцы, существовавшие вне времени и пространства, извлекали из клавиш звуки, вечные и необъятные, как абсолютная тишина. Старый синьор таял от удовольствия. И, в свою очередь, обучал ее названиям вещей.

— А это что такое? — спрашивала Душа с любопытством.

Он отвечал:

— Башмаки.

— Какая гадость, — морщила она носик и, преисполненная простодушной гордости, нежно поглаживала свои маленькие босые ступни.

Она с изумлением разглядывала зонтик и шляпу, потому что дождь для нее был вещью неосязаемой, чем-то наподобие света.

Чтобы заставить старого синьора поиграть с ней, пока он, пошатываясь, ковылял по грязной дороге, Душа, мурлыча песенку, шлепала по тем же грязным лужам и выплывала оттуда белоснежной лебедью. Тогда оба, синьор и Душа, останавливались под дождем и громко смеялись, словно два школяра.

А если люди указывали на него пальцами, он кричал им:

— Да, я сумасшедший, и что с того? Что вам от меня нужно? Я что, пью на ваши деньги?

И Душа одобряла и подбадривала его.

Настала ночь, когда он снова увидел ее на той же ступеньке церкви, где она впервые показалась ему, едва в нее вдохнули жизнь. На этот раз ее знобило, она вся дрожала, кутаясь в свои распущенные мокрые волосы, похожие на нити, только что извлеченные из кокона. Душа подняла на синьора огромные померкшие глаза, в которых плескался страх.

— Я умираю, — прошептала она голосом слабым и бледным, — для меня все кончено. — И стала меркнуть, как пламя свечи на заре.

Старый синьор содрогнулся.

— Нет, радость моя, нет, дитя мое! — воскликнул он. — Нет! Ты единственная подруга моей старости, последняя поэма моего гения!

Но Душа простонала:

— Я буду заключена в тело, это неизбежно.

— Но так не должно быть! — вскричал синьор. — Ты воплощение невинности и свободы! Мы перед собором, давай помолимся вместе, чтобы такого не случилось!

И старый синьор принялся истово осенять себя крестным знаменем.

Именно в эту минуту мимо пробежала свора собак, и Душа, издав странный крик, в котором слышалась неземная боль, бросилась прямо в стаю и исчезла.

Старый синьор пошатнулся, будто пораженный молнией; но в этот миг одна из собак приблизилась к нему, опустив голову и виляя хвостом, и, склонившись к мокрой морде дворняги, синьор узрел в собачьих зрачках, в самой их глубине, Душу, мерцающую сквозь непогоду подобно лампаде, униженно трепещущую и без надежды молящую его о помощи.

## ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

**С**трана была столь дикой и унылой, что ни один иностранец никогда не перебирался сюда на жительство. Только путешественники проездом посещали большую древнюю церковь — своими колоннами и голыми стенами она напоминала известняковые пещеры, сотворенные природой и временем. Каменная церковь казалась особенно красивой в зимние дни, когда небо было затянуто облаками; тогда ее фасад с черными высокими дверьми, простые, величественные формы, барельефы, ее просторный неф и стрельчатые витражи — все являло взору чудо, застывшее в неподвижной белизне света. Каменный алтарь был совершенно лишен украшений, что заставляло думать, будто торжественная месса совершается вовсе не там; скамеек для молящихся не было, так что верующие опускали колени прямо на пол. Однако,

входя в этот храм, образчик великой архитектуры, оказавшись наедине с фигурами на барельефах, одухотворенными и полными внутреннего движения, человек испытывал странное блаженство.

Земля в тех краях походила, скорее, на пыль и была черной, словно перемешанной с углем; на фоне бескрайних просторов виднелись древние каменные сооружения, приземистые, мощные, в тени которых лошади щипали траву. В глазах этих животных, рожденных для быстрого бега, поджарых, с красивыми, сильными ногами, было что-то злое и темное, как у местных людей. Дома тоже были приземистые, почти все — небольшие, в несколько окон; жители, даже зажиточные, отличались скупостью, неприхотливостью в еде и одежде. Женщины, привлекательные, но по-дикарски застенчивые, носили широкие юбки красно-коричневого цвета, из грубой ткани, и эта одежда, вышитая золотом, подчеркивала скрытую в них царственную гордость.

Однажды богатая дама по имени Джованна решила остановиться в тех краях. Она отправилась в путешествие в сопровождении пожилой экономки, слуги, старого и высохшего, изнуренного прожитыми годами, и молодого учителя, нанятого совсем недавно, он обучал даму языку тех мест, а также был при ней переводчиком. Джованна сняла у местной богатой семьи одноэтажный дом, пустовавший уже много лет, двери которого издавали долгий скрип, когда их открывали. Но как только с мебели стерли пыль, постирали занавеси, а на сундуки и кровати постелили роскошные шелковые покрывала с искусной вышивкой, сотканые местными ткачами, как только зажгли все керосиновые лампы, дом с его толстыми, шершавыми стенами наполнился теплом и уютom. Потолки были низкими, пол выложен мелкой плиткой, алой и изумрудно-зеленой.

Джованна родилась в другой стране, далекой и очень красивой, от родителей, влюбленных друг в друга. В детстве она стала сиротой, но почти не заметила этого. Боль утраты не затронула ее, словно испугавшись испортить ее прелестное личико. Всякий раз, когда она прогуливалась по улицам города, люди останавливались, чтобы полюбоваться ею, а те, кто посмелее, кричали: «Боже, до чего хороша!» У нее были изящные руки, узкая, маленькая ножка, а кожа — точно фарфор. Личико, на котором светилась ангельская улыбка, обрамляли пушистые, нежные локоны, подобные цветам. Величавость соединилась в ней с детской непосредственностью, и все, кому доводилось

повстречать Джованну, не могли отвести от нее глаз. Брови ее никогда не хмурились, а рот лишь изредка кривился от обиды, как у детей. Всего три короткие линии рассекали ее ладонь. Друзья и родные, будто соревнуясь, придумывали для Джованны ласковые прозвища, называя голубкой, ангелочком и лилией. Каприз руководил ею; сама не зная, какое счастье выпало ей на долю, она видела обращенные к ней лица, бледные от волнения, и затуманенные глаза, но это не будоражило ее кровь.

Ей не было и пятнадцати, когда ее выдали замуж за прекрасного юношу из состоятельной семьи. Через несколько месяцев после свадьбы молодой супруг сбежал, говорили, что он сильно исхудал и стал неузнаваем. Джованна быстро о нем забыла. Она была так беспечна, что нисколько не заботилась о том, чтобы выглядеть красивой; ей было достаточно ощущать красоту вокруг себя, естественную и сияющую, как солнечный день. Часто ее видели с неприбранными волосами, без колец и ожерелий, а порой она одевалась небрежно и выбегала в сад прямо босиком. Случались дни, когда она ни разу не смотрелась в зеркало.

Именно поэтому Джованна не сразу заметила, что с ней произошло. Между тем ее тело перестало быть молодым, кожа сделалась дряблой — и в одночасье старость овладела ею. Возможно, старость явилась ночью и осторожно, чтобы не разбудить Джованну, коснулась ее лица, погубив его цветущую юность и превратив в безжизненную и безобразную маску смерти. Работа эта была проделана внезапно; все черты лица ото лба до губ исказились: прелестный румянец на щеках сменился бледностью; коварные морщины рассекли посеревшую кожу, а сухие губы сложились в жалкую ухмылку. Только глаза остались по-прежнему живыми, и они молили о помощи — взглянув как-то раз на себя в зеркало, Джованна увидела лик старухи.

Эта перемена поразила ее. Словно зачарованная, она вновь и вновь гляделась в зеркало и всякий раз, увидев себя, вздрагивала от ужаса. От нее отшатнулись все, кто восхищался ее красотой, и у Джованны защемило сердце. Прежде искренняя любовь других не удивляла и не радовала ее. Разве та, кто рождена королевой, признательна своим слугам? Теперь же безразличие, а то и отвращение окружающих, издевательства и насмешки причиняли ей боль. Поначалу Джованне случалось забывать о своем новом облике, и тогда ее смех звучал так же нежно и звонко, как в годы юности. До поздней ночи она не смы-

кала глаз, натираясь мазями, бальзамами и благовониями, после чего засыпала в надежде, что благодатный сон сотрет с ее лица старческое безобразие и возродит первозданные свежесть и красоту. Но во сне ей являлись блеклые, потускневшие образы, больные, поломанные деревья, гниющие листья и истощенная, скудная земля. Проснувшись, она встречала в зеркале все ту же старуху.

Напрасно Джованна всматривалась с робкой мольбой и надеждой в лица прохожих, пытаясь прочесть на них знаки прежней любви; она научилась избегать людей, будто чувствуя свою вину перед ними. Старость захватила ее в плен. Несчастье представлялось ей злой собакой, которая с остервенением грызла ее изнутри, и одновременно безмолвным призраком, что неотступно следовал за ней повсюду. Она боялась взглянуть правде в глаза и назвать вещи своими именами, а между тем речь шла о смерти: Джованне казалось, что можно спастись от смерти бегством и что, убегая, она позабудет о своем преследователе. И вот она решила отправиться в путешествие.

Мир глядел на нее с отвращением, от нее в ужасе отшатнулись не только люди, но и вещи, она была им омерзительна, и со всех сторон Джованне слышалось: ты безобразна! Ее присутствие оскорбляло стройные оливковые рощи, и ласточек, которые вили гнезда в тихих, уединенных местах, и даже воздух, наполненный их беспечным щебетанием. И ей ничего не оставалось, как отправиться в тот суровый, мрачный край.

В пути она познакомилась с молодым учителем. Он давал частные уроки и целыми днями ходил от одного ученика к другому. Джованна повстречала его в убогой лачуге, где-то на севере. Сквозь щели в оконных рамах сочился туман и плотным облаком оседал на предметах, однако благодаря присутствию юноши у Джованны создавалось странное ощущение, будто в комнате растет дерево. Молодого учителя звали Паоло, он был высокий и худой — из-за этого его фигура выглядела нескладной и угловатой; дни напролет он проводил за книгами, и его плечи ссутулились, а тело, от природы гибкое и изящное, стало скованным, в движениях пропала плавность; близорукость придавала нежному лицу рассеянное выражение. И все же походка его была легкой. Светлые, мягкие волосы всегда торчали непослушными вихрами, так что возникало желание расчесать их и уложить красивыми локонами, как это делают матери своим детям. Близорукость и робость словно бы не позволяли юноше воспринимать мир во всем

его многообразии, и казалось, что он до сих пор не вышел из детства. Нерешительный, застенчивый, он краснел от каждого вопроса, а отвечая — смущался, растерянно улыбаясь, и улыбка обнажала зубы, неровные, но белоснежные. Из-за его отрешенности от мира возникало впечатление, будто юноша полон то ли презрения, то ли безразличия ко всему; его устремления были столь возвышенны, что только чье-то сострадание или великодушие могли бы вернуть его на землю.

Разумеется, он преследовал какую-то цель. Возможно, страстно хотел выдержать конкурс и занять профессорскую кафедру? Во время урока его голос становился спокойным, уверенным, лицо — сосредоточенным, от прежней робости не оставалось и следа; казалось, он с блеском исполняет свою любимую роль.

Увидев его, Джованна сразу подумала: «Я предложу ему сопроводить меня и учить немецкому и английскому». Она даже не подозревала, почему в глубине души ей так хотелось сделать Паоло своим спутником. Без гроша в кармане и сирота, он недолго думая согласился. В доме, где поселилась Джованна, ему выделили комнату рядом с каморкой прислуги, стены ее были выложены выцветшим красным кирпичом. Там он проводил большую часть своего времени и штудировал книги. К уроку он спускался с воспаленными, ввалившимися глазами, сутулясь, в плохо выглаженном платье. Однако то, как презрительно юноша кривил рот, выдавало в нем высокомерие, тайную гордость и тщеславие. Они усаживались за маленький столик, и Паоло начинал урок, уверенно и терпеливо, как старый, опытный учитель. Если же кто-то неожиданно прерывал их занятие не относившимся к делу вопросом, застенчивость вновь возвращалась к юноше, он заливался краской и не знал, куда деться от смущения. Но Джованна старалась не задавать посторонних вопросов. Эти уроки успокаивали ее, давали возможность забыть о недуге, погубившем ее молодость, и о смерти, что неотступно преследовала ее. Внимательно, с прилежанием школьницы она выслушивала объяснения Паоло, запоминала правила и новые слова. Отрешенность юноши, его нежелание даже взглянуть на нее не обижали Джованну; казалось, он так увлечен предметом и его мысли витают так далеко, что он просто не видит людей, которые находятся рядом.

Однажды, когда они занимались при свете керосиновой лампы (день выдался дождливый, и сумерки подкрались рано), Джованна заметила, что Паоло зачарованно смотрит на ее нежную, точеную

руку. В действительности же он не сводил глаз с кольца, украшенного бриллиантом в форме креста: в ограненном камне преломлялись свет лампы и отблеск угасавшего дня, и бриллиант блестел загадочно и тревожно, подобно озеру в сиянии луны. Паоло любовался кольцом, а Джованна с замиранием сердца подумала, что он не может отвести глаз от ее руки. Рука еще сохранила былую красоту: изящная, с длинными тонкими пальцами, с ухоженными, ровными ногтями, гибким запястьем. Ни единая морщинка не обезобразила ее, а ладонь рассекали все те же три линии, что были даны Джованне от рождения. По окончании урока она долго рассматривала свою руку и ночью уснула, счастливая и опьяненная иллюзией.

На следующий день перед занятием она опрыскала руку духами, натерла мазью, что делает кожу белее снега, умастила эфирными маслами, а потом украсила ее золотыми кольцами и браслетами, как божество. На уроке она плавно водила этой рукой по страницам тетради, поглаживала книги или задерживала ее на красном шелке платья. Юноша вновь как зачарованный смотрел на драгоценности, а Джованна не помнила себя от радости, полагая, что он любит ее рукой.

Так продолжалось много дней. На какие только ухищрения не пускалась Джованна: то она оплетала каждый палец золотой нитью, то надевала кольцо с зеленым камнем, то доставала из шкатулки старинные украшения из золота и серебра, на которых были выгравированы причудливые узоры. Когда учитель переводил взгляд с книги на сверкающие драгоценности, словно пытаясь проникнуть в их восхитительную тайну, она трепетала, уверовав в то, что Паоло влюблен в ее руку. И вот как-то раз, Джованна решила слукавить и ничем руку не украшать. Она, конечно же, не обошлась без мазей и благоухающих масел, но не надела ни колец, ни браслетов. Придя на занятие, она в нетерпении положила руку в круг света от лампы. Юноша бросил на руку рассеянный взгляд и тут же вернулся к своей книге. И тогда Джованна поняла, что Паоло любовался не рукой, а просто, как всякий простолудин, игрой света на драгоценных камнях.

В тот вечер Джованна плакала. Теперь, привыкнув тешиться грезами, она уже не могла обойтись без иллюзий. Полагая, что ее волосы все еще хороши, она начала менять прически: завивала локоны, заплетала длинные косы, а иногда укладывала волосы искусными волнами. Она украшала их цветами, втыкая стебельки так, чтобы только



бутоны оставались на виду, а иногда надевала на голову венки из зеленых листьев. Джованна использовала черепаховые гребни, золотые заколки и диадемы. Навсегда утратив красоту, она молила хотя бы о любви к своим чудесным драгоценностям. Но, видимо пресытившись, юноша больше ни на что не смотрел. Она пыталась придать своему хриплому голосу прежние звонкость и нежность, подводила глаза, красила губы, улыбалась, как молодая и слегка пьяная особа. Паоло ничего не замечал; он продолжал старательно объяснять грамматику, а закончив урок, молча закрывал книги и вставал из-за стола. Он не выказывал по отношению к Джованне ни отвращения, ни интереса: его голубые глаза рассеянно блуждали по комнате, а мысли, похоже, были заняты наукой и кафедрой. Для того чтобы юноша наклонился и увидел ее черную туфельку, Джованна будто нечаянно уронила книгу; Паоло тотчас поднял ее, даже не взглянув на дивную ножку. Собравшись с духом, Джованна подошла к нему и положила руку юноше на запястье; он пришел в замешательство, точно пойманый на месте преступления, и залился краской.

Оставшись одна, Джованна зарыдала; она не знала, как обрести хоть толику надежды. Однажды утром, лежа в кровати и всхлипывая, она услышала, как в соседней комнате двое слуг, прибираясь, болтали между собой о женщине по имени Ассунта, вдове, которая умела готовить приворотные зелья. Джованна вскочила с постели и приложила ухо к двери, утирая слезы краем ночной рубашки, вся превратившись в слух. Она знала Ассунту и знала дом на окраине, где та жила. Подслушав случайно разговор слуг, она поняла, что делать: необходимо любой ценой заполучить самое сильное зелье. Вечером, надев шубку и бархатную шляпку, набив сумку деньгами, она вышла из дома.

Дверь дома Ассунты была со стороны кухни и выходила на улицу, заросшую пыльным кустарником. Пока Джованна шла, подол ее платья запылится, и она долго отряхивала его. Молодая колдунья дремала у очага, когда гостя толкнула дверь — та заскрипела, и хозяйка открыла глаза, взгляд ее был кротким, как у ягненка.

Большие, выразительные, глаза Ассунты поражали своей голубишной — у женщин в тех краях были совсем другие глаза. Ростом она, как и все местные, была невелика, лицо изможденное, бледные щеки в веснушках. Она казалась испуганной и встревоженной, как ребенок, привыкший к побоям. Едва Джованна сказала, что в тех краях ее считают колдуньей, Ассунта задрожала:



— Неправда, — возразила она, закрывая лицо руками и падая на колени. — Я не занимаюсь колдовством, нет-нет.

Джованна пообещала ей много денег, на которые можно купить красивых платьев.

— Разве вам не стыдно ходить в таком рванье? — спросила она Ассунту. — У вас красивая головка, а из-за растрепанных волос никто этого не замечает. Вам бы причесаться как следует да приодеться, а потом сядете на коня, ускачете в город и сведете там с ума всех мужчин.

— Сколько вы заплатите? — робко поинтересовалась Ассунта.

Джованна открыла сумку, полную денег.

— А вы никому не расскажете? — прошептала девушка. Она объяснила, что ее уже сажали в тюрьму, где обращались грубо и допрашивали о ее тайных знаниях и снадобьях.

— Да вы с ума сошли! — воскликнула Джованна. — Неужели вы думаете, что я способна на это? Разумеется, я никому не скажу.

— Вам нужно слабое приворотное зелье или по сильнее? — спросила Ассунта, и от смущения ее лицо залил румянец, столь яркий, будто ей надавали пощечин.

— Самое сильное из всего, что у вас есть! — выпалила Джованна, радуясь тому, что богата и в состоянии заплатить.

— Тогда вы должны дать мне еще и кольцо в придачу, — тихо сказала Ассунта, с восхищением глядя на кольцо, украшенное сверкающим бриллиантом в форме креста.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, — сказала Джованна и со вздохом сняла кольцо с пальца.

Девушка взбежала по лесенке на второй этаж и вернулась с маленькой бутылкой, оплетенной соломой, — такие можно встретить в тавернах. В бутылке колыхалось вино — густое, темно-красное, почти черное, какое пили в тех краях. Джованна разочарованно посмотрела на бутылку.

— Похоже на обычное вино, — пробормотала она.

— Это и есть вино, — ответила Ассунта. — Я заговорила его. Вы должны дать человеку выпить его до наступления ночи, иначе заговор потеряет силу. На вкус — обычное вино, не горькое и не сладкое.

Джованна взяла бутылку, протянула девушке деньги и кольцо. Обе остались довольны сделкой, каждая думала, что она в выигрыше. От волнения они не осмеливались взглянуть друг на друга.

Радость переполняла Джованну, когда она с зельем в руках возвращалась домой. Она чужая подле себя дух смерти, но смерти блистательной, героической, какой ее изображают на батальных полотнах: лошади, копыта, фанфары. И в то же время ей было жаль сама себя.

Урок должен был превратиться в таинственное любовное свидание. Несколько часов Джованна наряжалась. Каждое движение, каждый жест — натягивала ли она черные шелковые чулки или застегивала крючки лифа — доставлял ей необычайное удовольствие; ее не огорчало даже то, что она немолода. Джованна затянулась в тесный корсет, наложила тени на веки и припудрилась. Надела драгоценности — и будто стала выше ростом, ее осанка сделалась царственной. Она поставила бокал и добытое вино на стол с книгами и рассмеялась, как ребенок, задумавший шалость.

Все занятие Джованна сидела как на иголках, стораю от нетерпения. «Как заставить его выпить вино?» — размышляла она. Приглядевшись к учителю, она заметила, что он особенно бледен, и спросила, не болел ли он.

— Я, синьора? — переспросил он, запинаясь.

— Да, вы. Вы очень бледны, — сказала она, понимая, что должна совершить задуманное и назад пути нет. — Выпейте бокал вина. Оно вернет вам силы. Я принесла его специально для вас.

Паоло покраснел и хотел было отказаться, но робость помешала, и ему пришлось уступить Джованне. Внутренне сопротивляясь, он сжал бокал побелевшими пальцами, поднес к губам и одним глотком осушил. Джованне показалось, что она вот-вот потеряет сознание, хотя никогда еще она так не упивалась жизнью — даже материя, из которой было сшито ее платье, словно бы ликовала.

Поначалу она не заметила в поведении юноши ничего особенного, лишь голос его стал звонче, а слова, срывавшиеся с губ, приобрели странный смысл благодаря интонации, с какой Паоло произносил их. Спустя несколько минут, пораженный изменившимся тембром своего голоса, он замолк, будто прислушиваясь к странному постороннему звуку. Собственный голос отдавался у него в ушах подобно морскому прибору, который шумит в раковине. Он даже потряс головой, желая прогнать это наваждение.

— Форма множественного числа, о которой мы говорили, употребляется и в моем диалекте, — продолжил он, объясняя грамматику.

Едва он произнес слова «в моем диалекте», как его потянуло в родной город, занесенный снегом почти круглый год. Обычно снег вселил в него уныние, но теперь, на расстоянии, представлялся Паоло сверкающим, точно россыпь алмазов, и от этого снежного блеска над городом поднималось голубое сияние. Все короткое лето, днем и ночью, это сияние не гасло, а в зимние дни, звеневшие безмолвием, оно казалось творением святых. Он вспомнил реку, затянутую льдом, со скрепами железных мостов, и заснеженные площади, город манил его, как мираж. Прежде Паоло никогда не поверил бы, что можно воспылать страстью к каменному призраку, которым ему виделся сейчас родной город.

В этом городе жила его сестра Сигрид, монахиня, девушка простодушная, толстая и неуклюжая. Родители решили отправить ее в монастырь именно потому, что она некрасива и бедна; но не было человека счастливее Сигрид. Она купалась в счастье, даже не отдавая себе в том отчета. Паоло громко рассмеялся, представив, как она, неповоротливая, нескладная, бродит по монастырю, а душа ее между тем взошла на верхнюю ступеньку лестницы Иакова,<sup>1</sup> радуясь встрече с ангелами.

Он вздрогнул, смутившись собственного смеха. Что он делал, пока в его голове вертелись эти мысли? Неужели продолжал занятие? Паоло ужаснулся, вообразив, что сказал вслух то, о чем думал. Позабыв об уроке, который казался ему ненужным и бессмысленным, юноша произнес те страстные, высокопарные слова, из-за которых теперь сгорал от стыда. Джованна не отрывала от него широко распахнутых глаз, и он почувствовал себя актером на сцене. Однако порыв, охвативший его мгновение назад, уже представлялся Паоло нелепым. Страсть угасла, в душе образовалась пустота, и эту пустоту стало постепенно заполнять то, чему он сперва не мог дать названия, — потом он догадался, что это стыд расплзается у него внутри темным, липким пятном. Ни в коем случае не следовало высказывать синьоре свои сокровенные мысли и вести себя, как мальчишка. Отзвук собственного смеха был для Паоло словно удар хлыста.

Он уставился на Джованну, молча изучая ее. «Какая безобразная и вульгарная женщина, — думал он. — У нее и так темные круги под

---

<sup>1</sup> Фреска Рафаэля в Ватиканском дворце с изображением лестницы, ведущей к Богу, по которой, встречаемая ангелами, поднимается ангельская душа девушки. (Прим. пер.)

глазами, а она еще густо нарисовала веки. Кожа до того бледна, что румяна на щеках выглядят нелепо и наводят на мысль о чахотке. Морщин столько, что все лицо словно исказила страшная гримаса. Золотое кольцо, сдавливает шею, которая из-за этого кажется совсем дряблой. Моя госпожа похожа на ряженный скелет. Да, ее плоть умирает».

То, что думал Паоло, было столь оскорбительно по отношению к сидящей перед ним женщине, что он немедленно раскаялся. За раскаянием пришла жалость, такая щемящая и пронзительная, что юноше показалось, будто его хлещет ветер и обжигает пламя. Жалость пробудила в нем незнакомое прежде чувство: она превратила его из мальчика в мужчину, придав уверенности; Паоло казалось, что отныне эта женщина в его власти.

— А почему бы вам тоже не выпить? — спросил он, осмелев.

Джованна покачала головой и голосом, в котором сквозило отвращение, ответила:

— Я не пью.

Эти слова привели его в легкое замешательство. Паоло думал, что, выпив вместе вина, они станут чуть ближе друг другу, но, опаленный страстью, он не мог разделить своих переживаний с Джованной, которая сидела напротив, бледная и такая далекая, чистая, как дитя. Он чувствовал себя до боли одиноким, и в то же время его влекло к этой женщине. Охваченный состраданием, Паоло смотрел на нее и отчетливо видел каждую морщинку на ее лице. Вдруг ему захотелось нежно прикоснуться к этой иссушенной, поблекшей коже.

— Дай мне поцеловать твою руку, — попросил он.

Джованна вздрогнула и, побледнев еще сильнее, отдернула руку. Он понял смысл этого жеста, по спине у него пробежал озноб, и губ коснулась смущенная улыбка; к Паоло вернулась прежняя застенчивость.

Обретя небывалую ясность восприятия, он читал все, что творилось в ее душе. Джованна понимала, что ее заветное желание исполнилось, но ее ужасало то, что она сама все это подстроила. С детства она верила, что слеплена совсем из другого теста, чем остальные, — возможно, даже высечена из сверкающего алмаза, — поэтому люди вызывали у нее отторжение и брезгливость. Сейчас это отторжение было так сильно, что Джованна едва не упала в обморок.

Юноша по-прежнему не сводил с нее глаз; он сидел, положив руки на колени, и смотрел на нее, открыв от изумления рот.

— Что вы себе позволяете? — проговорила она, задыхаясь от возмущения.

Он провел рукой перед глазами, будто отгонял насекомое, и, сам того не желая, пылко произнес:

— Сжальтесь надо мной.

И сам поразился собственным словам. Разве не эта женщина мгновение раньше вызывала у него сострадание? Теперь Паоло было жаль самого себя, и эта жалость унижала его, лишая мужества и превращая в трусливое животное. Настала ночь, умолкли крики крестьян, которыми те подзывали лошадей; лишь изредка слышалось ржание — что-то снилось коням в их диких, беспокойных снах. Керосиновая лампа ярко освещала Джованну, но свет падал только на фигуру, а лицо оставалось в тени, и разглядеть его было невозможно. Драгоценные камни, что украшали Джованну, отбрасывали на ее лицо, стоило ей пошевелиться, ослепительные отблески, на миг выхватывая из мрака ее черты. Платье из зеленого бархата, с изящным поясом, не скрывало недуга, что терзал тело Джованны, она казалась несчастной и словно взывала о помощи.

«Боже, как она красива!» — подумал Паоло. Внезапно его пронзила острая боль, от которой сердце бешено заколотилось и перехватило дыхание.

— Синьора, — попросил он смиренно, — погаси свет. Я больше не в силах смотреть на тебя. — Он даже не заметил, как обнял Джованну и стал целовать ее жесткие кудри и увядшие щеки, которые пахли пудрой; юноша изнемогал от страдания и от страсти, захватившей в плен его душу и лишившей его покоя.

Глухой стон вырвался из груди Джованны; она затрепетала, как птица, пойманная в силки; неистовый пыл юноши вызвал у нее отвращение, хотя она видела, сколь нежен Паоло, и понимала, что он не способен причинить ей зло. Она быстро вырвалась из его объятий.

— Уходите, — приказала она, и на лице ее было написано презрение. — Вон отсюда, несчастный.

Юноша стал искать упавшие на пол очки, он ходил по комнате среди подернутых ночной темнотой предметов, согнувшись и шаря перед собой руками. Отыскав очки, он поспешно ушел в свою комнату. Джованна в который раз посмотрела на его сутулую спину и плечи, худые и узкие, как у подростка, который слишком быстро

вырос. Паоло заперся у себя, и всю ночь его преследовал, лишая сна, призрак Джованны, прозрачный и чарующий, обжигающий жаром страсти.

В скромной комнате юноши были только грубый стол, выкрашенный черной краской и заваленный книгами, высокий узкий шкаф с мутным зеркалом на дверце, пара соломенных стульев, кровать из орехового дерева да ночной столик, на котором лежали Библия и фотография Сигрид. Я нарочно упоминаю все эти предметы мебели, поскольку среди них, то прячась и сливаясь с ними, то возникая снова, всю ночь мелькал призрак Джованны — безобразный, но в то же время манящий, болезненно трогательный. Призрак, сотканный из безграничной нежности и жестокости, был настолько похож на Джованну, что каждая его черточка казалась Паоло знакомой и родной, отпечатываясь в душе огненным клеймом. Едва он пытался заключить призрак в объятия, как тот с презрительной усмешкой протекал сквозь него, точно вода. Тогда юноша переменял тактику и стал почтительным, даже не смел коснуться призрака — ему пришлось отчаянно бороться с собой, поскольку каждая клеточка его тела, как пламя к небу, стремилась к Джованне. Ему стоило невероятных усилий обуздать свой пыл, и он чувствовал себя изможденным. Ночь напролет Паоло метался на влажных от пота простынях, надеясь, что призрак не догадается о его томлении. Он выбился из сил, однако не прекращал разговаривать со своей возлюбленной, и голос его был звучен, как бывает звучен всякий голос, что заставляет нас пробудиться ото сна.

Паоло умолял призрак не покидать его и выслушать; но тот, желая поиздеваться над юношей, несколько раз притворялся, будто исчезает, а потом появлялся в углу комнаты, глядя на Паоло пристально и задумчиво. Это впору было бы сравнить с детской игрой, не будь лицо призрака таким изможденным, печальным, исполненным страдания. Паоло же продолжал разговаривать с ним, хотя понимал, что разговаривать бессмысленно, все равно что обращаться к камню. Юноше было известно, что призрак не знает его языка, тем не менее он не мог сдержать потока слов и говорил без умолку.

Иногда Паоло поверял призраку свои сокровенные мысли, рассказывал о вещах, которые — он отдавал себе в этом отчет — призраку глубоко безразличны.

— Знаю, тебе нет до меня дела, — прерывал он сам себя, будто извиняясь, — и все же позволь говорить с тобой.

Он рассказывал призраку о своем детстве, о далеких и давно канувших в прошлое эпизодах, которые теперь вдруг всплыли в памяти. Он вспомнил, например, как однажды на Пасху отец случайно наступил сапогом на его любимого цыпленка и раздавил бедняге голову, Паоло положил умирающего птенца на подоконник, куда падало солнце, в надежде, что цыпленок поправится. Разговаривая с тенью Джованны, Паоло вспоминал мельчайшие подробности своей жизни, и они представляли перед юношей в новом свете, обретая значимость и наполняясь смыслом, которого не имели прежде; ему казалось, что он извлекает их из самых потаенных уголков своей души — это было болезненно, но вслед за болью приходило чувство невероятной легкости. Паоло признался, что с детских лет мечтал стать героем, и прочитал от начала до конца стихотворение, которое написал в двенадцать лет.

Призраку явно наскучили эти откровения. Юноша видел, как тот зевает, готовый вот-вот заснуть и раствориться в темноте, и будил его громким криком.

От одной только мысли, что этот двойник Джованны, пусть даже призрачный, может исчезнуть, его бросало в холодный пот. Еще совсем недавно он и представить не мог, что станет рассматривать всю свою прошлую жизнь как непрерывный поиск той удивительной женщины, к которой его теперь так влекло. Потребность в дружбе, общении, любви, богатстве, желание славы, в котором он не признавался и самому себе, стремление совершить благородный поступок, а также прочие желания, продиктованные то ли себялюбием, то ли великодушием, — все это слилось в трепещущий огненный ком, из которого выплывало одно-единственное лицо, не похожее на другие. Паоло жаждал, чтобы ему принадлежали эти глаза и губы, чтобы его плоть всегда хранила след от их прикосновения, но чувствовал лишь влажные от пота простыни. Призрак манил юношу к себе, пробуждая в нем одновременно сострадание и алчность, ненависть и обожание. Чтобы выставить себя в более выгодном свете, Паоло поведал призраку о своих планах на будущее. Подробно рассказал о своем открытии в области философии, которое касалось устройства вселенной, — эту новую концепцию он думал изложить в нескольких томах, убежденный, что таким образом прославится. Он признался также, что, вер-



нувшись на родину, создаст школу, окончив которую, люди станут мудрыми и отважными, он даже место присмотрел для этой школы — неподалеку от монастыря Сигрид.

— Ты поедешь со мной? — спросил он.

Паоло распахнул перед призраком всю свою душу, поделившись самыми дорогими воспоминаниями, мечтами, чаяниями. Однако, натолкнувшись на полное безразличие, юноша в конце концов пришел в отчаяние и стал выкрикивать призраку в лицо оскорбления, осыпать его бранью и колкостями. Но вскоре, опомнившись и желая загладить вину, заговорил с Джованной ласково и нежно, изобретая слова наивные и порой смешные, похожие на те, что придумывают матери, качая ребенка на коленях. В то же время Паоло хотелось уничтожить призрак, чтобы освободиться от него раз и навсегда.

Целую ночь Джованна не могла преодолеть своей подавленности, в иные минуты казалось, будто у нее замерло дыхание, однако потом она вздрагивала, словно в приступе безудержного смеха. Голова ее клонилась набок, как у тряпичной куклы, ноги бессильно подгибались, веки, невыносимо тяжелые, опускались, тело ломило. А Паоло между тем молил ее о пощаде и просил не уходить, остаться подле него — так, как просят о милости Господа Бога.

Но к чему так долго рассказывать об этой ночи? С первым криком петуха призрак исчез, как это случается на рассвете со всеми призраками. Он поник, точно марионетка, которую заставляет двигаться рука актера и которая после спектакля становится безжизненной тряпичей. Призрак Джованны был проглочен последней каплей тьмы, что осталась в углу комнаты. Юноша встал с постели — накануне, даже не заметив того, он лег одетым.

Паоло казалось, что вся тяжесть его жизни стекла в колени, отчего каждый шаг давался с трудом. Тело, даже пальцы, налилось тяжестью; эта тяжесть мешала, сковывала и была сродни недугу, какой овладевает человеком во время болезни. Каждая мышца ныла и была напряжена, каждое движение доставляло тупую боль. Однако мозг продолжал работать, словно механизм, приводимый в движение обезумевшими шестеренками, — Паоло вновь и вновь перемалывал свой сон, отчетливый и причиняющий невыносимую боль.

Паоло подошел к двери спальни Джованны, и на мгновение в нем пробудился юношеский задор, ему захотелось жить, совершать по-



двиги, нестись на крыльях надежды; нежный, сладостный огонь обжег ему губы. Он прижался губами к двери с такой силой, что на дереве остался кровавый отпечаток.

Небо было затянуто тучами, забрезжил рассвет, разливая по небу едва заметное сияние. Послышались людские голоса, лошади, стряхнув в себя сон, бродили среди каменных надгробий.

С длинным смоляным факелом в руке в церковь вошел ризничий и зажег на алтаре свечи; отблески пламени метнулись на пол, где, преклонив колени, плакал Паоло. Он заламывал руки и по-детски всхлипывал — крестьяне, собравшиеся в церкви на утреннюю мессу, смеялись, глядя на него. Они совсем отвыкли от смеха, и вот теперь на суровых, изможденных лицах заиграли улыбки — их скрадывала тень от широких полей шляп, из-под которых выбивались черные как смоль кудри. Мраморные статуи, замершие на широких постаментах, с одинаковым выражением лиц, столпились вокруг Паоло, впившись в него глазами без зрачков. Юноша с трудом поднялся и уже знал, что плакал напрасно. Он был как запутавшаяся в паутине муха, которая отчаянно пытается вырваться из сетей, но все равно обречена на гибель. Паоло пошел лугами, по утренней росе, мимо черных скал, шатаясь, точно пьяный. На его губах блуждала странная, рассеянная улыбка, прядь светлых волос падала на глаза. Он шагал, ничего вокруг не замечая.

Говорят, что на пути его ждали необычайные приключения. Кто-то видел, как он, изо всех сил напрягая мышцы, с молодецкими криками бил кулаками громадные скалы. Вероятно, на месте скалы Паоло видел могучего противника, которым он с детства восхищался и чьей силе завидовал, — он поклялся себе, что однажды победит его. Противник являлся ему в образе солдата, лицо которого — бледное, усталое, с густыми бровями — сияло особенной, ни с чем не сравнимой красотой. Этот человек, явившийся Паоло на безлюдной равнине, воплотил в себе все, что юноша ненавидел, любил, на что надеялся. Паоло одолел противника и тут же упал на растрескавшуюся землю. Немного погодя мимо прошла лошадь; поравнявшись с Паоло, она встала на дыбы — так делают животные, наткнувшись на мертвеца.

Юношу похоронили на следующий день, скромно, без поминок: в той далекой стране он не успел завести друзей. В воскресенье днем Джованна вышла на прогулку, надев широкое светло-коричневое платье и шляпу с белыми перьями. Весь мир, казалось, ликовал, радуясь ее появлению, — точно так ликует все вокруг, чувствуя присутствие

существ, родившихся совсем недавно, — младенцев или молодых деревьев. В ее жилах будто текла новая кровь, которая своим стремительным, легким бегом напоминала струящуюся в реке чистойшую воду. Лицо утратило былую свежесть, однако это лишь делало Джованну краше, добавляя прелести выразительным глазам и губам. Никто не узнавал ее. Трудившийся в поле крестьянин, позабыв на миг о работе, воскликнул: «Боже, до чего ты красива!»

Она спрятала благодарную улыбку за красным кружевным веером и залилась нежным румянцем.

*Перевод с итальянского Валерия Николаева*

### ОБ АВТОРЕ

---

---

*Эльза Моранте (1912–1985) — классик итальянской литературы XX века, великолепный прозаик, поэт. Она прославилась как тонкий стилист. Ее рассказы показывают, насколько многообразен талант писательницы. Все рассказы разные, очень яркие, и каждый из них — это особый мир. Одни тяготеют к фантастическим новеллам, другие напоминают притчи или легенды, и даже в историях о жизни обычных людей остается место для тайны.*

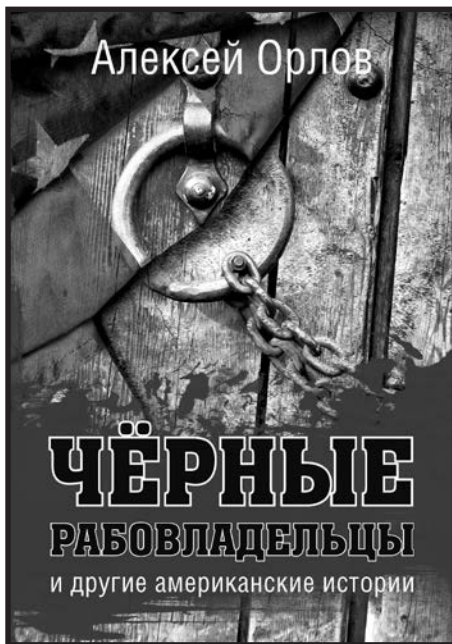
### О ПЕРЕВОДЧИКЕ

---

---

*Валерий Николаев — известный российский переводчик прозы и драматургии с итальянского языка.*

*Окончил истфак МГУ, получив специальность историка-международника. Сотрудничает с издательствами «АСТ», «Радуга», «Прогресс», «Иностранка», «Россмэн», «Рипол-Классик», «Текст», ИГ «Азбука-Аттикус» и другими, а также с журналами «Новый мир», «Иностранная литература», «Дружба народов», «Современная драматургия», «Вестник Европы» и другими. Член Союза писателей Москвы и русского ПЕН-клуба. Постоянный автор журнала «Времена».*



Алексей Орлов

# ЧЁРНЫЕ РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ

и другие американские истории

Новая книга Алексея Орлова представляет собой сборник очерков об американцах и событиях американской истории, которые по той или иной причине либо замалчиваются, либо редко упоминаются в школах и университетах.

Толчком к созданию книги послужило движение, получившее название «культура отмены», требующее

отрицания, запрещения, низвержения едва ли не всего, что создано в нашей стране, то есть перечеркивания или переписывания истории Соединенных Штатов. Книга озаглавлена по названию первого очерка, рассказывающего о том, что сегодня замалчивается, практически «отменено» — о черных американцах, владевших черными рабами. Таковых были тысячи. По переписи 1830 года 3776 свободным неграм принадлежали 12907 рабов. Читателей книги ждет много подобных «открытий».

*Книгу можно купить:*

- У автора. Цена \$20 (включая пересылку и авторский автограф). Чеки направлять по адресу:

**Alexei Orlov**  
**28 Black Horse Run**  
**Biltmore Lake, NC 28715**

- Или на интернете — на сайтах **Lulu.com** или **Amazon.com**  
Price: \$17 plus tax and cost of shipping and handling

Вы можете также купить у автора его книгу **Тень проклятия Текумсе над Белым домом** (на русском или на английском языке). Цена \$20. Не забудьте указать, на каком языке!

...И что мы видим сегодня? Корабль качает, трясет, он сильно накренился на левый борт. Реакция пассажиров? Судя по недавним опросам, многим из них этот крен нравится. Социализм, говорят они, лучше капитализма. Справедливее, надежнее, щедрее. Среди молодых респондентов (от 18 до 34 лет) процент любителей социализма перевалил за половину.

*Владимир Фрумкин*

...Мама умерла 21 декабря 1907 года. У нее был рак молочной железы. Ее оперировал доктор Блох. Операция не помогла. Многие полагали, что ярым антисемитом Гитлер стал именно после этого случая, считая доктора Блоха виновником в гибели Клары Гитлер.

*Александр Яблонский*

По граненой пустоши Манхэттена  
Брел я, безутешный и больной,  
Сетуя, что смята, оклеветана  
Жизнь моя, и пропасть подо мной...

*Григорий Марговский*

...Моя любовь протащила нас троих, Эггерта, Перрина и меня, через разлуку длиной в 56 лет по рассыпанным в трех странах дорогах, Германии, Франции и Канады, и подарила нам 14 лет вместе, пронизанные прощением, пониманием и покоем, в котором встретились наши три дороги, поздно, не так как мечталось и хотелось мне, но все же встретились...

*Лариса Сегидя*

Как приятно знать мистера Лира,  
Написавшего множество книг!  
Для одних — он брюзга и задира,  
Для других — он милейший старик.

*Владимир Ковнер*

...В Советском Союзе Беленко заочно приговорили к смертной казни, распространили слухи о его гибели в автомобильной катастрофе. В 2000 году во время авиашоу в штате Висконсин с ним беседовали американские журналисты, и он рассказал о своей встрече с российским космонавтом Игорем Волком. «Ты вроде бы умер?» — изумился Волк. — «Как видишь, нет! КГБ пустил слух о моей смерти, чтобы отбить охоту бежать у других».

*Алексей Орлов*